

ВРЕМЯ
И МЫ 149
2000



МИРОН РЕЙДЕЛЬ
СКРИПКА ТУХАЧЕВСКОГО

ВРЕМЯ

**ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

и МЫ

ИЗДАЕТСЯ с 1975 ГОДА

Выходит один раз
в три месяца

149
2000

**МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ**

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ДМИТРИЙ БЫКОВ**

(зам. гл. редактора)

ДЖОН ГЛЭД

ВЛАДИМИР ДОБИН

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ

ЛЕВ НАВЗОРОВ

ВОЛЬФГАН ЗЕЕВ РУБИНЗОН

ИЛЬЯ СУСЛОВ

МОРИС ФРИДБЕРГ

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»
409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Tel 201 592-61-55

Московское отделение журнала «Время и мы»
Москва-Санкт-Петербург
115598 Москва, Лебедянская ул., корп. 1, кв. 271
Тел.: (095) 329-27-64
Заведующий отделением Галина Синюк

Французское отделение журнала «Время и мы»
Париж-Гренобль-Ницца
Адрес: Rue Nasionale 127, Paris 75013
Тел.: 458-505-51
Заведующий отделением Борис Носик

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Tel Aviv - Jerusalem
Dizengoff 41/6 Tel Aviv 64282 Тел.: 03-620-07-96
Заведующий отделением Ирина Фурман

По вопросам приобретения журналов обращаться:
ООО издательство «Хроно пресс»
121099, Москва, а/я 880
Тел.: (095) 978-89-39, 978-49-16, 112-10-89

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Вильям КАГАНОВ

Четыре тура.....5

Владимир ФРИДКИН

Два рассказа.....51

ПОЭЗИЯ

Леонид ФИНКЕЛЬ

Материал, из которого сделаны гении.....99

Илья БОКШТЕЙН

На коленях моих тишина.....102

Сергей ШАБАЛИН

Мой путь наружу.....109

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Кому нужна дорога, если она не ведет к банку.....115

С.П. КОРИКОВСКИЙ

Чечня, которая нас разделила.....128

Вадим ДУБНОВ

Кто будет платить полную цену завтра?.....135

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ НАС НЕ УЧИТ

В. БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Куда ведет вертикаль власти?.....146

Юрий ДРУЖНИКОВ

Ура, наш царь!.....159

Владимир ШЛЯПЕНТОХ

Советские люди и сталинский режим.....177

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Юрий РЯБИНИН

Времена перестройки: из дневника московского

журналиста.....193

Борис НОСИК

Русские тайны Парижа.....230

Мирон РЕЙДЕЛЬ

Скрипка Тухачевского.....266

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

Борис БЕРНШТЕЙН

Эстетическое и интеллектуальное приключение.....278



Вильям КАГАНОВ

ЧЕТЫРЕ ТУРА

«...тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие
находят их...»

Мой маршрут во время прогулок пролегал по внешней стороне квадрата, внутри которого расположен университетский городок на Воробьевых горах, некогда называвшихся Ленинскими. Цель моего пешего похода, казалось, состояла в том, чтобы узнать время, температуру воздуха и давление атмосферы. На высоких башнях университетского комплекса виднелись три огромных круглых циферблата — часы, термометр и барометр. Возможно, во всей Москве я был единственным человеком, кто ими регулярно пользовался. Студентов колебания погоды мало волновали — у них были заботы и поважнее, а пенсионеры приходили и приезжали сюда — раскрою секрет — вот зачем: весной — погреться на лужайках, осенью — за яблоками. Был здесь разбит небольшой лесопарк, а внутри него — яблоневый сад, находящийся вроде бы в бесплатном общественном пользовании. Приходи и рви в любое

время и сколько хочешь. Созреть яблокам, конечно, не давали, весь урожай собирали еще зеленым — соревновались пенсионеры и студенты, кто быстрее. Я тоже не гнушался дармовыми яблоками, набирал, которые поспелее, и похрустывал на ходу.

Одни и те же лица, которых я встречал во время своих регулярных прогулок, примелькались, но я, нелюдим, избегал знакомств. Вот если бы мне встретилась девушка, которая обратила бы на меня внимание, тогда совсем другое дело. Тут я постарался бы очаровать, покорить, увлечь ее. Она никогда не пожалела бы, что познакомилась с таким интересным человеком, как я, — математиком и поэтом, одним словом, интеллектуалом. Математик я настоящий, с университетским дипломом, а вот что касается поэта, то тут я хватил лишку. Стихи-то я писал, но читал их только своей маме. У меня хватало ума понимать, что мои стихи — мусор, пригодный разве на растопку. Маме, правда, стихи нравились. Но на то она и мама.

Так вот, если быть откровенным, то истинной целью моих прогулок было знакомство с девушкой, а вовсе не стремление узнать о миллиметрах ртутного столба. Несколько моих отчаянных попыток завязать разговор со встретившимися мне незнакомками закончились полным провалом — меня отвергали обычно сразу, после первых же произнесенных мною слов. Что было тому причиной? Моя физиономия, которая у меня самого никогда не вызывала восхищения, или заранее заготовленные, по-видимому, несуразные фразы?

А ведь мой подход к девушкам был достаточно гибким: то я старался быть изысканно вежливым, учтивым, то загадочно-интересным, слабая копия Чайлд-Гарольда, а то пытался изобразить большого знатока женщин. Но вне зависимости от выбранной тактики результат всегда был один и тот же: объект моего вожделения просил оставить его в покое. Встречались и такие, которые даже грозились позвать милицию.

Мне казалось, что важно только завязать знакомство, получить заветный номер телефона, а там дело пойдет на лад — не сможет ни одна из них устоять передо мной. Но

вот именно этой завязки, этой маленькой пресловутой искорки, которая обязательно должна проскочить между мной и ей, и не высекалось. Я весь истомился, измучился в ожидании знакомства с девушкой. Но мне, завязтому неудачнику, так и не встретилась ни одна из них, которая хотя бы приветливо улыбнулась.

В конце концов мне это осточертело, я махнул на все рукой, перестал приставать к девушкам, даже заставлял себя не смотреть на них, не сопровождать их своим нескромным взглядом, когда они проходили мимо, и занялся делом.

А дело мое состояло вот в чем. На прогулку я отправлялся с двумя записными книжечками: одна предназначалась для моих математических занятий, другая — поэтических. В зависимости от настроения я или пытался доказать одну из теорем, не разрешенную пока еще никем, но сформулированную более века назад, или сочинял стихи. Да, да, пусть доморощенные, но все же стихи.

Со стороны я, наверное, представлял собой довольно комичное зрелище: идет молодой балбес, размахивает руками, хрустит яблоком, задумчиво смотрит вдаль, внезапно останавливается, садится на скамейку и что-то записывает, доставая блокнотик то из правого, то из левого кармана.

Уморительно, ничего не скажешь: человек, отрешенный от мира.

Когда мой запас фруктов кончался, я ходил с проторенной дорожки и направлялся в глубь сада.

Стою я однажды около яблони и высматриваю, какое бы яблочко сорвать, да поспелее. Напротив меня остановилась девушка с кошелкой и стала в нее собирать яблоки, почти без разбора, все подряд. Я, по заведенному теперь мной правилу, даже не взглянул на нее. "Пора уходить", — твердо решил я. Внезапно девушка первой заговорила:

— Мне на компот, потому и рву все подряд, — голос был резкий, чуть дребезжащий.

Я растерялся, разинув от удивления рот. Со мной первой заговорила незнакомая девушка: так легко, непринуж-

денно, без всякого жеманства. Потому, наверное, на душе у меня сразу стало радостно и тревожно. Она меж тем раскованно, совершенно не обращая внимания на мой ошалелый вид, вкрадчиво спросила:

— А что это вы все время записываете? Самое странное, что вы достаете блокнотик то из правого, а то левого кармана. Я наблюдала за вами, когда вы шли по дорожке, и пыталась найти закономерность в ваших действиях, но у меня ничего не получилось. — Она говорила так, как будто мы с ней были давно знакомы. — Нет, вот нашла объяснение — вы записываете свои гениальные мысли: из левого полушария — в правый карман, из правого — в левый, — ее безудержный смех возвратил мне дар речи. Не найдя остроумного ответа — всегда он приходит ко мне с большим опозданием, — я выдавил из себя:

— Да, гениальные! И я могу ими с вами поделиться, ибо красивым девушкам содержательные мысли обычно на ум не приходят,

— Не надо начинать знакомство с грубости, — осадил меня.

Я извинился и начал помогать собирать яблоки с соседних деревьев, с возрастающим интересом наблюдая за девушкой. Плотная сбитая фигура, ловкие высокие прыжки, — держась одной рукой за толстую ветку, она пружинкой взмывала вверх и свободной рукой срывала приглянувшееся ей яблоко, — зрелище завораживало. Даже сейчас, спустя много лет, закрыв глаза, я отчетливо вижу: на фоне яблоневого сада и лилово-темнеющего неба ее высокие, словно в поднебесье, скачки. А вся сцена — врезка в мою память на всю жизнь.

Когда кошелка была наполнена доверху, я вызвался донести собранный нами урожай до дома. Она пристально взглянула на меня, — горло мое словно захлестнуло петлей, сердце сжалось: вдруг откажется от моих услуг? — покровительственно улыбнулась и... охотно согласилась. Позже я понял: это свойство ее натуры принимать бескорыстную помощь от каждого, кто ей ее предлагал, кто ею восхищался, без необходимости расплачиваться за оказанную услугу. А что за «птица» перед ней, она обычно

безошибочно угадывала до того, как мужчина, которому она приглянулась, успевал раскрыть свой «клюв» и взять первую терцию любовной арии.

Дорогой наш разговор принял серьезный и доброжелательный характер. Она, только год назад окончившая медицинский институт, рассказывала о своей работе врача. Я внимательно слушал и украдкой изучал ее внешность: тонкие запястья рук, заостренный нос, сухие губы, слегка выпуклые глаза, гордо посаженная головка, короткая, небрежная прическа. Казалось бы, ничего особенного. А вместе с тем она была прекрасна. Нет, не то слово. Впечатление, которое она производила, лежало, на мой взгляд, в такой области человеческих восприятий, которые трудно полностью выразить словами. Есть ведь такие дали в нашей жизни, которые не только одним словом, но и целым потоком фраз охватить не удастся. Ближе к истине можно сказать так: она была не столь прекрасна, сколь притягательна. До сих пор не берусь объяснить, в чем были истоки ее притяжения. Определенно могу сказать одно — не в одной внешности тут было дело. А в чем же тогда? В смелом, даже отчаянном взгляде ничего не боящейся женщины, или в ее резких суждениях, из которых сразу было видно: «О! Это человек острого ума!», — или в какой-то неуловимой внутренней твердости, свойственной очень немногим людям?

Да, необъяснимое, удивительно волнующее чувство влечения к ней испытывал, увы, не я один, что тоже мне стало ясно со временем. А тогда я подумал: «Неужели судьба наконец смилостивилась надо мной и ниспослала мне такую чудо-девушку, о которой я и мечтать не смел?!» Отчетливо помню, как меня стало заполнять совершенно новое, никогда еще не испытанное мной ощущение бездонного счастья с примесью горечи от страха больше не встретить, не увидеть ее. «Но все равно, — подумал я, — как бы ни сложились наши отношения, знакомства с ней, впечатления мига ее первого пристального взгляда, первого гортанного звука во мне не разрушить».

В ее рассказах о врачах, в описании больничного быта было много здравого смысла, много интересных мелких

деталей, подметить которые мог только человек с очень живым восприятием жизни, а вот сострадание, жалость к больным в них, пожалуй, отсутствовали. Когда я заговорил об этом, она сердито ответила:

— Перестаньте. Все хлюпики только и ноют о жалости. Лечить надо лучше, вот и все, а не лить слезы над койкой больного.

Внезапно она остановилась и твердо сказала:

Все, дальше провожать меня не надо, донесу сама — здесь недалеко. — И как бы невзначай, снова небрежно спросила:

— А что же вы записываете в ваши блокнотики?

Я, страстно желая продлить наше знакомство и пробудить в ней интерес ко мне, рассказал все, как есть: в левый блокнотик — формулы, в правый — стихи.

Она явно была разочарована, удовлетворив свое любопытство, лицо ее стало безразличным.

— Прочтете? — как бы из вежливости спросила девушка.

По-видимому, я был не первый поэт в ее жизни.

— Нет. Но вот посвятить вам стихи могу! — воскликнул я.

— Сколько дней вам на это потребуется? — деловито поинтересовалась она.

— Сутки, — выпалил я.

Как же это было легкомысленно с моей стороны: стихи рождались у меня в муках и очень маленькими дозами. За сутки, а вернее, за ночь я никогда не успевал написать ничего путного, тем более стихи по заказу на заданную тему. За месяц, возможно, я бы еще что-нибудь выстрадал сносное, но за сутки?

— Хорошо. Встретимся завтра в семь вечера у той же яблони.

И она, изогнувшись от тяжелой ноши, растворилась в людском потоке, текущем по тротуару.

Когда я вернулся домой, мама сразу обратила внимание на мое лицо, взволнованно-унылое. Секретов у меня от нее почти никаких не было, я тут же раскрылся, горько пожалев о своем поспешном обещании.

— Ничего, сынок, не волнуйся. Я тебе помогу. Скажи только, как она выглядит.

Снова моя мама выступала в привычном для нее амплуа золотой рыбки. Я закрыл глаза, прислушался к самому себе и тихо произнес:

— Знаешь, мама, она звучит во мне словно в двух тональностях: вся хрупкая — во внешности, твердая — в суждениях.

Открыв глаза, я добавил:

— И еще: в ней, кажется, нет жалости, но в глазах иногда проскальзывает затаенная боль.

Вот какие стихи сочинили мы с мамой в тот же вечер из сказанных мной четырех слов: хрупкость, твердость, жалость, боль.

«Жалость? Чушь, — твердишь ты часто. —

В этом мире все несчастно».

Жесткий взгляд, тверда, как сталь,

Непонятна мне печаль.

Почему же иной раз

Боль струится с твоих глаз.

Отчего печали звук

Тебя душит, как паук.

Время все преодолагает,

Боль в душе угасла вдруг,

Блеск в глазах все тает, тает,

Жизнь поправить недосуг.

Утром, когда я проснулся, первое, что бросилось мне в глаза, был лист атласной бумаги, на котором без единой помарки были отпечатаны сочиненные нами вчера стихи.

Да, такой мамы не было ни у кого на свете.

Налюбовавшись листком — будто цветок подержал в руках, — я взглянул в окно, и настроение мое резко ухудшилось — солнца не было и в помине, а все небо являло собой хаос темных, рыхлых туч, из которых, как из сжатой мокрой губки, сочился нудный, мелкий дождь.

Весь мой рабочий день на вычислительном центре прошел в тягостном ожидании: когда, наконец, кончится этот проклятый дождь. Так природа могла обойтись только со мной, человеком злосчастной доли. Весь месяц стояла сушь, а в тот момент, когда я был на пороге своего

счастья, судьба вновь решила зло подшутить надо мной. Я буквально отождествлял природу с живым существом, перед властью которого я был бессилён. Вспомнил слова известной песни: «У природы нет плохой погоды.» По-видимому, этой фразой автор пытался ее умаслить, но не тут-то было. Значит, не мне одному она мстит. Но от этой мысли легче не стало.

К шести вечера дождик вроде совсем погас, мой тонус повысился. Но спустя полчаса, когда я выходил из дома, дождь, будто передохнув, стал набирать силу. Укутанный в плащ, с зонтиком, который в последний момент мама силой втиснула в мою руку, я приплелся под нашу яблоню. Целый час, как статуя, простоял я под деревом, но Нина так и не пришла. Я проклинал погоду, небо, все на свете, нещадно ругал самого себя: «Кретин, не хватило смелости спросить у нее телефон или тайком проследить, в какой дом она вошла. Вот будешь теперь, как бобик, бегать по улицам в надежде повстречать ее.» В этот момент я самый несчастный человек в мире, возненавидел природу, которая так гнусно обошлась со мной. Возможно, я даже плакал. Но как отличить слезы от капель дождя?

Когда я вернулся домой, мама не задала мне ни одного вопроса. Только сказала: «Тебя ждет горячая ванна. Немедленно прими ее, а то заболеешь,» — и ушла к себе в комнату. Мама все предвидела.

На следующий день, хотя дождя не было, Нина не пришла снова. Два последующих дня я работал в вечернюю смену. Пропавшие дни, раз я не мог побежать к нашей яблоне. Но на седьмой день, когда я потерял всякую надежду встретить ее, она появилась со своей кошечкой.

Преисполненный чувства благодарности, я готов был встать перед ней на колени, выполнить любую ее просьбу. Церемонно, как, судя по кинокартинам, поступали благородные рыцари в средние века, я вручил ей лист атласной бумаги со стихами. Она прочла, кислая гримаса скривила ее рот, небрежно бросила:

— До Блока пока далеко.

Увидев, что я пригорюнился, великодушно сказала:

— Для первого раза неплохо. Спасибо вам.

По-видимому, больше всего в этот момент ее интересовали спелые яблоки, ибо, когда я бросился помогать собирать их, лицо ее просветлело. Все повторилось, как при первой встрече: я нес кошечку, пялил на нее глаза, а она рассказывала о больнице. Но на сей раз мой успех был куда большим: она разрешила проводить ее до подъезда и при расставании — у меня самого так и не хватило духа обратиться к ней с просьбой о новой встрече — предложила записать свой телефон. Я трижды переспросил ее номер — она даже стала немного сердиться, — чтобы, не дай бог, не ошибиться в какой-нибудь цифре.

Так началась наша дружба.

Иногда Нина охотно откликалась на мои предложения встретиться, в других случаях под разными предлогами отклоняла их. Как я любил на нее смотреть — впитывать, вбирать в себя ее облик. Но удавалось мне это редко она никогда не разрешала пристально ее разглядывать. Как только мой взгляд проникал в ее зрачки, она брала крепкими пальцами мой подбородок и градусов на тридцать поворачивала мою голову. Боль гасила излишнюю любознательность в моих глазах, взгляд принимал обычную окраску, и она отпускала меня. Так могло повторяться три-четыре раза за время встречи, пока она окончательно не вышибала из меня потребность вспороть как бы обволакивающую ее атмосферу — невидимую для глаза защиту от дуновений внешнего мира.

Лишенный возможности в упор, вдосталь, досыта, до мельчайших подробностей изучить ее лицо, я часами мог разглядывать случайно доставшуюся мне фотографию, выпавшую из ее сумочки. Мне чудилось, что не только я изучаю лежащий передо мной снимок, но и он с не меньшим интересом вглядывается в меня. И взгляд с фотокарточки каждый раз приобретал новые оттенки, иное содержание. То мне чудилась в нем затаенность, затравленность обреченного человека. Мелькала мысль: «Жизнь ее закончится трагически». Страх туманом расползлся в самые отдаленные тупички моего сознания. Как ее спасти? Что предпринять?

А то я видел блестящие смех, издевки надо мной, проглядывало откровенное намерение унижить, втоптать меня в грязь.

В другой раз я прочел в ее взгляде отражение какой-то терзавшей ее боли — признак не разгаданной еще медициной болезни. Я был панически обеспокоен, тут же пришло и решение: ее надо немедленно отвести в деревню к бабке-знахарке — та вылечит.

Гордая, самоуверенная, порочная женщина выпрыгивала из фотографии; бывало и такое в моем, по всей видимости, не в меру разгоряченном сознании, когда я, внезапно проснувшись ночью, бережно брал в руки снимок и смотрел на него до одури, до изнеможения, пока снова не погружался в сон с кошмарами и призраками.

Изредка случались такие счастливые минуты, когда Нина первой звонила мне и приглашала в гости или на прогулку. Нашим любимым занятием было катание на теплоходе по Москва-реке. Мы сбегали вниз по крутому склону и, запыхавшись, буквально влетали на пристань «Ленинские горы». С этого момента начиналась игра: мы отправляемся в далекое путешествие на современном лайнере — через Атлантический океан в Бразилию.

Мы входим на борт бело-голубого красавца, поднимаемся на верхнюю палубу, опираемся на поручни, стоим прижавшись друг к другу, приветливо машем рукой остающимся на берегу друзьям и родственникам. Тугой канат, пристегнувшийся к теплоходу к пристани, ослабевает, а затем совсем исчезает, бездна между нами и берегом стремительно увеличивается. Мы плывем в Южную Америку. Ничто меня не волнует, не тревожит, не омрачает мою жизнь. Я уверен в себе, в Нине. Приходят минуты полнейшего блаженства. Наверное, такое испытывают йоги в нирване. Ветрено. Нина достает сиреневый платочек, туго его затягивает. Лучи заходящего солнца бьют в ее карие, бесконечно мне дорогие глаза. Леня обволакивает Нину. У нее даже нет сил открыть свою сумочку и достать очки. Один небрежно-повелительный жест — и я читаю в ее глазах: «Достань, олух, очки и надень их на меня». Я безропотно подчиняюсь и намеренно затягиваю процедуру водружения

очков. Ведь это счастье, невыразимое счастье прикоснуться пальцами к ее лицу. По недовольной гримасе я вижу: моя пассия сердится. Я вздыхаю и убираю руки.

С борта теплохода город кажется покинутым, брошенным на произвол судьбы, никому не принадлежащим. Изредка только какие-то отставшие от всеобщего бегства автомобильчики мелькают на набережных. В этот притихший, загадочный город с заморским запахом рома, какао и ванили медленно, но неотвратимо вливается наш теплоход — моя повелительница и я. (Впрочем, следует заметить, что как раз в заморских запахах и не было ничего загадочного, ибо в этот момент мы проплывали мимо кондитерской фабрики.) Спина Нины пряма, руки, нежно-розовые, будто прилипли к коленям, изящная головка медленно поворачивается — она обзеревает проплывающие мимо берега, утыканные причудливыми зданиями разных эпох. Нина, словно на правах первооткрывателя, внимательно оценивает принадлежащие ей владения, слух ее напряжен, глаза из-под слегка опущенных век зорки, лицо озабоченно. Мне кажется, что она все время что-то вычисляет. Но что именно? Какие сомнения ее еще одолевают?

В унисон с нами и в природе разыгрывается свое космическое действие: пурпурный свет все ярче заливают кромку темнеющего неба — последняя вспышка пламени солнечного костра перед наступлением сумерек. Внезапно будто занавес распахнулся: разрывается облако, и в образовавшемся проеме появляется красный диск. Солнце — главный исполнитель разыгранной в небе феерии — как бы на прощанье выходит поклониться моей королеве. Представление в природе и на корабле окончено: вместо Бразилии мы подплываем к Устьинскому мосту. Мы оба разочарованно вздыхаем и громко смеемся. На нас оборачиваются, нас недоуменно рассматривают, под осуждающими взглядами наш смех стихает. Путешествие закончено.

Но меня смущает задумчивость Нины, и я осторожно спрашиваю:

— Что ты все время вычисляешь в уме?

— Да? А как ты догадался, разве заметно? — смеется она в ответ. — Сколько дней осталась до 23 декабря?

Я быстро называю цифру и любопытствую:

— Что за дата?

Она делает неопределенный жест рукой, пожимает плечами, но ответа не дает и переводит разговор на другую тему. Тревожное предчувствие беды охватывает меня.

Но я усилием воли изгоняю из своего сознания набравшую тень неверия в свое счастье.

Прикосновение к ней, и то мимолетное, было единственным, что мне разрешалось. В одну из первых наших встреч, когда я предпринял робкую попытку обнять ее, она, легко отстранив мою руку, заявила:

— Учти, за попытку мужчин приставать ко мне я бью по почкам, причем без предупреждения.

И она показала мне, как это делается. Ударила тыльной частью ладоней сразу по обеим почкам. Ударила вроде легко, для демонстрации, впрок, в качестве предупредительной акции, но почки потом болели у меня два дня. Снимал боль горячей ванной. А что будет, когда ударит по-настоящему?!

Так что в мечтах я мог возноситься куда угодно, вплоть до морского свадебного путешествия к берегам Бразилии, а на деле... Но мне не надо было ничего от нее, быть рядом с ней — в этом уже состояло огромное счастье.

Вскоре я вступил в полосу, когда меня подвергли испытаниям. Позже я окрестил их как четыре тура. Чтобы понять, о каких испытаниях шла речь, я должен рассказать о семье Нины.

Семья состояла из Нины, ее матери — Аллы Власовны, по-своему необычной женщины, и как бы символически присутствующего отца — крупного геолога, который жил где-то на отшибе в нескончаемых экспедициях. В Москве отец появлялся редко, но семью не забывал — достаток в квартире был вполне ощутим. Женщины беззлобно подтрунивали над пожилым человеком, когда он появлялся в своем родном доме, в котором он, как ни крути, был хозяин и главный кормилец. Чуть ли не с первого дня приезда отец становился мишенью для бесконечных шуток и розыгрышей со стороны жены и любимой дочки.

Вдруг они начинали уверять его, что звонили из министерства — при этом назывались подлинные фамилии чиновников — и настоятельно советовали им уговорить отца уйти на пенсию. Вся сцена разыгрывалась настолько натурально, что отец начинал верить, а уйти на пенсию, предаться безделью было для него смерти подобно. Так что шуточка была, говоря языком футбола, на грани фола.

Другой любимый розыгрыш: Нина беременна. От кого? — не скажем, замуж не собирается, ты же знаешь ее взгляды на этот счет: ребенка иметь хочу, мужа — нет, — так что готовься, отец, стать дедушкой. Ему, человеку пуританских взглядов, слушать это было невыносимо.

Чувствовалось по всему, что отец Нины — аскет. То ли суровая жизнь геолога возвела его в такой ранг, ибо при его подвижничестве это, возможно, была единственная форма достойного существования, то ли от рождения он был уж такой праведник. Но он не бражничал, не признавал никаких увеселений, никакой бесплодной траты часов — все время в каком-то непрекращающемся, мало сказать потоке, — лавине дел. Он был, как и полагается аскету, худощав, будто прокаленный на солнце ствол дерева, с венчиком седых волос, обрамляющих удлиненный череп, крупным носом, выпуклыми глазами, прикрытыми мохнатыми веками. Глядя на него, не трудно было догадаться, от кого к Нине по наследству перешли глаза и губы. В пытливом взгляде, прокалывающем линзы очков, — чуткость сердца, пронизательность ума, видение жизни в ее подлинном свете. В уголках губ запеклась горькая усмешка над самим собой человека, которому безропотно подвластны сотни людей, но у которого вышли из-под контроля два самых близких ему существа. Порой был угрюм, мрачен, поглощен собой, малоразговорчив. Из этого состояния, близкого к ступору, его могла вывести только Нина. Он ее боготворил, хотя старался и затушевать свою любовь к ней под маской сдержанной заботы, Я сужу по случайно перехваченному мной взгляду, обращенному к Нине, взгляду, полному нежного обожания.

И все же, все же мне казалось, что в конце концов он не выдерживал всех милых розыгрышей — не хочу прибе-

гать к более сильным выражениям, — устраиваемых, так сказать, в его честь домочадцами, и сбегал от них.

Меня сначала брала оторопь от таких взаимоотношений в семье, но постепенно я пообвык и стал воспринимать все эти шуточки вполне спокойно. Вообще стержнем стилия дома была ирония по отношению ко всем с ним соприкасающимся. Причем диапазон этой иронии был ох как широк — от добродушной насмешки до злого, испепеляющего сарказма, низводящего человека до уровня ничтожного пигмея. Ухо все время надо было держать остро, быть начеку, иначе попадешь немедленно впросак, разденут догола.

Надо заметить, что в отдельности и мать и дочь не представляли большой опасности. С каждой из них в одиночку можно было состязаться в остроумии на равных, без риска потерпеть поражение. Но вдвоем их силы удесят�ерялись. Они как бы вступали в соревнование, подхлестывали друг друга, состязались, кто нанесет больший урон общему противнику. Начинала обычно Алла Власовна:

— Алеша, а вы до Нины влюблялись? Какая Нина по счету девушка в вашей жизни? — голос был вкрадчивый.

— А зачем вы меня об этом спрашиваете? — осторожно, чувствуя подвох, задавал я вопрос.

— Любопытно, — глаза у Аллы Власовны начинали фосфоресцировать. — Есть в вас нечто мефистофельское, а это притягивает женщин.

— От Мефистофеля у него только большой нос, — подключалась Нина. — При таком носе не шибко разбежишься на знакомство с девушками, только ночью или в сумерках, как со мной вышло, а тут смелость нужна.

— Вам, Алеша, надо обратиться в институт красоты, — голосом, полным дружеского участия, заявляла Алла Власовна. — Из вас там сделают красавчика, и тогда, при всех ваших добродетелях, вы станете неотразимы и найдете девушку получше Нинки.

Отвечать им, что кроме Нины мне никто не нужен, значит было навлечь на себя новый град насмешек. Я только хмурился и помалкивал.

Так что если я попадал, образно говоря, под совместный обстрел их батарей, то выходил из боя потрепанным.

Постепенно, однако, я задубел и научился противостоять и их совместному натиску.

Казалось, в доме ради острого словца готовы были пожертвовать многим. Причем обида, самолюбие во внимание не принимались. Их считали блажью, глупостью, на которые не стоит обращать внимание. Но невидимую черту, существующую между насмешкой и оскорблением, вроде бы старались не пересекать. Но как точно это можно определить? Иногда, по-видимому, и заступали.

Вот в такой дом, где от человека пух летел, где жили похотатывая или... или делали вид, что им очень смешно, и ввела меня Нина. Сначала я чувствовал себя скованно, но затем освоился. Ко всему ведь можно привыкнуть, даже к больно жалящим женским насмешкам.

Да, Алла Власовна и Нина представляли собой редкое единение особи со своей плотью. Если бы из человеческих характеров можно было бы составить свою таблицу Менделеева, то мать и дочь я, несомненно, поместил бы в одну клеточку, с той только оговоркой, что они, так сказать, находились на разной стадии своего полураспада, а уж отца Нины, конечно, загнал бы в противоположный от них угол. Дочь-подруга. Находясь в постоянной разлуке с мужем, мать, по существу, как бы жила жизнью дочери, наверстывая упущенные или, вернее, недоступные ей самой развлечения в молодые годы: война, голод, постоянные переезды, коммунальная квартира. О! Господи, мало ли тому было причин.

А как беззлобно, ласково-колюче переругиваясь, обмениваясь насмешливо-ругательными словечками — балда, дура, гадюка, были слова-бомбочки и похлеще, — но выражавшими одно: их привязанность, маскируемую наигранно-грубоватым обращением, они дружно и споро сотворили что-нибудь вкусненькое на их просторной, светлой кухне. Взбивались сливки, готовилось тесто, растапливалось масло, зажигалась духовка — божественный запах выпекаемого по особому рецепту пирога заполнял комнаты и распространялся на лестничную площадку. Какой мир, согласие и уют вместе с этим запахом обволакивали в тот момент их квартиру! Я, забившись в угол потрепан-

ного дивана, стоявшего на кухне, вслушивался в музыку их разговора. Что за удовольствие было смотреть на них в это время, особенно на Аллу Власовну. Перед очередной колкостью на губах Аллы Власовны появлялась затаенная улыбка, а глаза будто наполнялись какой-то живительной, светящейся влагой. Она уже платила дань старости: бороздки морщин прошли по ее лицу, прогалины седых волос, синева набрякших на ногах вен. Но глаза... глаза ее налогом на амортизацию человеческих тканей не облагались — они были освобождены от этой кабальной подати, съедающей с годами живость в зрачках и делающих их тусклыми и мутными. Да, можно сказать, не глаза были у Аллы Власовны, а одно сплошное северное сияние, какое редко встретишь и у молоденькой девушки.

Порой мне казалось — шутя, несерьезно, — что если Алле Власовне сбросить лет пятнадцать, а мне их приплюсовать, то я, возможно, влюбился бы в нее так же, как и в Нину. Это состояние легкой, сродни сыновьей, влюбленности в Аллу Власовну (нет, нет, упаси бог, никакие греховные мысли меня не одолевали), как это не покажется странным, поддерживал во мне один из розыгрышей Нины: поскольку, мол, отец в постоянной отлучке, то матери не вредно было бы обзавестись и возлюбленным. Говорилось это в присутствии самой Аллы Власовны, и та охотно, опять-таки шутя, с этим соглашалась. А почему бы, собственно говоря, и нет? После такого единодушия они делали, так сказать, ход сообща — беззастенчиво намекали, а не затем ли я кручусь в их доме и почему буквально впиваюсь взглядом в Аллу Власовну? Свою догадку они подкрепляли веским аргументом: теперь, дескать, так модно — мужчина моложе женщины. Когда они затевали этот по меньшей мере бестактный разговор, то я или помалкивал весь пунцово-красный, или грозился немедленно покинуть их дом и больше не переступать его порога. Угроза действовала, и они, как не в меру разыгравшиеся шаловливые дети, нехотя, постепенно угасая, утихомиривались.

Алла Власовна не могла переносить долгую разлуку с дочерью. Нина это прекрасно понимала и никогда не затягивала наши прогулки.

Прощаясь, она не раз говорила мне:

— Матери не по себе, когда я надолго уйду из дома. В детстве я была такой же, какой она стала теперь. Ты не представляешь себе, какая для меня была мука хотя бы на час разлучаться с матерью, С годами мы поменялись ролями: я стала спокойней, а она все больше и больше привязывается ко мне. Ни шагу без меня. Я знаю — выйти замуж она мне не даст.

Алла Власовна рассказывала:

— В молодые годы я долго была в ссоре с моим мужем. Нинка появилась на свет как акт моего примирения с ним. Она вам, наверное, плетет насчет меня, что я будто против ее замужества. Гнусная ложь. «Ради бога, — говорю я ей, — выходи замуж, выметайся из дома и создавай свою семью.» Но на меня пусть не рассчитывает, к роли бабушки я еще не готова. Но, Алеша, учтите — Нинка стерва. Я хотя и мать, но честно вам об этом говорю, чтобы ко мне потом претензий не было. И вообще, Алеша, у вас с ней ничего путного не получится. Вы мягкий, добрый человек, а она злая, необъезженная лошадка. Ей нужен мужик с плеткой, который держал бы ее в узде. Я к вам отношусь с большой симпатией. Из всех претендентов на ее руку (это прозвучало для меня несколько неожиданно, поскольку я руки Нины еще не просил, мечтал — да, но просить руки — духа не хватало) вы нравитесь мне больше всех. Но мне вас жалко, по-матерински жалко, отбреет она вас так же, как отшила и всех других, возмечтавших жениться на ней. А их было немало, — загадочно заключила она, — и среди них, поверьте мне, были весьма, весьма достойные люди. Какого рожна ей еще нужно? Но главное — я вас предупредила.

Как было понимать ее слова? Действительно ли она меня жалеет и хочет отвратить от большой беды, или подвергает испытанию, подталкивает к активным действиям, или не хочет расставаться с дочерью, как уверяет меня Нина? Я терялся в догадках.

Ну, а эти пресловутые испытания, которым незаметно меня подвергли? Расскажу о них по порядку.

Первый тур состоял в том, что проверяли мое мастерство домашнего умельца: сделай то, почини это. По искрящимся глазам Аллы Власовны я видел, что она находится в радостном предвкушении моего полного провала. «Математик, наверное, молоток в руке никогда не держал, посчитала я, — призналась она мне позднее. — Вот бы мы с Нинкой посмеялись бы». Но тут она жестоко просчиталась. Математик умело пользовался молотком и даже мог просверлить дырки в бетонной стене современного дома. Все ее задания выполнялись безропотно и вполне сносно. Но сразил я ее тем, что починил ее любимые очки приделал новые дужки вместо старых. Этого сделать до меня никто больше не мог, ни один из предыдущих хахалей, их еще называли в доме коблами. Мне дали понять: первый тур я успешно выдержал — очки пошли в зачет, и я был допущен к следующему.

После очков последний ледок настроенности в моих отношениях с Аллой Власовной окончательно растаял, и та легкая пленочка отчужденности, которая неизбежно поначалу была между нами, расплавилась, и ее место заняло едва уловимое внешне, но очень хорошо ощущаемое как-то подсознательно отношение искреннего доверия и откровенности. Так, во всяком случае, казалось мне — душевного доверия и полного взаимопонимания.

Алла Власовна вспоминала свои девичьи, довоенные годы, как тогда жили просто, несуетно, без стяжательства. Ее юность прошла в тогдашнем предместье Москвы — в Измайлове, в доме их родственника, известного в ту пору скульптора, превратившего дачу в дом-мастерскую. Там, в Измайлове, солнечном, зеленом, с прудами, чистым воздухом, в окружении интересных людей, и проскользнули годы молодые, там она училась и окончила школу. Воспоминания удивительно благотворно, если не сказать исцеляюще, действовали на Аллу Власовну, еще больше возвышая ее в моих глазах.

Вот в таком разговоре, мягком, душевном, располагающем к братской любви, когда лицо Аллы Власовны принимало несвойственное ей выражение кротости, она внезапно, но не резко, а как бы случайно, вскользь, ненароком,

на правах лучшего друга вставляла какое-нибудь колкое, малоприятное для меня замечание. Причем, не она, мол, так думает, а вот та дама, их приятельница, с которой я давеча поздно вечером покинул их дом, шел, любезничал, а попрощался у метро, до дома проводить не догадался и такси не взял, хотя мимо и проскочило несколько «зеленых огоньков». «Скуповат, скуповат ваш будущий зять», — так заметила наша знакомая.

А я по-настоящему устал в тот вечер: днем всю нашу смену из вычислительного центра возили в подшефный совхоз на уборку свеклы, — и вот после работы в поле, после пудовых мешков и утомительной тряски в автобусе я на полчаса забежал к Нине — желание увидеть ее, пусть мельком, на минутку превозмогло мою усталость. Потому и сил больше не было на малознакомую даму, на ее проводы на другой конец города; я засыпал на ходу, и верх над никому не нужным рыцарством взяло благоразумие. Тем более, что и разрешение испросил у дамы не провожать ее далее, испросил, как бы вымаливая прощение. И вот теперь — «невоспитанный, скупой». Тихонько, но все же мордой об стол, не помышляя о себе, что ты такой благородный, порядочный, интеллигентный. И в тебе мерзость есть, маленькая, но есть. Не возносись особо. Но я не придавал значения этим безобидным хитростям, пусть порезвится, и мое обожание Аллы Власовны не ослабевало.

Еще Алла Власовна любила поведать о своих бесконечных скитаниях по стране с мужем. «Не забывают, он геолог, и не из последней, а первой дюжины», — горделиво вещала она. Рассказывала о виденном, о пережитом с резкими переходами, с бранью, гневно о житейской неустроенности, о муках быта («и в бараках приходилось жить») и умиленно, почти со слезой — о природе. «Степные просторы (почему-то именно степи больше всего запали ей в душу) с яркими полевыми тюльпанами я могла смотреть неотрывно часами — райская картина. Вам, Алеша, такое не увидеть». И снова нещадно ругала быт и мужа — гордости за него уже не было и в помине, как главного и единственного, по ее мнению, виновника так быстро промелькнувших десятилетий самой лучшей поры ее жизни,

ее самых зрелых и красивых лет, когда только и можно было вкусить все прелести земного бытия. «Какие? Да общения с интеллигентными, интересными людьми. Пожить, как говорится, в хорошем обществе. А я, дура, кроме мужа, почитай, больше никого и не знала. Видели бы вы там наше окружение, не приведи, господи! Настродалась я в жизни, — горько, с придыханием заключала она. — Пусть Нинка наверстает за меня упущенное».

Была ли она действительно так красива в молодые годы, как это следовало из ее рассказов? Судя по фотографиям, да: круглое, миловидное лицо, с тонкими бровями, слабо выступающими скулами, со следами смещения двух рас — славянской и монголоидной, что всегда привлекает. А теперь стареющая женщина, правда, еще полная сил и с удивительно живыми глазами, дошедшими в неприкосновенности из прошлого до наших дней, словно реликтовое излучение во вселенной.

Раз уж я заговорил о старости, то надо отметить еще один штрих в рассказах Аллы Власовны, немаловажный для наших отношений, связанный с одним провалом в ее лексиконе, который я не сразу уловил. Но уловив, старался впросак не попадать. Слова «старость» она начисто избегала, — зрелые годы, солидный возраст, но упаси вас бог сказать старость. Сердилась по-настоящему, если ее называли даже пожилой женщиной.

Постепенно подошло время и для второго тура, который, как я уяснил для себя позже, состоял в проверке моего интеллекта. Но эти испытания никакой опасности для меня не представляли. Скажу даже определеннее, тут мы просто должны были поменяться ролями, ибо мои познания и в литературе, и в философии, и в политике были куда глубже и обширнее, чем у них; тут, откровенно говоря, и сравнивать было нечего. В общем, и мать, и дочь скоро поняли, что по части интеллекта и образованности я им не уступаю. Допустить, что их может кто-то опередить, они, конечно, не могли. Но я не старался подчеркнуть ущербность их знаний — зачем обижать любимых мной женщин, — пусть считают, что мы идем вровень. Притворился для пользы дела, для достижения конечной цели.

Сначала мне казалось: чтобы понравиться Нине, надо завоевать расположение Аллы Власовны. Но потом я понял: всем в доме верховодит Нина, порой завуалированно, затушевывая свою истинную роль главы семейства, а иной раз открыто, никого не стесняясь. Тактика определялась исключительно ее настроением. И мать, и тем более отец — рядовые бойцы во взводе, где должность лейтенанта занимает их дочь. Ее беспрекословно слушались не только в хозяйственных делах, в которых она была на редкость практична, — «Лучшей хозяйки не найти», — думал я, хотя вся ее снабженческая деятельность меня мало трогала, — но и в своих суждениях касательно людей она неизменно брала верх. «Глаз-ватерпас, — хвастливо заявляла она о себе, используя расхожее вульгарное выражение. — Я еще ни разу не ошиблась в оценке ни одного нашего знакомого». Мать, восторженно глядя на нее, согласно кивала головой:

— Удивительное дело — Нинка всегда оказывается правой. Вот появится в нашем доме новый человек, кажется, обходительный, приятный, вполне порядочный. А Нинка после его ухода скажет: «Не верьте ему, он ничтожество и подлец». И действительно, через некоторое время выясняется, что все обстоит именно так, как она предвидела. Я, мать, просто поражаюсь: откуда у нее такое чутье?

Слушая Аллу Власовну, я и за собой стал замечать, что попадаю под влияние Нины: мои оценки людей, событий стали близко совпадать с ее мнением. Происходила некая мутация моей индивидуальности, трансформация характера. Причем двигался я, теперь я это могу осознать, не в лучшую сторону: от снисходительности, доброжелательности к жесткости, насмешке, даже, возможно, и эгоизму. Моя мама первой обратила на это внимание. Сказала она мне об этом кратко:

— Сын, с некоторых пор ты стал меньше мне нравиться, разберись в себе.

И все. Никакой нотации, никаких слов о непреходящих моральных ценностях.

Я решил затормозить процесс моего сползания в не свойственную для меня нишу в раковине человеческой нравственности, упереться, сохранить свою индивидуаль-

ность, не стать примакон-подголоском. Но обошлось мне это дорого, очень дорого. Закусил я удила, и совпало это как раз с третьим туром.

С некоторых пор я стал замечать в доме книги, которые как бы случайно оказывались там, где я находился. Присяду на диван, а рядом лежит раскрытая книга, подойду к письменному столу — и тут она красуется. Чья-то заботливая рука, по всей видимости Аллы Власовны, усердно мне их подсовывала. Мне молча предлагали: открой, посмотри, что в них сказано. Я охотно пошел в расставленные сети: раскрывал и бегло читал потрепанные самодельные издания. Книги были мудреные, мистического содержания.

В них рассказывалось о необыкновенных исцелениях, о чудесах ясновидения, о возможности общения с духами, о каких-то загадочных, сверхъестественных, потусторонних силах, о теории космического льда, о возможности предвидения будущих событий во всех деталях, о случаях левитации и даже о встречах с инопланетянами. Упоминались красиво-мудреные словечки, вроде аура, экстрасенсорное восприятие, психокинез. Единственно, что меня заинтересовало, было учение о коллективном сознании человечества как биологического вида и о взаимосвязи мозга одного человека с мозгом других людей.

Меня явно провоцировали, откровенно вызывали на диспут, и я, образно говоря, поднял брошенную мне перчатку.

Я математик, неплохо знающий и философию, читавший Платона и Шопенгауэра, и не просто читавший, а много и размышлявший над прочитанным, не сумею разбить в прах, переубедить двух, по моим понятиям, недостаточно образованных женщин. Да быть такого не может! Я им покажу, что такое истинный интеллект, покажу, какой я мягкий и покладистый! В общем, здорово я себя распалил перед предстоящим диспутом.

Алла Власовна вещала:

— Человек, стремящийся познать истину, — в чем именно заключена эта истина, она не объясняла, в этом тоже был свой тайный смысл, понятный только избранным, — должен отойти от всего земного, телесного, чувственного и самоуглубиться.

— Как это сделать? — не выдержал я.

— Да очень просто. Надо лечь, успокоиться, закрыть глаза, забыть все сиюминутные волнения и настроиться на вечное — заставить себя вспомнить то, что было в далеком прошлом. Душа независима от тела, она бессмертна. Тело погибает, а душа переселяется в иную оболочку. Поэтому можно вспомнить то, что было с вами, а вернее, с вашей душой двести, триста и даже тысячу лет назад.

Говорила она, как по писаному, с ссылкой на Рериха.

Я стал ей спокойно объяснять, что первым был философ Платон, кто в своем учении о переселении души ввел в оборот понятие о ее бессмертии, а вовсе не ее любимый Рерих.

— Нельзя же всерьез воспринимать то, что было провозглашено двадцать четыре века назад. Тогда наука только зарождалась, а теперь... Как это и ни печально сознавать, но от человека после смерти, увы, остается только кучка пепла, — грустно закончил я.

Но диспут наш явно не получался. Я приводил неопровержимые доводы, а Алла Власовна рассказывала очередную мистическую историю, я ей — про Аристотеля, а она: «Вот Иван Николаевич говорит...».

В общем, разговор глухого с немым.

Нина в споре не участвовала. Она сидела на диване, подобрала под себя ноги и укрывшись пледом, и только поощряла мать:

— Правильно. Так его! Молодец, мать! Верно говоришь.

Ее лицо было возбуждено, ноздри поминутно вздрагивали, втягивая воздух, на губах — насмешливая улыбка человека, ощущающего свое превосходство, наш спор ее явно забавлял.

И тут я прозрел, понял наконец, что всерьез состязаться в поиске истины с Аллой Власовной бесполезно, что человек, фанатично во что-то верящий, никакие доводы, идущие вкось его вере, не воспринимает. Вспомнив грубую поговорку: «С бабой спорить — плевать против ветра», я рассмеялся и решил закончить наш бессмысленный спор шуткой:

— Хорошо. С вами еще можно было бы согласиться, если бы число людей, то бишь тел, на Земле было бы

неизменно. Но ведь сначала появилось всего два человека — Адам и Ева, а значит и две души. А теперь число тел перевалило за четыре миллиарда. Следовательно, должен был образоваться огромный дефицит по части душ. Где их прикажете взять? Ах! Они были в растениях и животных. Так, может, к вам душа перешла от динозавра?

По-видимому, мой насмешливый тон и особенно последние слова — неосторожно я высказался, хватил лишнего, но уж очень она меня разозлила своим неумением вести диспут — ее больно задела и тут, как говорится, в ней зыграло ретивое:

— Алеша! Да вы кретин, у вас куриные мозги, дальше своего носа вы ничего не видите. Вы слишком много о себе возомнили. Думаете, что если вы математик, то хорошо разбираетесь и во всем остальном. Да вы просто свихнулись на почве любви к моей дочери...

От ее обычного, такого приятного и привычного для меня благодушия не осталось и следа. Она с остервенением, с каким-то по-голубиному клекотом в гортани, выплескивала мне в лицо все новые обвинения. А ее глаза, с их чарующим блеском, с их почти материнской любовью ко мне, что сделалось с ними? Они, словно когти, вцепились в меня — расплавленные глаза разъяренной сиамской кошки.

Я взглянул на Нину: она беззвучно смеялась, от удовольствия облизывала губы, испытывала верх блаженства, смаковала сцену моего унижения, как меня, можно сказать, стегали розгами. Заступить за меня она и не собиралась. Всем своим видом она давала мне понять: сам заварил кашу — сам и расхлебывай. А я знал: цыкни она на мать — та бы мгновенно сникла.

Я замолчал — ушел в глухую защиту, как боксер, прижатый противником к канатам и закрывший двумя руками лицо от града ударов. Не мог же я вступить в оскорбительную перебранку с пожилой женщиной. Но не в одной хуле, обрушившейся на мою голову, было дело, В презрительном взгляде, непримиримых жестах, пресекающемся голосе, во вспыхнувшей ко мне острой неприязни, за оскорбительными словами скрывался, как за ширмой, казалось мне, такой вердикт: «Ты олух, дурак, пошел вон!»

Под ругань Аллы Власовны, под сдавленно-язвительный смех Нины, выкатился я из их квартиры, где чувствовал себя уже почти своим, и поплелся домой.

Больше всего я был возмущен не руганью Аллы Власовны — взбесилась, пройдет, — а отступничеством, предательством Нины. «Нет, этого я ей не прощу, — с горечью думал я. — Дорога в их дом теперь мне заказана».

Я размышлял:

— Ничего я теперь не понимаю. В доме, в котором, казалось бы, нет ничего святого, где буквально все служит предметом для осмеяния, такая фанатичная вера в бессмертие души и иную мистику. Как можно совместить такие полярные явления, как повышенная жажда земных наслаждений и благ и ханжеская святость? Непостижимо.

Раньше мне казалось, что мистика — удел если и не убогих, то во всяком случае в чем-то ущемленных судьбой людей, чувствующих себя неуютно в обыденной жизни. Им мистика, словно спасательный плотик в бушующем океане, помогает держаться на поверхности человеческого бытия. Но теперь мой стереотип человека-мистика был разрушен. Кто, кто, а уж Алла Власовна твердо упиралась ногами в землю, прочнее трудно себе и вообразить. Спрашивается: ей-то чего в этой юдоли обиженных было делать?

Заново переживая всю сцену скандала, я решил: ярость, неподдельная, безудержная, раскаленная добела, и есть настоящая натура Аллы Власовны. (Тут я вспомнил и ее отзывы о муже, якобы исковеркавшем ей жизнь.) Впрочем, я был, возможно, и несправедлив: ведь раньше с наименьшей уверенностью я посчитал, что доминанта ее характера — благодушие.

Да, третий тур я начисто завалил. Но если бы даже я и мог предположить, что наш диспут закончится скандалом, то и тогда не стал бы им подыгрывать. Для самоуспокоения вспомнил изречение известного философа: «Кого сильно любишь, трудно всерьез уважать.» Не помогло. Отвлечся тем, что стал сочинять стихи о святости человеческого слова.

Через несколько дней мне позвонила Алла Власовна, голос был вкрадчивый, будто кающийся:

— Алеша! Что с вами случилось, почему не появляетесь, куда запропастились? Ну, поспорили, повздорили, эка невидаль — чего между своими не бывает. Хватит обижаться, приходите. Нина тоже вас ждет.

Поманили меня пальчиком — я немедленно и прибежал. Нина встретила меня словами:

— Явился, богом обиженный, — и строго: Не касайся ты того, в чем не разбираешься.

«Неужели и она, врач, верит в мистику?» — подумал я. Но уточнять не стал. Мир был восстановлен. Наше примирение я воспринял так: «Хотя ты третий тур и завалил, но мы закроем на это глаза. Бог с тобой, не будем пока лишать тебя радости общения с нами. Ведь вера в бессмертие души важна не сама по себе, а для праведной жизни на Земле. Но поскольку ты ведешь, по нашим понятиям, вполне достойный образ жизни, то мы тебя не дисквалифицируем и допустим к следующему туру».

Меня такая трактовка нашей размолвки вполне устраивала: и любовь сохранил, и убеждениям не изменил. Жизнь продолжалась.

Продолжаться-то она продолжалась, но едва брезжащая брешь в наших отношениях все же появилась. Я стал осторожнее, снова появилась скованность. Не такие уж вы смешливые и безобидные, мои милые женщины, как мне поначалу показалось. Не мог тот скандал пройти для всех нас бесследно. Но нашей болевой точки — мистики, мы больше не касались, хотя повод для этого вскоре представился.

Надо сказать, что дом Нины и Аллы Власовны был домом открытым. На огонек к ним забегало много всякого люда: обмолвиться словечком, занять денег, попить чайку, просто отогреться. Привечали всех, никого не отталкивали. Правда, когда за гостем закрывалась дверь, косточки ему могли помыть основательно. Но от гостя от этого не убудет, а им удовольствие.

Одним из таких постоянных завсегдатаев был человек с козлиной бородкой — бывший дыхатель Аллы Власовны, как сказала мне о нем Нина. Приходил он часто и задерживался надолго. Садился на стул и скрещивал под ним ноги, в чем был явный намек на его святость.

Человек с бородкой рассказывал:

— Вы помните, хорошая моя Алла Власовна, — обращался он только к ней, нас с Ниной почти не замечал, — жаловался я вам в прошлый раз, что у меня сильно болит правая нога. Так болела, что даже ходить стал с палочкой. Я по врачам. Но что они могут? Сами знаете, — тут он повернул свою бородку в сторону Нины и елейным голоском сказал: Ниночка пусть на меня не обижается — ее это не касается (Побаивался все же ее старый козел, хотя, собственно говоря, что она ему могла сделать? Только что выставить из дому), — после паузы он продолжил: — Зашел раз к соседям. Спрашивают: Что с вами? Я рассказал. «А у нас, — говорят, — сын лечит, он экстрасенс, случайно обнаружили. Приходите вечером, он вас вылечит.» Я и пришел, полный скепсиса и недоверия. Мальчишка, сопляк, и лечит. Но что было мне делать — врачи от меня отступились. Лег я на диван, задрал штанину, и он стал водить руками вдоль ноги, не касаясь ее. Так что это был не массаж. Водит руками, и я чувствую, как он боль из меня высасывает. За три сеанса своими пасами поставил меня на ноги, всю хворь выгнал. Хожу теперь без палочки, даже приседать могу. Одно нехорошо, до сих пор с ним не расплатился. От денег наотрез отказался. «Нельзя, — говорит, — нам экстрасенсам деньги брать, теряем мы тогда свою способность исцелять людей.» Посоветуйте, какой ему подарок купить.

— Осторожней бы надо, — глубокомысленно заметила Алла Власовна. — Вашу болезнь он мог взять на себя, а ему, мальчишке, — еще жить и жить. Читала я как-то, что одна женщина вылечила мужчину от страшной головной боли. Но любитель она была, не профессионал. Мужчину-то она вылечила, а всю его боль приняла на себя. Три года мучилась, пока ее настоящий экстрасенс не избавил от приобретенного недуга. Так что очень осторожно этим способом лечения надо пользоваться, очень осторожно, — назидательно заключила она.

— Мальчишка здоров, ничего с ним не будет, а меня вылечил — свершил чудо, одним словом — молодец, — ответил человек с бородкой, забыв о подарке.

— А может, это психотерапия? — осторожно встрял я в их разговор.

Человек с бородкой медленно повернул голову в мою сторону, его бледно-серые глаза метнули в меня взгляд, полный неоспоримого превосходства, после чего он спросил:

— Молодой человек, вы — крещеный?

— Нет. А какое это имеет отношение к нашему разговору? — недоуменно ответил я.

— Самое прямое, ибо есть вещи, которые некрещеный воспринять не может, — назидательно произнес человек с бородкой.

— Позвольте, позвольте, значит, по-вашему, если некрещеный, то уже и не человек! — с возмущением воскликнул я.

— Не всегда, — спокойно возразил он.

— Опять ты нарываешься на скандал, — прервала меня Нина.

Она взяла меня под руку и увела в свою комнату. Вскоре к нам присоединилась Алла Власовна. Нина недоброльно ей выговаривала:

— Зачем эта козлиная борода к нам ходит? Чего ему надо? Мужик должен зарабатывать деньги, содержать семью, вкалывать с утра до вечера. А у них в семье жена на двух работах, бьется как рыба об лед, а он только шастает по гостям и байки рассказывает. Охота тебе, мать, с ним лясы точить?

— С одной стороны, ты, конечно, права, не мужское это дело по гостям ходить, но с другой...

— Другой стороны нет, — строго оборвала ее Нина.

Алла Власовна, обиженно поджав губы, замолчала.

— Все должно быть как в нашей образцово-показательной семье, — насмешливо-назидательно продолжала Нина. — Отец — трудяга, добытчик, мать — беззаботная птичка-колибри, книжечки почитывает, телевизор посматривает, за дочкой приглядывает, не давая ей прохода.

Я снова терялся в догадках: всерьез она говорит или чтобы позлить мать. Переругивались они иногда между собой, но незлобливо, как-то по опереточному, а здесь, чувствовалось, — назревает скандал.

— Стерва ты, стерва! — не выдержала Алла Власовна и хлопнула дверь.

Что меня больше всего поражало в Нине? Пожалуй, желание смерчем, ураганом промчатся по жизни, все взять от нее. Доказательством своей несокрушимой жизненности она считала мучающую ее жажду по новым знакомствам, развлечениям, смене обстановки. Вскоре я понял: я не единственный, с кем она встречается. Но я старался сохранять внешнее спокойствие, лишних вопросов не задавать, неудовольствия не выказывать. Я был благодарен уже за то, что меня ни с кем не сталкивали лбом, что большую часть свободного времени Нина все же проводит со мной. И она по достоинству оценила и мою выдержку, и мою способность подавлять в себе ревность и, как казалось мне, стала со мной предельно откровенна.

Нина часто и с удовольствием рассказывала, с каким восхищением на нее сегодня смотрел самый красивый врач их больницы, какой комплимент сделал ей заведующий их отделением — мужчина в годах, но еще пользующийся большим успехом у женщин, по каким запутанным семейным делам советуются с ней женщины, старше ее по возрасту, как робеет, разговаривая с ней, один молоденький мальчик — практикант из медицинского училища — влюблен без памяти. Да, чувствовалось по всему, что она должна жить в атмосфере уж если не всеобщей влюбленности, то во всяком случае поголовного обожания и восхищения ее персоной, иначе ей было худо, не по себе. Порой создавалось впечатление, что жизнь в их отделении держится исключительно на ее оптимизме, что без нее все рухнет. Умела она себя подать, убедить окружающих — умнее и красивее ее нет. И вот что интересно, верили, верили ей и подчинялись.

В ее рассказах присутствовали только врачи и медицинские сестры — умные и поглупее, красивые и так себе. Казалось, что больница состоит из них одних, больных в ней нет. Больница без больных. Больной — это страдание, жалость, неполноценность, а таких тем она старалась в разговоре избегать.

Тянулись к ней, как следовало из ее же рассказов, люди с подорванной волей, с трещинкой в судьбе, неспособные

самостоятельно принимать решения, с «низким энергетическим уровнем», как называл их я. Не было для Нины большего удовольствия, как руководить ими, поучать, давать бесконечные советы. Роль наставника, — избитое теперь слово — была для нее самой благодной. Часами могла она заниматься по телефону своей благотворительно-наставнической деятельностью, не обращая внимания на мать, а со временем и на меня. Говорила резковато, но живо и остроумно, слушать ее было интересно.

На особом, привилегированном положении среди ее клиентов-поклонников находились двое ее бывших сокурсников — Игорь и Лева, у каждого один развод за спиной, оба с неустроенной теперь судьбой. Звонил Лева и спрашивал, как ему поступить. Он познакомился с молодой дамой с грустными тающими глазами, изящной и привлекательной, и, на беду свою, снова влюбился. Дама уверяет его, что мужа не любит, но оставить не может, — почему не объясняет, — и потому с ним, Левой, не дано ей полностью связать свою судьбу. Как быть? Как оторвать ее от мужа?

Незамедлительно Нина давала Лева совет:

— Скажи ей, что порываешь с ней всякие отношения, что не можешь делить ее с другим мужчиной, что между вами все кончено и пусть она оставит тебя в покое. Раз муж ей дороже, пусть остается с ним, а ты встретишь другую женщину, которая полюбит тебя по-настоящему. Пойми, Лева, любят бабы канитель, неопределенность, бесконечные переживания, возможность поводить мужика за нос. Ты порезче с ней, и она будет только твоя.

Говорила так, как будто она сама не женщина, а некое высшее существо, парящее над всеми.

У Игоря были другие проблемы: его бывшая жена снова вышла замуж и теперь не подпускает его к сыну, не разрешает переступить порог когда-то ему, Игорю, принадлежавшей квартиры. Более того: она просит его отказаться от отцовства, ибо ее новый муж готов усыновить их ребенка.

Случай сложный, требующий предельной деликатности. Но Нина и в такой путаной ситуации не уклонялась от совета.

— Соглашайся с ней — откажись от отцовства, это следует сделать в интересах ребенка. И потом учи: раз

ты с женой разошелся, то ребенок — отрезанный ломоть, все равно никогда душевного контакта у тебя с ним не будет. Всю жизнь будешь только платить алименты, а взамен — ничего. Откажись, раз жена об этом просит. Женись — у тебя будет новый ребенок.

Тут я не выдерживал и с возмущением говорил:

— Нина! Остановись, всему есть предел. Как можно брать на себя такую ответственность?

— Отстань! Тебя это тем более не касается. Легче всего отойти в сторону и умыть руки. Но Игорь мне друг, и я не могу не помочь ему дельным, — да, да, пусть жестоким, но правильным, — советом в тяжелую минуту его жизни, — в ее голосе не чувствовалось ни тени сомнения в своей правоте.

Да, Лева и Игорь буквально повисли на Нине. Но держала она их, как и меня, на дистанции: ресторанчик, театр, дом кино, не более, — а взамен — советы в неограниченном количестве по любой жизненной ситуации.

Алла Власовна не без основания как-то заметила:

— Тебе, Нинка, надо было стать католическим священником, наставляющим неразумную паству.

А я добавил:

— Ты, Нина, не женщина, а стена плача.

Но если в словах Аллы Власовны помимо иронии сквозила и гордость за дочь, то в моих — боязнь, страх потерять Нину. Как можно удержать подле себя женщину, если без калейдоскопа людей она и дня прожить не может?

Меж тем поток гостей в доме не уменьшался. Даже меня это стало утомлять, а их — нисколько, ибо сохранялась возможность все время кого-то обсуждать. Сарказм тоже требует, так сказать, постоянной смены блюд. А глаз у них обеих был острый: изъясн подмечали в каждом человеке. Однажды после *одного* из наиболее едких отзывов об ушедших гостях (заходила супружеская пара — люди пожилые, но недавно поженившиеся: муж, как молодой юноша, умиленно смотрел на жену); произдевались над этим, потом сказали: «Стоило всю жизнь ходить в холостяках, чтобы под ее конец жениться на корове, которая страшней нейтронной бомбы»), — я не выдержал:

— Представляю, что вы здесь обо мне говорите, когда за мной закрывается дверь. Как подумаю — колики начинаются.

— Что вы, Алешенька, — без смущения ответила Алла Власовна, — о вас с неизменной любовью ведь у вас одни достоинства. И как можно плохо о своих? А вы у нас теперь свой человек, без вас, как без рук.

И действительно, пропадал я теперь у них подолгу — мама вздыхала, но ничего мне не говорила и всю тяжелую работу по их дому взял на себя. Внедрился прочно. Мне казалось, что им обоим теперь деться некуда, не смогут они больше существовать без моей помощи и поддержки. Да и я к ним обоим прикипел, не мог я больше обходиться без их смешков, шуточек, милых розыгрышей. Без них жизнь казалась мне теперь пресной, скучной, с ними она засветилась, стала ярче. Чем глубже я увязал в их доме, тем больше и они зависели от меня. Наше притяжение взаимное, мы почти притерлись, думалось мне. Как только они могли раньше обходиться без меня? Представить даже этого не могу. Надо только еще немного выждать, не торопиться перед последним решающим броском. До вершины рукой подать, не оступись, не упади.

Моя выжидательная позиция, вызванная только моей робостью, боязнью нарваться на отказ, а не сомнениями относительно достоинств Нины, казалось, ее вполне устраивает. Пусть инициатива будет за ней, посчитал я, сбросив с себя бремя ответственности.

Мама достала нам с Ниной билеты в консерваторию на «Виртуозов Москвы». Почему, слушая скрипку, переходишь в необычное состояние страдания-восторга; одновременно испытываешь и радость, и неосознанное чувство вины? Перед кем, за что? И жизнь представляется в другом освещении, и люди кажутся иными. Видно, правильно говорят, что в звуках скрипки будто спрессован тысячетный стон людей. А тут играл оркестр виртуозов с дирижером-волшебником. С ними ощущение мира становилось во сто крат более хрупким. Но вот затихли последние звуки, вобрали их стены с портретами-композиторами, — призваны они веками слушать свои творения, на то они и бессмертны, — и ты

спускаешься с небес на землю, а вернее, в зал с беснующейся публикой, со слегка, как и у тебя, помутившимся рассудком. Опустела сцена, гаснет свет, и возвращается все земное: номерок от пальто, улица, троллейбус, мысль: «Завтра на работу». Но что-то очень значительное — не ощущение ли обновления? — еще долго не покидает тебя.

Нина, обычно равнодушная к классической музыке, была потрясена. «Невероятно, ничего подобного в жизни не слышала», — беспрестанно твердила она. Даже пролепетала какие-то слова благодарности за то, что я сводил ее на такой концерт. Размягчила ее музыка, погрузила в воспоминания детства, чего раньше за ней никогда не водилось. По дороге домой она говорила мне:

— Ты считаешь меня жесткой, с неодобрением относишься ко многому во мне — особенно моим советам Леве и Игорю. Так надо. Но ты не представляешь себе, какой чувствительной дурочкой я была в детстве. Если, скажем, в школе на уроке литературы разбирали какую-нибудь грустную историю о погибшем животном или несчастном ребенке, то до конца уроков мои глаза были полны слез и я никак не могла переключиться на новый предмет. Сентиментальность и стеснительность у меня в крови от отца, он по сей день не поборол их в себе. Я еще в школе поняла, что со своей обнаженной, сверхчувствительной душой пропаду или свихнусь от неумения переносить чужое горе и беду. И я решила выжечь в себе всю жалостливость, доставшуюся мне по наследству. Выжгла наследственное и самостоятельно сумела выковать свой теперешний характер.

— Не переусердствовала ли? — осторожно спросил я.

— Ничего, по нашей жизни самый раз, — без тени сомнения в голосе ответила Нина. — Тебе, кстати, тоже не мешало бы избавиться от наивного восприятия жизни. Но не горюй, время пока еще не упущено, — она засмеялась и испытующе взглянула на меня.

«Да, — подумал я, — влияние концерта на нее оказалось уж не столь продолжительным.»

— Я даже в медицинский специально пошла, — продолжала рассуждать Нина, — чтобы закрепить начавшийся во мне процесс перерождения личности. Единственно, о

чем я с ужасом думаю, о своих будущих детях. Поскольку благоприобретенные свойства не передаются по наследству, то и им, бедняжкам, придется пройти тем же путем мучительных метаморфоз, через которые продиралась я, — говорила она вполне серьезно.

— А если дети будут похожи на папу, а не на маму? — многозначительно спросил я, вспомнив известный парадокс Шоу.

— Быть такого не может, — отрубил резко Нина.

Да, оказывается, и ей иногда отказывало чувство юмора.

Но все же ее рассказ о своих детских переживаниях прояснил для меня многое.

Накатывали на нее порой периоды безутешной тоски, какого-то безысходного горя и уныния. Менялись не только ее глаза, становившиеся болезненно-печальными, и лицо, принимавшее скорбное выражение, но и голос, интонация которого взамен обычной резкости приобретала мягкость и задушевность. И сама она становилась воплощением женственности, покорности, кротости. Та, прежняя девочка, полностью, по-видимому, в ней еще не погребенная, тихая и сердечная, брала в ней верх, всплывала на поверхность, а теперешняя структура ее личности распалась и временно исчезала.

— Ты думаешь, Алеша, быть опорой для многих, заражать людей оптимизмом легко? — спрашивала она меня в такие дни, когда на нее нисходила грусть.

О! Господи! Можно было подумать, что ее к этому принуждали насильно.

— Да я сама с удовольствием на кого-нибудь облокотилась бы, повисла — не оторвешь, — жалостливо говорила Нина.

Я, тронутый ее словами, еще более откровенно старался подставить ей свое плечо, на которое она могла бы опереться, и выполнить не только ее любую просьбу, а даже намек на нее.

Вот такую Нину, с ее потребностью повышенной к ней ласки, участия, внимания, я любил больше всего. Я убаюкивал себя мечтой всегда видеть ее такой, не дать исчезнуть в ней той кротости, которая приходила из детства,

хотя где-то в глубине сознания и понимал, что ее размягчение, если и не мираж, то дело временное, связанное, возможно, с ее физическим недомоганием.

И действительно, проходило два-три дня, и на сцене жизни появлялась прежняя Нина — первая леди в ее больнице, ведущая за собой весь коллектив.

Когда я с грустью напоминал ей о том, как же прекрасна она была в дни ее печали и тоски, град насмешек обрушивался на мою голову. Но я все же не терял надежды отогреть ее, возродить в ней ее прежнее «я» — девочку из ее же собственного детства, которую я полюбил в ней больше всего.

И все время я продолжал терпеливо ждать, когда она, умница, даст мне знак заступить за черту.

Смушало, однако, одно — в последнее время Нина стала крайне раздражительна. Я ощущал, что она недовольна собой, редкое для нее состояние, пытается как-то разрядиться, сбросить с себя мучающую ее неудовлетворенность, да не может. Снова несколько раз спрашивала меня, сколько дней осталось до 23 декабря, но что означает эта магическая дата, не объясняла. Спроси она меня о седьмом декабря, я бы понял, это был день ее рождения, но 23? Все в ее поведении было для меня крайне загадочно.

Снова я повстречал у них в гостях человека с козлиной бородкой, с которым едва не поскандалил в прошлый раз. На сей раз он рассказывал, слава богу, не о своей болезни, а о Библии.

— Хорошая моя, Алла Власовна, — говорил человек с бородкой, — возобновил я в последнее время чтение Библии, потянуло меня к ней. Прочел я притчу об Иове — самом праведном человеке на земле, которого Бог наказал не за вину, обратите внимание, не за провинность, а из каприза в нелепом споре с сатаной. И как наказал! Семью уничтожил, богатства лишил, проказой заразил, только душу не тронул. Иову говорили: «Отступишь от Бога — он несправедлив, разве можно так страдать невинно.» Но никаким увещаниям не внял Иов и, втоптаный в грязь, продолжал прославлять Бога. Прочел я и задумался. Вот это вера! А как нынешняя молодежь поступает, — беглый взгляд в мою сторону, — что-нибудь не так, я

даже не о вере в Бога говорю, о любой вере, — сразу отступничество. Верить, верить надо до конца, что бы ни произошло! — испуганно закончил он.

— А вы не правы, дорогой! — с лукавой усмешкой заметила Алла Власовна. — Есть и в наше время люди, которые сохраняют веру, что бы с ними ни сделали.

— Кто же это? — вызывающе спросил человек с бородкой. — Кого вы имеете в виду? — и он широко развел руками, давая понять: пусто, пусто кругом.

— Да хотя бы нашего Алешку, сидящего рядом с вами, — простодушно сказала Алла Власовна. — Ведь сколько бы его Нинка ни бутузила, он все равно от нее не отступится. Правда, Алеша?

Я промолчал.

— То любовь, а я совсем о другой вере говорю. Не поняли вы меня, моя хорошая, — разочарованно промолвил человек с бородкой.

— Какая разница, — не согласилась Алла Власовна. — Предан беспредельно, верен безоговорочно — в этом главное.

«Смотри, оказывается, и дурак дураком может иногда поведать что-нибудь путное, — подумал я тогда о человеке с бородкой, — Действительно, так уж я беспредельно предан Нине или нет? И неужели для того, чтобы женщина стала твоей, надо раствориться в ней, потерять самого себя? Близок ли конец моим испытаниям? Жду ее дня рождения — 7 декабря, а там — решительное объяснение.»

Я совсем забыл рассказать, что помимо двух женщин и постоянно отсутствующего отца в семье был еще почти полноправный ее член — собака Рика. Гамму добрых чувств испытывали обе женщины к собаке: и любовь, и сострадание, и потребность заботы о ней. Но особенно важное значение они придавали случке Рики — жениха подбирали очень тщательно. В очередной раз брачные дела прошли успешно и через положенный срок Рика в муках оценилась, принесся приплод из пяти щенят, которым дали такие имена: Нина, Алеша, Игорь, Лева. Тут все было понятно. А пятого, самого крупного, нарекли Олегом. Для меня это была загадочная личность.

После родов Рика едва не сдохла, но, спасая ее, не позаботились должным образом о приплоде. Щенки отказывались сосать молоко, чахли на глазах, смерть их неотвратимо надвигалась. Несмотря на мрачный прогноз ветеринара — у Рики было отравлено молоко, ее неправильно кормили во время беременности — началась новая отчаянная борьба, теперь за спасение новорожденных. И снова женщины не спали ночами, были изнурены до крайности, осунулись, глаза их провалились. Успех был частичным: в живых остались только двое щенят — Олег и Нина, трое других умерли, причем первым — с моим именем.

Когда мне сказали об этом, я содрогнулся. Неужели то глас судьбы? Все мы немного мистики, когда не вполне в себе уверены. Выживших щенков — Олега и Нину — вырастили и выгодно продали, ведь Нина — моя любимая — была практичной женщиной.

Наконец настала долгожданная дата 7 декабря, день рождения Нины.

Помню необыкновенный прилив нежных чувств к ней в этот день, который, верилось мне, будет самым счастливым в моей жизни. У меня было много оснований для такого оптимизма: внимательное, очень ровное отношение ко мне Нины; отсутствие насмешек со стороны Аллы Власовны, серьезный, весьма доверительный разговор с отцом Нины, приехавшим к дню рождения дочери. Подарок я купил заранее, а розы мне пообещала достать мама и, конечно, сдержала свое слово. Нина предупредила, что помимо меня из молодых мужчин приглашены Игорь и Лева. Даже спросила не возражаю ли я?. «Конечно, нет», — был мой ответ, я был великодушен. «Что мне они, — думал я, — ведь ко дню рождения я, образно говоря, пришел, как на шоссейных велосипедных гонках, в желтой майке лидера. Мне бояться нечего, я уверен в своей победе, приглашай кого угодно, и пусть они сгорят от зависти.»

Первым появился Игорь, невысокий, хрупкий, изящный, под стать современному веку микроэлектроники. Сероглазый, с тонкими чертами лица, воспитанный, грустный человек неопределенно юного возраста. Он, со своим взгля-

дом, полным братской любви к людям, не мог не понравиться при первом же общении.

Первая мысль, мелькнувшая в моей голове, когда меня познакомили с Игорем, была, как это и не покажется странным, о его бывшей жене: «Сколько же зла должно быть в женщине, которая рассталась вот с таким ангелом». Ангел был к тому же начитан, умен и приятный собеседник. У нас быстро нашлась и общая тема для разговора — диагностика болезней с помощью компьютера. Узнав, что я математик, Игорь доверчиво сказал мне: «Алеша, вы для меня находка», что показалось мне немного комичным: дружить с другом Нины. Впрочем, Игорь вызывал желание опекать его, уж больно беззащитным он казался на первый взгляд.

Вскоре к нам присоединился и Лева. Этот был покрепче Игоря во всех отношениях. Красивые руки с подвижными пальцами приковывали к нему всеобщее внимание. «Определенно он хирург», — подумал я. Во всей его манере держаться, в твердом взгляде светло-голубых глаз, в сдержанной речи проглядывало стремление человека утвердить себя, казаться значительным. Собеседника он слушал внимательно, но возражения плохо принимались им в расчет. Вклинившись в нашу беседу с Игорем, он категорично заявил, что электроника не может внести ничего радикального в медицину и единственное, на что следует уповать, как и сто лет назад, — на руки хирурга. И все же он был симпатичный человек, правда, немного подавляющий своим превосходством красивого мужчины.

Надо заметить, что в доме Нины красивых мужчин и женщин любили. Пожалуй, это была единственная категория людей, к которым относились в определенном смысле с обожанием, слабости их не замечали им многое прощалось.

При всем различии Игоря и Левы что-то неуловимо роднило их. Скрытая печаль, сходство их душевной травмы? Или обожание ими Нины? А может быть, наоборот, ее влияние на них привело обоих юношей как бы к общему знаменателю? Что ж, друзья Нины мне понравились, вкус не изменил ей и здесь. «Хорошо, — подумал я не

без некоторого самодовольства, — они будут и моими друзьями. Я всегда рад буду принять их в нашем доме.»

Когда сели за стол, то первое слово для тоста в честь именинницы предоставили мне. Я сказал, что не хочу быть назойливо скучным, произнося возвышенные избытые слова во славу новорожденной. Я хочу произнести тост в соответствии с традициями этого дома в сатирическом духе. Не возражаете? Все, в том числе и Нина, согласно закивали головами. Но одно дело — желание, а другое — способность сказать остроумно. У меня же получилось именно то, от чего я открещивался. Я говорил о том, какая Нина необыкновенная девушка, как она внушает всем веру в себя, что она восьмое — или какое там по счету? — чудо света, что ее следует называть парадигмой. В общем, не тост, а патока из слов, сплошное занудство.

Меня учтиво, не перебивая, выслушали, холодно-вежливо поблагодарили и не без некоторой спешки выпили за здоровье именинницы, опасаясь, по-видимому, что я не закончил произносить заранее заготовленную мною длинную речь или, не дай бог, мне захочется еще и поимпровизировать на выбранную тему.

Разговоры за столом вились вокруг медицины — ее поругивали — и геологии — тут похваливали. Я помалкивал. Но когда, обойдя по кругу, ко мне вторично подошла очередь произнести тост, то я решил поправить то невыгодное впечатление, которое должно было сложиться обо мне у гостей.

— Теперь мой тост будет кратким, — глухо сказал я. — Пью за упокой души Алексея, Игоря и Левы.

— Что за глупые шутки! — возмущенно воскликнул кто-то из гостей. — Они, а кстати, и вы еще, кажется, живы.

— Как вы разве не знаете, что вашими именами в этом доме нарекли щенков, которые приказали долго жить. За них-то мы и выпьем.

— Заткнись! — негромко, но злобно выкрикнула Нина. Взгляд ее стал ненавидящим.

То ли дух противоречия разыграл во мне. то ли выпил чрезмерно, но остановиться я уже не мог.

— Да, мы с вами, — обратился я к Игорю и Леве, — мертвы, друзья мои. Нас похоронили в садике при доме, закопали в мерзлую землю, я сам долбил ее ломом и участвовал в собственных похоронах. А Алла Власовна каждый день приходит на могилку и оплакивает нас.

Мой юмор приобрел могильный оттенок.

С момента смерти щенков в моей душе поселился неведомый мне раньше мистический страх, я был зол на Нину, что самого крепкого щенка, который только и мог выжить, она нарекла не моим, а именем неизвестного мне Олега. Почему? Значит он ей дороже. Зрела где-то внутри меня обида за это новое предательство, и тут, прорвав невидимый заслон, она вырвалась наружу. Момент, конечно, для выяснения всех сторон похоронной истории с щенками и избавления от моего страха был не самый лучший. Но я уже не владел собой и все больше и больше раскручивал спираль этой грустной собачьей эпопеи. Постепенно моя печаль по поводу смерти щенков передалась Игорю и Леве, они призадумались, погрустнели. Кажется, цель была достигнута: мой мистический страх перешел к друзьям Нины, пусть им теперь по ночам снятся кошмары. Я успокоился.

Но не успокоилась Нина. Она вся сжалась, затаилась, в мою сторону не смотрела. Всем своим видом она давала мне понять: «Ты решил поссорить меня с моими друзьями. Так знай, месть моя будет жестокой.»

Постепенно, благодаря усилиям отца Нины, смущение на лицах гостей, вызванное моей диковатой шуткой, исчезло, и они снова вернулись в состояние той легкой непринужденности, которая обычно сопутствует встрече милых, интеллигентных людей, в среде которых не только сам скандал, но даже намек на него вызывает острое чувство отвращения.

Встали из-за стола, начались танцы. Со мной танцевать Нина наотрез отказалась. Ее кавалерами попеременно были Игорь и Лева. Во время медленных танцев она вплотную прижималась к ним. Обхватив руками шею своего партнера, она что-то нежно шептала ему, касаясь

своими губами его уха, их щеки соприкасались, тела буквально сращивались, взгляд был влюбленный. Я обомлел: Нина, которая не позволяла мне к ней прикасаться, эта недотрога, вела себя сейчас, по моим понятиям, как уличная девка. Из лидера в желтой майке я в мгновение ока превратился в аутсайдера. Все было предано забвению: и стихи в ее честь, и розы, и вся та бескорыстная помощь, которую я оказывал их дому.

И тут я вспомнил рассказанную человеком с козлиной бородкой притчу об Иове. Да, я не Иов и никогда им не буду! Но это значит, что я не выдержал четвертый, последний тур испытаний — на беспредельную, собачью преданность любимой женщине. В моей душе место мистического страха, от которого я так ловко избавился, заняла острая боль. Смотреть на эти танцы со сцеплением двух тел не было больше сил.

Краем уха я уловил брошенную Аллой Власовной фразу: «Полгода, как у нас пасется, и такая неблагодарность — учинил скандал. Я же ему, дурачку, все время твердила, что у него с Ниной ничего не получится — не верил.» Как же мне стало тоскливо и одиноко, каким униженным и лишним в их доме почувствовал я себя в тот момент.

Каждый человек испытывает тайное удовольствие, когда его пророчество, особенно негативного характера — пропадешь, проиграешь, ничего не выйдет, — сбывается. Что ж, Алла Власовна не была исключением из этого правила. Посчитать себя провидцем, возомнить почти пророком, кто устоит от такого соблазна?

Пора было уходить, но тихо, без скандала. Я сделал вид, что иду курить на лестничную площадку, и, не вызывая лифта, дабы не привлечь к себе внимание, пешком спустился с десятого этажа. То, что я чувствовал тогда, словом не выразишь. Я вспомнил, что при знакомстве Игорь показался мне немного комичным. А на поверку вышло, что роль первого шута на этом торжестве в честь моей королевы была уготована мне.

Неужели это конец? Неужели мы с ней не помиримся? Две недели эти вопросы не давали мне покоя. Что лучше:

самому позвонить ей или набраться терпения и ждать ее звонка?

Новый страх, теперь уже не мистический за свою жизнь, а страх навсегда потерять Нину поселился в моей душе. Нет мне без нее жизни, казалось мне в те дни, не могу я с ней расстаться. Хорошо, пусть она резка, груба, пусть она была несправедлива по отношению ко мне. Все, к сожалению, так. Но разве в этом дело, когда любишь женщину? Разве нельзя всем этим поступиться ради самого главного — возможности быть рядом с ней. Ведь она необыкновенная, потому и позволяет себе многое. Ну и пусть, бог с ней. Вся моя обида мелка, ничтожна по сравнению с необъятным чувством притяжения к ней. Да, да, прав был, по-видимому, этот ненавистный мне человек с козлиной бородкой со своей притчей об Иове. Но как стать Иовом? Как можно задавить в себе все человеческие качества: гордость, чувство собственного достоинства, свободу, самолюбие и еще, бог знает что, ради одного — слепой, безграничной веры и преданности другому живому существу?! Нет, не дано мне такое растление собственной личности, хоть убей меня.

Я боялся позвонить ей, боялся услышать ее приговор, не подлежащий пересмотру. А я знал, если она скажет: «Конец!» — то от своего слова не отступится. Я медлил, я оттягивал момент, когда раздастся роковое слово и прозвучит гонг, возвещающий конец нашей любви, вернее, моей любви.

25 декабря она первой позвонила мне: «Приходи завтра в три часа к нашему дереву». Сказала и тут же повесила трубку, не дожидаясь моего согласия на эту встречу. Она всегда была уверена: никуда я от нее не денусь. Не было у нее даже мизерного сомнения в том, что я могу не прийти.

На следующий день я шел через сад, безмолвный и полузабытый в это время года, мимо настороженно провожавших меня деревьев; брел по лыжному следу, поминутно проваливаясь в глубокий снег, с тревожной мыслью: «А как же здесь пройдет Нина?» Ветер, холодно-

влажный, дул мне в спину, усиливая чувство беспокойства и нетерпения, владевшие мной, подгоняя меня к месту нашей встречи — точке, в которой должен был замкнуться круг моих отношений с Ниной, месту моей гражданской казни, моего распятия — ухмыльнулся я про себя.

Острая боль в груди, не отпускавшая меня две недели, после звонка Нины утихла, и я снова обрел способность спокойно рассуждать наедине с самим собой. Я думал о том, что если отбросить скромность, то я, по всей видимости, человек не без способностей. Но удивительное дело, все требует от меня громадной затраты сил, все дается мне с трудом: математика, стихи, а теперь вот и любовь. Это трезвое осознание своих возможностей и привело меня к решению: пусть, наконец, свершится то, что неизбежно. Вспоминая свое бестолковое, глупое поведение на дне рождения, я понял, что то был отчаянный, обреченный на провал порыв самозащиты, попытка зачеркнуть знак неравенства между мной и Ниной. Я подсознательно ощущал, что теряю ее, но не из-за этой нелепой истории со щенками (чушь несусветная!), а в силу какой-то тайной, неведомой мне причины, которую мне не побороть, против которой я бессилён. Мой фатализм сводился к формуле: «Смирись.» И все же меня мучило ощущение недосказанности, незавершенности наших отношений, и желание побыстрее покончить со страхом томительного ожидания возврата безнадежно утерянного все более овладевало мной.

Проведенные с Ниной часы всегда были исполнены для меня какого-то особого, не поддающегося анализу глубокого смысла. В моем отношении к ней так и не наступила полоса обыденности, когда встреча сродни привычке. А сейчас значительность предстоящего свидания многократно усилилась. Она пришла с небольшим опозданием. Было что-то неуловимо новое в ее облике. Неужели источником этого ощущения служил белый, длинный шарф, замысловатым образом охватывающий ее шею и напоминающий мне, математику, лист Мебиуса? Нет, не в шарфе, конечно,

было дело. Причина состояла в ином — ее сковывала неуверенность и скрыть ее она не могла или даже не желала. «Ей свойственно сомневаться? Прекрасно», — подумал я. Снова я был в ее власти, и все мои обиды бесследно улетучились, вновь надежда обрести ее воскресла во мне и возродилось желание без всякой корысти служить ей.

— У меня мало времени, — по-деловому начала она, как будто мы только вчера расстались. — Поэтому коротко и о главном.

Я согласно кивнул головой.

— Я, кажется, выхожу замуж. Мой жених — зовут его Олег, — Нина мягко улыbnулась, — вернулся из длительной командировки 23 декабря. Пока он отсутствовал, должна я была, черт побери, с кем-то развлекаться. Под руку подвернулся ты.

В ответ я неопределенно пожал плечами, был само спокойствие, как будто ничего другого я от нее и не ожидал. В мгновение ока мой воображаемый мир душевной гармонии с ней был вновь (в который раз!) ею разрушен.

Нина недоуменно взглянула на меня: «Жив ли еще, не умер?» — прочел я в ее пытливом взгляде. С усмешкой продолжила:

— После той притчи мы с матерью решили проверить, Иов ты или нет. Ты сбежал. Молодец! Так и впредь поступай: никому не подставляйся, — тон был назидательный. — У тебя впереди еще вся жизнь, — можно было подумать, что у нее уже позади. — Мой совет — задави ты в себе влюбчивость, иначе будешь вечным страдальцем. Я не худший вариант среди женщин, а видишь, как с тобой обошлась. Поверь мне, ибо ты, хотя и мнишь из себя большого умника, несмышленишь в житейских делах.

— Но сейчас я сама на распутье. Впервые в жизни не знаю, что мне делать. Рассудком я понимаю: Олег — тот человек, который только и годится мне в мужья: он старше, умен и не ревнив. В том, что он из-за командировок будет отсутствовать в доме большую часть года, уже бла-

го, так как с моей матерью долго никто не уживется. А отец сбросил мать на меня, не могу же и я ее оставить, — внезапно в ее голосе появились жалостливые нотки. — Почему я не могу ни в кого отчаянно влюбиться, потерять голову, трепетать при встрече с любимым? Ну хотя бы раз в жизни у меня перехватило дыхание! Почему мне не дано такое? — она горько усмехнулась, вызывая к участию. — Неужели мое предназначение — поддерживать нищих духом? Но ведь и мне нужен бог, которому бы я могла поклоняться. Так где он?

Несмотря на обещанную краткость, говорила она еще долго. Кого она больше хотела убедить в своей исключительности: себя или меня? Поучениям ее тоже не было конца:

— Пойми: не любят женщины милых, интеллигентных мальчиков вроде Игоря и Левы, — меня она почему-то не причислила к ним — щадила напоследок, — видящих в женщине «стену плача» — твое же выражение. Даже мне нужен крепостной вал, за которым можно укрыться.

Она все говорила, говорила, и глаза ее из родных и близких становились чужими и далекими, а голос все более незнакомым и чуждым, мне. На прощанье, пристально вглядываясь в меня и пытаюсь оценить, сохраняет ли она еще власть надо мной, Нина резко бросила:

— Звони, Алеша, не забывай нас с матерью.

Она ушла, а я все еще стоял под нашей яблоней, запорошенной снегом, мысленно повторяя одни и те же слова: «Все кончено, все кончено...»

Она ушла, а все окрест хранило ее незримое присутствие: смесь из двух запахов — духов и дубленки — эхо ее голоса, первый звук которого раздался для меня вот здесь, на этом самом месте, под этим деревом.

Она ушла, сгустились сумерки, повалил мокрый снег, и сквозь его пелену мне почудилось: снова пристань, вновь бело-голубой корабль, она — на его борту, я — на берегу. Черная полоса воды между нами неотвратимо разбухает, она навеки уплывает, я остаюсь. Но самое удивительное состояло в том, что это пронзительное чувство

разлуки навсегда не вызвало у меня ни смертельного ужаса, ни ощущения конца света. Бывает же такое, всего одна-две дополнительные черточки, и твое представление о человеке раскрывается веером, и зримыми становятся новые грани человеческой личности, — словно в перенасыщенном растворе мышления выпадает внезапно кристалл истины. И истина эта была проста: возможно, она и постигла некую высшую алгебру человеческих отношений, но потеряла, обронила невзначай или просто выбросила на помойку азбучные кубики, на которых, пожалуй, и держится мир.

Я знаю: мне надо стереть, вытравить из моей памяти ее образ или покрыть толстым слоем краски, чтоб и контуры не просвечивали. Но память, увы, не размагнитить, и не холст она, который можно закрасить. Все помню, все наши минуты от первой встречи до последних семи слов.



Владимир ФРИДКИН

ДВА РАССКАЗА

ПОВАРСКАЯ

Было лето девяносто четвертого года. Июнь стоял холодный, темно было как осенью. С утра я писал, потом оторвался и посмотрел в окно. На стекле — морщинки дождя, за стеклом — печальное серое небо и сырая задняя стена панельной «Керосинки». Так зовут нефтяной институт, фасадом выходящий на Ленинский проспект. Была пятница — день тяжелый. Я всегда боялся пятниц. По таким дням лучше сидеть дома и делами не заниматься. Пить чай, читать или слушать музыку. Но я почему-то решил в этот день поехать и получить мамины деньги. Мама умерла год назад и оставила мне на сберкнижке свой вклад. Что-то около шести тысяч. Деньги эти она собрала за последние лет пятнадцать, пока была на пенсии. Еще года три тому назад это были какие-никакие деньги, «жигуленка» купить было можно. Конечно, если достать. Сберкасса была рядом с домом, где жила мама

и где я родился: угол Поварской (бывшей улицы Воровского) и Трубниковского переулка.

В доме этом прошло детство, школьные и университетские годы. Это был старый многоквартирный доходный дом начала века. Наша квартира была на четвертом этаже и до революции принадлежала чете Гагариных. Мама приехала в Москву, кажется, в двадцать первом году, поступила на биофак Московского университета и получила от РКИ, где работала, комнату. Квартира была тогда уже коммуналкой, в шести комнатах жили шесть семей. Князю Гагарину и его жене оставили десятиметровую комнату при кухне. Раньше в ней жила их прислуга. Мама рассказывала, как учила старую княгиню разжигать буржуйку, заправлять фитиль в керосинку и накачивать примус. У княгини тряслись руки, и она никак не могла сладить с «ежиком». Маме запомнились кисти ее рук, красивые, с длинными пальцами, на которых синим пламенем горели два бриллиантовых кольца. Позже княгиня отдала кольца дворничихе за мешок картошки.

К студентке университета одинокие и несчастные Гагарины прониклись доверием. Когда княгиня узнала, что мама кроме русского знает только идиш, она стала заниматься с ней французским. Занимались на кухне поздно вечером, когда там никого не было. На кухне стояли шесть столов, над которыми висели тазы и корыта. Княжеский стол стоял в самом невыгодном месте, у выхода на черную лестницу, рядом с помойным ведром. Учебника и бумаги не было. Княгиня писала огрызком карандаша на полях «Вестника Европы». Чтобы меньше мерзли руки, она надевала старые длинные, до локтей, бальные перчатки. Когда мама вышла замуж за моего отца и родился я, Гагариных в квартире уже не было. Уехали они или умерли, мама не помнила. Сколько времени продолжались уроки французского, тоже неизвестно. Не думаю, чтобы мама когда-нибудь говорила или читала по-французски.

Напротив нашего дома на Поварской стоят два особняка. Это шведское и немецкое посольства. Помню, как до войны с балкона немецкого свисал страшный черно-красный флаг со свастикой. Рядом с ним, в усадьбе Ростовых, героев «Войны и мира», и поныне размещается централь-

ный дом литераторов. Рядом с усадьбой — старый особняк, нынче тоже отданный писателям. До революции особняком владели Олсуфьевы. В начале восьмидесятых, будучи во Флоренции, я встретил Марию Васильевну Олсуфьеву в гостях у Ани Воронцовой, потомка Пушкина. В этом особняке Мария Васильевна родилась. После революции девочкой вместе с матерью, урожденной Шуваловой, уехала из России и с девяти лет жила в Италии. Стала известным переводчиком русской литературы на итальянский. В хрущевскую оттепель ее начали приглашать в Москву и однажды в ЦДЛ, в старом особняке, она встретила Новый год. Побродив по дому, нашла свою детскую и комнату гувернантки. Прогулялась по Поварской и Молчановке. Вспомнила дома и деревья. Постояла у старой липы на углу Поварской и Малого Ржевского, где жила ее тетка Шувалова. Но в дом зайти не решилась. Там, в тесных коммуналках с высокими лепными потолками и итальянскими окнами, жили чужие люди. После того, как Мария Васильевна перевела на итальянский «Архипелаг Гулаг» Солженицына, в визе ей отказали. Старуха много раз ездила в Рим, в советское посольство, хлопотала, писала в Москву в Союз писателей. Безрезультатно. Так и не увидела больше ни Москвы, ни дома, где прошло детство. А умерла во Флоренции накануне нашей перестройки.

Раньше перед усадьбой Ростовых, в центре двора, стоял странный обелиск. На нем было выбито одно слово: «Мысль». По обе стороны от ворот — службы. Во времена Ростовых там, видимо, были каретный сарай и конюшни. Теперь там — магазины и редакции журналов. В правом флигеле, в лабиринте прокуренных клетушек — редакция «Дружбы народов». Я вспомнил, что там уже давно лежат два моих рассказа. Вот, подумал я, заодно зайду и узнаю.

Я подъехал к Поварской со стороны Садового кольца. Когда-то на Кудринской площади (бывшей Восстания) был круглый сквер. Няня водила меня туда гулять. Однажды, пока она болтала с товарками, а мы, дети, бегали по кругу, я увидел на скамейке забытый кем-то арбуз. Представить себе арбуз без хозяина я не мог. Мне шел пятый год. Обхватив арбуз обеими руками и прижав к животу, я еле дотащил его до нашей скамейки. Хозяин

арбуза (я его почему-то запомнил), человек в косоворотке, перепоясанной кавказским ремешком с серебряной накладкой, прогуливался по кругу, нервно жестикулируя и разговаривая сам с собой. Я еще тогда подумал, что это писатель и он сочиняет. Писатель долго отчитывал меня и няню. Мне было очень стыдно. Видимо, это был первый литературный урок.

На левом углу Поварской (если смотреть со стороны Садового) сохранился одноэтажный каменный лабаз. Когда-то там была керосиновая лавка. Прямо за лабазом — ворота толстовской усадьбы. На месте непонятного памятника «мысли» теперь скульптура Льва Толстого, задумчиво сидящего в кресле с книжкой в руке. А рядом — табличка, сообщающая, что эта скульптура — дар писателей Украины к празднику 300-летия воссоединения Украины с Россией. Я подумал, как быстро меняется все в России, ветшают эпитафии и памятники. Вспомнил, как недавно, гуляя возле Кремля по Александровскому саду, остановился у старой стеллы, окруженной туристами. Когда-то стеллу поставили тоже в честь 300-летия, только дома Романовых. После революции на ней выбили имена социалистов Кампанеллы, Прудона, Сен-Симона, Фурье, Плеханова... Одна из туристок спросила экскурсовода, Не памятник ли это жертвам сталинских репрессий.

Выйдя из редакции, я перешел на правую сторону улицы к Театру киноактера, зданию, построенному в стиле конструктивизма двадцатых годов. Когда-то это был дом политкаторжан. В тридцатых годах, когда страна переполнилась настоящими каторжанами, дом закрыли и открыли кинотеатр. Назывался он «Первый». Меня, мальчишку, знакомая билетерша пускала туда без билета. Новью фильмы тогда шли редко, и я их смотрел на дневных сеансах по многу раз. Например, «Сердца четырех». А Валентину Серову видел однажды в коридоре нашей коммуналки.

В одной из комнат жил с родителями Сережа Яковлев, личный шофер Константина Симонова. Симонов часто появлялся в нашем мрачном коридоре, озарявшемся одинокой лампочкой, свисавшей на шнуре с высокого грязного потолка. Лампочка, телефон на стене и туалет были

рядом. Здесь всегда стояла очередь из жильцов. Утром — в туалет, вечером — к телефону. Как-то днем после школы я долго трепался с приятелем по телефону. Подошел Симонов и ребром ладони провел по горлу. Дескать, до зарезу срочно нужно позвонить. Я тут же повесил трубку. Симонов говорил по телефону, а я нахально стоял и смотрел на него. Кончив говорить, Симонов спросил меня, люблю ли я читать. Я ответил, что люблю Пушкина.

— А наизусть помнишь? Ну прочти что-нибудь.

Я принял позу и стал декламировать «Элегию».

...Шуми, шуми послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Только сказал я про волнение океана, как из бачка с шумом спустили воду и из туалета вышла продавщица Шура. Она жила с дочерью в той самой комнате при кухне, где когда-то жили Гагарины. А работала в винном отделе продмага в нашем же доме. Тут к Симонову подошла Валентина Серова в сером каракулевом манто, давно поджидавшая его в передней. У нее было лицо обиженной девочки: пухлые губы и широко раскрытые и, как мне показалось, заплаканные глаза.

Через много лет я встретил Симонова еще раз. Было это в начале шестидесятых. Меня впервые выпустили в ГДР читать лекции по физике в Магдебурге. От радости я купил билет до Берлина в спальный вагон «СВ». С утра до вечера я не выходил из своего плюшевого купе, сидя на мягком диване и наслаждаясь персональным туалетом. Ночью мне не спалось. Я вышел в коридор и встал у окна. За окном было темно и лишь изредка огни мелькавших станций зажигали на стекле косые полосы дождя. Вагон спал. У соседнего окна стоял седой коротко стриженный мужчина, курил трубку и смотрел в окно. Мне захотелось поговорить и я сказал:

— Что, не спится?

— Да, что-то не спится, — ответил мой сосед, не поворачивая головы. Тогда я сказал:

— Если измерить угол этих капель на стекле и зная скорость поезда, то можно определить скорость падения капель, а значит, и высоту облака над нами.

Незнакомец повернул голову, рассеяно и удивленно посмотрел на меня. Потом спросил:

— Мы знакомы?

Видимо, Симонов это понял по моему лицу. Я ответил, что ребенком видел его на Поварской в квартире, где жил его шофер Сережа. Мы разговорились. Я спросил его, как он в войну написал свое знаменитое стихотворение «Жди меня». Симонов ответил:

— Стихи — тайна. Никакой вашей физикой их не объяснишь. А написал так. Должен был ехать с передовой в штаб армии. Возил меня по фронтовым дорогам молодой парень, очень тосковавший по жене. Пока он был на фронте, жена его сошлась с его же товарищем. Товарищ по броне отсиживался в Москве и так прямо, бессердечно ему обо всем написал. Обыкновенная в ту пору история. Меня случайно задержали дела и в штаб я с ним не поехал. А его убило по дороге прямым попаданием бомбы. И тогда я подумал, что женская верность охраняет солдата от беды.

— Как, Сережа Яковлев погиб?

— Да нет, другой. С Сережей мы расстались еще до войны.

— И еще хочу спросить. Там у вас в стихотворении «желтые дожди». Почему желтые? Это в тропиках они бывают желтые, а в наших краях...

Симонов грустно посмотрел на меня.

— Потому что тоска желтая, а не зеленая... И, знаете, давайте спать, скоро рассвет.

Утром поезд тяжело запыхтел у перрона Восточного вокзала. Симонова встречала толпа, и он скоро растворился в цветах и объятиях. А я пошел в вокзал делать пересадку...

Я дошел до угла Трубниковского и повернул направо. Сберкасса была в доме, который на моих глазах строили после войны пленные немцы. Кассирша, отсчитавшая мне деньги, помнила маму.

— Ну как же, как же, помню ее. Все о вас вздыхала. Говорила, — вот помру, а деньги сыну пригодятся. Хотя, какие это теперь деньги...

Выйдя из сберкассы, я вспомнил, что жена просила заодно купить продукты. И я решил зайти в магазин напротив, в котором когда-то работала Шура. Он тоже тревожил память. Перед войной, году в сороковом, денег у людей не было, а продукты в Москве появились. Я любил смотреть на гастрономический прилавок. Серебристо-серая севрюжья икра в синих металлических банках, кетовая в деревянных кадках, поленья копченых колбас, срезанные под острым углом. Отец после работы приносил мне отсюда пятьдесят грамм зернистой икры, завернутой в пергаментную бумагу, или немного тонко нарезанной ветчины с завитком в центре ломтика и нежным жирком по краям. В июне сорок первого года, когда началась война, магазин опустел. За прилавком остались только айсберги из крабовых консервов. Крабы тогда еще не распробовали. А в войну в длинной очереди мы отоваривали здесь карточки: яичный порошок, сало лярд и джем вместо сахара. Теперь, когда деньги стали зелеными, магазин снова наполнился. Я купил все, что велела жена: сыру, сосисок, пастилы, каких-то консервов. А когда заглянул в кошелек, увидел, что денег почти не осталось. За пять минут я промотал мамино наследство, все, что она сберегла за пятнадцать лет. Помню у Чехова в «Вишневом саде» Гаев вздыхал, что промотал состояние на леденцах. Так ведь он их сосал всю жизнь. А тут за пять минут... Шуры в магазине уже не было. Я как-то случайно встретил ее в конце шестидесятых в винном магазине у Аэропорта. Магазин битком был набит, очередь вылезла на улицу. Давали водку. Шура располнела и покрепчала. Сильными руками она ворочала гроздьями тары, швыряя сдачу на прилавок и отпихивая наседавших мужиков. Под мохеровой кофточкой ходуном ходили толстые груди.

— Куда лезешь, пьянь, не нажрался еще? А я говорю: клади ее в зад. Бутылок этих не принимаем.

Я спешил в гости, надо было купить бутылку коньяка. Шура узнала меня, и лицо у нее разошлось в улыбке. Очередь загудела. Какой-то инвалид, опершись на два костыля, нервно и мелко затрясся:

— Ты, лядь, куда без очереди? Ты кто, Брежнев?

— А ты, пьяная рожа, не видишь? Гражданин коньяк берет.

Коньяк полагался без очереди. А поговорить с Шурой не пришлось...

Обогнув дом, я вышел на Поварскую и зашел в наш подъезд. Узнал выщербленные ступеньки. Раньше здесь пахло кошками, сейчас — кожей. В квартире первого этажа продавали дубленки, и их дух, сырой и тяжелый, перебивал все запахи старого дома. А слева, как и раньше, — почтовое отделение. Теперь здесь еще и обменный пункт. На дверях нарисован доллар. Мне захотелось подняться и посмотреть на лестничную площадку, но на закрытой двери висел домофон. Я зашел на почту и присел отдохнуть.

Подумать только. Когда-то вот по этим ступенькам поднимался отец. Рабфак и полиграфический институт он окончил перед самой войной. Жили мы в узкой, как школьный пенал, комнате. Мама с отцом спали на металлической кровати с четырьмя шарами по углам. Кровать стояла у самой двери в общий коридор. А я спал на пружинном диване, ближе к окну. Посреди комнаты стоял стол. На нем отец чертил свой дипломный проект, а я готовил уроки. На нем же обедали. В углу стояла этажерка с книгами. Над нею — черная тарелка репродуктора. С отцом мы крепко дружили. Вместе собирали почтовые марки. По воскресеньям отправлялись на Кузнецкий мост и в подворотне у марочного магазина покупали и обменивали марки. В подворотне стояли бородатые неопрятно одетые люди с класкерами за пазухой. Денег у отца не было. Однажды, чтобы купить какую-то дорогую серию, отец заложил в ломбард бабушкины золотые часы. А маме мы об этом не сказали. После Кузнецкого мы отправлялись к Никитским воротам в знаменитую шашлычную. Ее божественный аромат оведал всю округу, от аптеки у Суворовского бульвара до консерватории. Отец заказывал мне порцию икры и шашлык по-карски, а себе что-нибудь подешевле. Я уплетал за обе щеки, а отец грустно и ласково смотрел на меня. Мама в этот день занималась хозяйством. Убиралась в комнате, ошпаривала кипятком из чайника кровать: вываривала клопов. Коммуналка ки-

шела клопами, и это паллиативное средство она употребляла каждый месяц. Когда мы возвращались домой, обед уже стоял на столе. Мама разливала янтарный бульон, раскладывала по тарелкам румяные пироги.

— Ты почему не ешь? — спрашивала меня мама и сурово смотрела на отца. Она или знала или догадывалась. Но мы были верны мужской дружбе и молчали.

Отец был шутник, охоч до розыгрышей. Мама рассказывала, как однажды к ним приехала из Гомеля погостить ее сестра Зина. Мама достала билет в Большой на «Лебединое озеро», а Зине хотелось непременно в оперу. Отец убедил ее, сказав, что принца танцует Троцкий. Вернувшись домой, разгневанная Зина обрушилась на отца. «Как, — удивленно спросил отец, — ты не заметила, что принц был в пенсне?»

В предвоенные годы родители плохо спали. Людей по ночам брали из соседних квартир. С нами через стену жил тихий человек, некто Сененков, с женой и глухонемой дочерью Олей, моей ровесницей. Ходил он в неизменной толстовке, матерчатой кепке с длинным козырьком и с парусиновым портфелем. Говорили — служил бухгалтером. Однажды ночью я проснулся и услышал за стеной незнакомые голоса. У Сененковых шел обыск. Мать в ночной рубашке прижалась к двери и слушала, а отец, одевшись, вышел в коридор. Всю ночь мы не спали, а под утро я услышал страшный вой Оли. Говорить она не могла, только мычала. Когда Сененкова уводили, Олю, намертво вцепившуюся в отца, волокли по всему коридору. У парадной двери дворничиха, понятая, отпихнула ее сапогом, и та осталась лежать в передней, перед комнатой Яковлевых. Ее подняли и унесли в комнату отец и Артур Исаакович, управдом, рыжий толстяк, прозванный «пончиком». Я всегда удивлялся, откуда у него такое звучное имя.

До войны я не имел понятия о своей национальности. Кажется, вообще не знал, что это такое. Когда мне приходилось слышать «еврей», смысл этого слова как бы не доходил до меня. Мама с отцом говорили по-русски. В школе, она была на Садовой, напротив нынешнего американского посольства, все мы были просто Вовы, Юры,

Кирюши, носили красные галстуки и обещания давали «под салютом всех вождей». На этажерке для книг стоял мой любимый Пушкин, однотомник юбилейного тридцать седьмого года. В предисловии говорилось, что Пушкин воспевал дружбу народов, вместе с декабристами призывал к революции и боролся с эксплуатацией трудового народа. А пал жертвой царя и его охраны. В «Первом» шел фильм «Профессор Мамлок», и я смотрел его несколько раз, хоть смотреть было страшно. Опытного хирурга и патриота люди со свастикой на рукаве изгнали из собственной клиники только за то, что он еврей. Но это было далеко, в другом мире, где-то в Германии. Однажды я слышал, как Сененков говорил в коридоре со старым Яковлевым, отцом Сережи. Старик Яковлев носил потертый, но выглаженный костюм из черного бостонского сукна, очки в золотой оправе и часы с цепочкой в жилетном кармане. Был причесан на пробор, «взаймы», через лысину. По коридору ходил бесшумно, пригнувшись, держа голову набок. Улыбка у него была сладко-приторная, может быть, из-за золотых зубов. Я как-то вспомнил его много лет спустя, когда смотрел пьесу Сухово-Кобылина «Дело». Сененков о чем-то спросил его и старик ответил:

— А вы спросите у пончика, управдома нашего... Он еврейчик, но, вы знаете, очень толковый.

Все изменилось в войну. В конце лета сорок первого года меня и маму эвакуировали в Чкалов. Так назывался тогда Оренбург. Отец был директором фабрики, печатавшей листовки для немецких солдат, и в чине подполковника мотался между Москвой и фронтом. Мы жили у хозяев на Степной улице. Вдоль улицы стояли крепкие деревянные дома на кирпичном фундаменте и высокие, сколоченные из досок, заборы. За забором бегали и звенели цепью собаки. На задворках в сараях откармливали свиней. Все дома были с крыльцом. По вечерам на крыльце сидели хозяева и грызли подсолнухи, провожая редких прохожих долгим хмурым взглядом. Ветер гнал вдоль улицы песок и сгребал у заборов кучи из подсолнушной шелухи. Настоящего голода не было. Картошки и сырой тяжелой чернухи хватало. Раз в неделю мама приносила мне с

работы, из госпиталя, большой кусок синего колотого сахара. А на рынке за шерстяной отрез давали большой кусок сала. В Чкалове я пошел в пятый класс. Однажды, когда я возвращался из школы, на меня набросилась стая пацанов, сидевших на крыльце: «Жид, жид! Бей жида!» Били в кровь. Я защищался, но их было много. Однажды мне проломили голову, и мама забрала меня из школы. Тогда смысл этого слова дошел до меня, и мне казалось, что я попал в чужую, незнакомую мне страну.

В ночь на первое января сорок третьего года мы вернулись в наш дом на Поварской. Улица была темной. Голые липы росли из сугробов. Неубранный снег хрустел под ногами. Ранние, закутанные до глаз прохожие брели с поклажей на санках. Слепые окна домов были в белых бумажных переплетах. Так как отец подолгу был на фронте, многое у нас в комнате пропало. Особенно я сокрушался об этажерке с книгами и юбилейном однотомнике Пушкина. В канун дня смерти Ленина приехал с фронта отец. Я прижался к нему и не узнал его. Шинель пахла морозом, табаком и чем-то горьким, вроде дыма. А от отца несло водкой. И я понял, что детство ушло навсегда. Той же ночью с отцом случился сердечный приступ. Меня разбудил крик мамы. Неотложка не приезжала. Мама бросилась со всех ног в поликлинику на Собачьей площадке. А меня увели к Яковлевым. Утром старуха Яковлева одела меня и проводила в школу. На улице колючий ветер полоскал траурные флаги, и я не знал, что отец умер...

После смерти отца пришла нужда. Шла война. Зарплаты матери едва хватало, чтобы выкупить по карточкам сырой черный хлеб (пятьсот граммов в день на двоих), яичный порошок, повидло и сало лярд. В школе давали завтрак: бублик и ириску. Голода не было, но есть хотелось всегда, и днем и ночью. В конце войны в Москве открыли коммерческие магазины, и люди ходили туда, как в музей: посмотреть. Экспонатами были батареи колбас, жернова сыров, пирамиды консервов, россыпь пирожных. Волнами накатывал забытый тревожный запах молотого кофе и свежее испеченной сдобы. В коммерческих магазинах продукты назывались по-довоенному: разноцветные леденцы

— ландринном (по имени дореволюционной фабрики), шоколадные конфеты с тертым орехом — американским орехом, белые булки — французскими, ароматная сырокопченая колбаса с чесноком — еврейской. После войны, когда началась компания против космополитизма, продукты переименовали. Американский орех почему-то назвали южным, французские булки — городскими, а от еврейской колбасы и духа не осталось (как в прямом, так и в переносном смысле слова).

Самым большим коммерческим магазином был Елисеевский. Очередь собиралась туда с самого утра и вытягивалась вдоль всего Козицкого переулка. Однажды, выстояв в этой очереди несколько часов, я попал в сверкающий зал с огромной нарядной люстрой. Отвыкнув за годы войны не только от пищи, но и от яркого света, я целый час, как зачарованный, бродил вдоль витрин. Особенно мучительно было смотреть на эклеры с заварным кремом, обсыпанные кондитерской крошкой.

В ту зиму кто-то из класса пошел приглашать Вертинского на концерт в нашу школу. Вертинский жил в доме с окнами, выходившими на Елисеевский. Застенчиво спросив про гонорар, знаменитый шансонье подошел к окну и со вздохом сказал: «Не знаю, как вы, но я покупаю продукты здесь». Кроме Вертинского в Москве было немало людей, ходивших в Елисеевский не только на экскурсию. К их числу принадлежал дядя Соломон, брат мамы. У дяди Соломона не было ни образования, ни общественного положения. Он был директором промтоварного магазина и вел тайную коммерческую жизнь. Тогда это еще не называлось бизнесом. Коммерция не мешала дяде любить литературу. Он мог на память цитировать Чехова и целые страницы про Аксинью из «Тихого Дона». А я уже тогда марал бумагу. Среди прочего писал шуточные стихи про родственников и знакомых. По счастью, дяди Соломона среди моих героев не было.

Однажды зимою мама послала меня к нему по какому-то делу. Ехать надо было в Перово. Это был тогда город. Проходя в дядин кабинет, я удивился. Магазин был совершенно пуст. На полках под портретами Ленина и Сталина

лежали какие-то страшные тряпичные зайцы и соломенные шляпы. За прилавком скучали две продавщицы. Рассказывали, что когда выбрасывали тюль или тенниски, очередь растягивалась до самой станции. Но сам я этого не видел. В кабинете дяди я застал общественность города: милиционера, даму из горсовета, еще одну даму из горторга и дядино коллегу, директора соседнего магазина, человека с огромным животом и плотоядными губами. Общественность выпивала и закусывала. На разостланной на письменном столе газете «Правда» лежали крупные ломти жирной селедки, колбасы и белого хлеба. Там же стояла початая бутылка водки. Пустая бутылка притаилась на полу, у дядино кресла. Пока я судорожно заглатывал бутерброд, дядя представил меня городской обществу: «Племянник мой. Стихи пишет». Потом мне: «Ну, прочти, повесели народ». Я читал с вдохновением: на столе еще оставались колбаса и хлеб. Народ смеялся. У плотоядного мелко трясся живот. Милиционер чуть не падал со стула и только повторял: «Ну надо же... чистый Райкин... талант!»

Насытившись, в том числе духовной пищей, гости разошлись. Дядя Соломон выдвинул ящик письменного стола. Он был полон мятыми купюрами. Они лежали там плотным настом, как прелые листья в осеннем лесу. Послюнявив пальцы, дядя вынул из ящика пять сотенных бумажек. Потом, оторвав от промасленной газеты угол, завернул в него деньги. Строго посмотрен на меня и сказал: «Отдашь матери». Помолчал и добавил: «А это тебе... гонорар». Дядя вынул из ящика еще две сотни, но заворачивать их не стал.

Выйдя в синие сумерки на мороз, я уже знал свой маршрут. На электричке до Казанского, а оттуда на метро до Театральной. Елисеевский был открыт допоздна. В поезде я часто доставал из кармана и разглядывал две мятые бумажки. Почему говорят, что деньги не пахнут? Мои деньги пахли селедкой.

Что купить на двести рублей? Об этом я думал все два часа, что простоял на морозе в очереди. Когда, окоченевший, я попал в зал, план действий был готов. Сперва

купил за пятьдесят рублей эклер. Откусывал медленно и смотрел на витрины. На этот раз смотреть было приятно. Жирный ароматный крем медленно расползлся по замерзшему телу. Потом съел французскую булку и пятьдесят граммов любительской колбасы. Оставалось еще тридцать рублей, и я решил купить на них пятьдесят граммов ландрина. Принести домой и подарить маме. Я шел по темному Тверскому бульвару, от Пушкина к Тимирязеву. Снег скрипел под ногами. Пар изо рта столбом поднимался вверх, к колючим звездам. Под фонарем у памятника Пушкину я съел первый леденец. Пушкин, наклонив курчавую голову, с сожалением смотрел на меня. Пройдя бульвар, я даже не взглянул на Тимирязева. Мне было стыдно: от кулька с ландрином осталось меньше половины. Помню, что последний леденец я съел на родной улице у дома Шуваловой.

Я часто вспоминаю свой первый литературный гонорар и дядю Соломона. Утешает, что у великого Гейне тоже был богатый дядя Соломон, который поддерживал его. Правда, Соломон Гейне был побогаче, а стихи у Генриха Гейне — получше...

Я вышел из родного подъезда, едва не забыв на почте сумку с продуктами. Повернул направо. Поравнялся с Институтом мировой литературы и памятником Горькому. В этом доме я был два раза. До войны — в комнатах музея Горького. Там меня потряс один экспонат. Это был портсигар, спасший молодому Горькому жизнь, когда кто-то ударил его ножом. Во второй раз — совсем недавно, года три назад, и тоже испытал потрясение. Я был приглашен на Пушкинскую комиссию с докладом о найденном в Париже дневнике Каролины Собаньской. Пушкин был страстно влюблен в нее. Он посвятил ей в 1830 году одно из самых пламенных и печальных своих стихотворений «Что в имени тебе моем...» Два письма Пушкина к Собаньской дошли до нас в черновиках, но все еще хранили тайну их отношений. Неожиданно на многие вопросы я нашел ответ в ее записках. Главное, однако, было не в этом. Судьба этой женщины была удивительно современной. Собаньская была сексотом. Жизнь свела ее с четырьмя великими

современниками: Пушкиным, Мицкевичем, Бальзаком и Шопеном. И ни один из них не знал, что она пишет платные доносы в Третье отделение, следит за инакомыслящими, выдает польских революционеров. И я рассказал о ее жизни так, как будто речь шла о современном литераторе, состоящем на службе в бывшем доме Ростовых. На комиссии сидели какие-то суровые молодые люди с внешностью семинаристов. После моего доклада один из них сказал так:

— Я понял, что вы осуждаете Собаньскую. А зря. Она боролась с восставшими поляками и неблагонадежными инородцами. А значит, укрепляла русскую государственность. Если бы Пушкин знал об этом, он наверняка одобрил ее деятельность.

В первый момент от неожиданности я растерялся. А потом сказал члену Пушкинской комиссии, что Пушкин презирал стукачей и тайных полицейских. И напомнил об эпиграмме Пушкина на Фаддея Булгарина. Когда я вышел на свежий воздух под липы на Поварскую, я вспомнил о предисловии к пропавшему однотомнику Пушкина издания тридцать седьмого года. И подумал, что каждое время хочет заставить Пушкина служить себе. А Пушкин служить не любил...

За Институтом мировой литературы я остановился у дома архитектуры двадцатых годов. Годовалого, меня привели в этот дом учить немецкий язык. В то время в Москве еще сохранялись частные детские сады. В доме жили две молодые немки, сестры-близнецы. Помню, одну звали Инга, другую Шарлотта. Они были так похожи, что я долго не отличал одну от другой. Жили они в отдельной трехкомнатной квартире, что по тем временам было редкостью. Их отец, видный немецкий коммунист, был еще и знаменитым хирургом. Отец вовремя умер в конце двадцатых. Его портрет висел в гостиной, где мы занимались. Утром мама отводила меня к сестрам, а возвращаясь с работы, забирала домой. В группе было пять или шесть детей из соседних домов, и я был самым младшим. Учили нас сурово. Говорить по-русски запрещалось. За это ставили в угол лицом к стене. Мама рассказывала, что по-немецки я начал гово-

рять раньше, чем по-русски. И что латинские буквы выучил раньше русских. Сестры водили нас гулять. Мы шли парами по Поварской мимо моего дома к площади Восстания и гуляли там в сквере. После прогулки нас кормили обедом. И весь день Инга и Шарлотта говорили с нами по-немецки. Через три-четыре года я болтал по-немецки свободно. Кажется, первой моей немецкой книжкой были сказки братьев Гримм. Сестры давали книжки на дом, а утром проверяли задание. Потом сестры куда-то исчезли. Сколько лет я ходил в группу, не помню.

В школе в те годы иностранный язык начинали изучать в пятом классе. Впрочем, «изучать» не то слово. После школы никто иностранным языком не владел. Думаю, не случайно. Свободное владение языком вызывало подозрение. Со мной было иначе. В пятом классе немецкий язык вела девушка, только что кончившая ленинградский институт и, как мы, эвакуированная в Оренбург. Шла война. На стене класса висел плакат: «Убей немца». Учительница долго не спрашивала меня, но в конце первой четверти вызвала отвечать урок. Я не успел сказать по-немецки пары слов, как она с испугом спросила меня:

— Прости... ты кто, немец?

Весь класс уставился на меня.

Я ответил: «Нет, я — русский», — и густо покраснел. Ведь там, в Оренбурге, я, наконец, понял, кто я такой...

Много лет спустя я приехал в ФРГ в командировку. Зашел в Мюнхене в кафе и сел у окна на диванчик. К столу под села старая женщина. Поставила перед собой фарфоровый кофейник и блюдо с яблочным пирогом. Это была Инга. Меня она не узнала. Тогда я представился и напомнил о доме на Поварской и уроках немецкого. У нее задрожали руки, и она уронила чашку с горячим кофе. Потом мы долго сидели рядом. Инга обнимала меня и целовала солеными от слез губами.

— Ты стал хорошо говорить по-немецки. Ты часто здесь бываешь? Сколько тебе сейчас? Пятьдесят? Боже мой, мы не виделись сорок пять лет.

В тридцать седьмом сестер арестовали и выслали в лагерь под Воркуту. Им было тогда по двадцать семь лет.

В лагере офицер охраны, заметив Шарлотту, увел ее к себе в барак, покормил, напоил водкой и изнасиловал. Потом он изнасиловал Ингу. Вскоре Шарлотта серьезно заболела. Неизвестно, что это было. Возможно, рак. Инга умоляла офицера оставить Шарлотту в покое. «Какая вам разница, — говорила Инга, — нас ведь не отличить. Разве что родинка. У меня она на спине под левой лопаткой, а у Шарлотты под правой». Потом Шарлотта умерла. После войны Ингу отправили на поселение в Казахстан. Там она встретила пожилого поволжского немца и вышла замуж. Пару лет назад ее вместе с мужем, дочерью и внуком выпустили в Германию.

— Моему внуку пять лет. Столько же было и тебе, когда мама забрала тебя из группы.

— Инга, вы помните мою маму?

— Ну как же... Она хотела, чтобы мы занимались с тобой еще и английским. Но у нас не было времени, и английский ты, видимо, выучил уже без нас... Кстати, почему бы тебе не зайти в Москве в нашу квартиру? Там на кухне, под антресолями, мы делали зарубки, измеряли ваш рост.

Вернувшись из Германии в Москву, я зашел в этот дом. Квартира стала коммуналкой: на двери висели три почтовых ящика. Меня впустили, но квартиру я не узнал и зарубок на кухне не нашел. Потом сообразил, что в квартире делали ремонт, возможно, не раз. И еще подумал, что сердечная память самая надежная...

Я шел по Поварской к Арбатской площади. Позади остались Гнесинское училище, здание бывшего Венгерского посольства, Борисоглебский переулок и дом Шуваловой. А вот и малый Ржевский. В этот переулок я когда-то сворачивал по пути в университет. Шел по улице Герцена, проходил магазин «Консервы», памятник Тимирязеву на Тверском, консерваторию. У консерваторского двора часто останавливался. Во втором этаже правого флигеля жил в те годы мой школьный товарищ Валя Смилга. После школы мы вместе пришли в университет в сорок седьмом году. Я поступил на физический факультет, а Валя — на физтех. Этот новый факультет был создан в том же году

для подготовки специалистов в области ядерной физики и атомного оружия. На него принимали особо одаренных молодых людей с подходящей анкетой. Впрочем, о том, что такое подходящая анкета тогда, в сорок седьмом, мы понятия еще не имели. Валя был талантливый сибарит. Теплым утром он сидел у открытого окна и дышал весенним консерваторским воздухом.

— Ты куда идешь? — спрашивал Валя.

— Как куда? На физфак.

— Да не ходи ты туда. Ничему хорошему там тебя не научат. Поднимайся ко мне. Расскажу про парадокс Эйнштейна — Подольского-Розена. Или сгоняем в шахматы.

Как молодой физтеховец, Валя любил пофорсить. На самом деле физфак давал хорошие знания. Но учиться пришлось в конце сороковых — начале пятидесятых, и в борьбе с безродным космополитизмом физфак был застрельщиком. Кафедрой магнетизма заведовал Аркадий Клементьевич Тимирязев, сын великого физиолога растений. Студенты прозвали его сыном памятника. Говорят, природа на детях отдыхает. Сын памятника все эти годы отдал неравной борьбе со специальной теорией относительности Эйнштейна. Устраивались заседания по разоблачению идеализма в физике. Идеалистами были Хайкин, Ландсберг, Манделъштам... Академики Ландсберг и Манделъштам прославили отечественную физику, открыв комбинационное рассеяние света в кристаллах. Только случайно Нобелевская премия досталась не им, а Раману. Я хотел попасть на отделение атомной физики, но туда меня не взяли. В общем, там, на физфаке, я, наконец, понял, что такое подходящая анкета. Конечно, и тогда на физфаке были честные и талантливые люди, вроде будущего ректора Рема Хохлова. Но не они делали погоду.

В конце концов я попал на отделение радиофизики и делал диплом на кафедре профессора Николая Александровича Капцова. Это был колоритный старик. Застенчивый, нелюдимый и угрюмый. Когда говорил, смотрел не в глаза, а в сторону. А говорил громким трубным голосом, потому что был глух. Из носа у него постоянно текло. Сначала появлялась капля. Она росла, развивалась и,

когда готова была, преодолев поверхностное натяжение, упасть, Николай Александрович быстро снимал ее платком. Я запомнил его руку, державшую платок. Большую, сильную, в рыжеватых волосках с массивным золотым кольцом на безымянном пальце. Был он учеником великого русского физика Петра Николаевича Лебедева и блестящим экспериментатором. Принадлежал поколению, испуганному на всю жизнь. Говорили, что его отца, талантливого изобретателя и владельца электролампового завода, в революцию расстреляли, и он испытал много горя. Кафедра была патриархальной. Капцов приходил на нее зимой в огромных подшитых валенках. Потом валенки сушились на батарее. Однажды профессор должен был идти в ректорат, а валенки исчезли. Переполох был ужасный, искали всей кафедрой. Оказалось, молодой аспирант подложил валенки под манометр. Профессор был сердит, и его граммофонное ворчанье еще долго слышалось с лестницы. Нам, студентам, Капцов читал спецкурс в малой физической аудитории. Настенные часы там почему-то всегда стояли. А нам хотелось узнать, сколько времени осталось до конца лекции. И мы изобрели песочные часы. Часами был сам лектор. За академический час на его носу созревало от десяти до двенадцати капель. «Сколько? — спрашивал я соседа. — «Десять» — отвечал он. Это значило, что скоро прозвенит звонок и можно складывать портфель. Моя работа шла удачно. Один семестр на третьем курсе я даже получал стипендию Манделъштама. Потом эту стипендию отменили.

В тот самый семестр со мной случилось странное происшествие. На факультете была военная кафедра. Из нас готовили связистов, офицеров запаса. Занятия были по четвергам. В один из четвергов появился новый преподаватель, некто полковник Николаев. Был он приземистый, грузный и очень важный. В досиня бритом мясистом лице было что-то бульдожье. Входя в класс, он провозглашал отрывисто и громко:

— Здравствуйтесь, товарищи студенты!

А мы, стоя навытяжку, отвечали хором:

— Здравия желаем, товарищ полковник!

Все как положено, и все бы ничего, только наш хор полковника не устраивал. Он требовал большей слаженности и заставлял повторять приветствие по многу раз. Ребята веселились. Как-то на перемене я опасно пошутил. Сказал, что берусь пролаять во время приветствия. И это, видимо, будет то, что нужно полковнику. Ребята меня подначили. Сказали: слабо, кишка тонка. Делать было нечего. Пospорили на шесть бутылок шампанского. Мой стол стоял у входа в класс, напротив двери. В очередной четверг в проеме двери появился Николаев и, как обычно, отрывисто и сурово произнес приветствие. Класс начал дружно отвечать, а я в такт лаять. После слова «здравия» ребята замолчали, и я стал лаять полковнику в лицо. Как это было, я не помню. Ребята рассказывали, что мы стояли навтыяжку и ели друг друга глазами. И что от страха я долго не мог остановиться. Потом будто бы взвыл и замолчал.

Полковник оцепенел от ужаса, и мы долго стояли по стойке «смирно». Придя в себя, Николаев подошел к столу. За столом он долго и сосредоточенно писал в классном журнале. Запись оказалась лаконичной: такого-то числа на уроке радиосвязи студент Фридкин лаял на преподавателя. В следующий четверг дежурный объявил, что меня вызывает начальник кафедры. Им был генерал-майор Артемьев, старый кадровый культурный офицер. Как тогда говорили, «из бывших». На лекциях генерал любил вспомнить старину, подпустить словечко по-французски. Вхожу в его кабинет, докладываю, как положено. Смотрю, генерал слегка отодвигается. Потом, обшарив меня глазами, рукой предлагает сесть. Сейчас не помню в подробностях, что он тогда говорил. Смысл речи сводился примерно к следующему. Итак, лаял... Дескать, всякое бывает. Но на кого лаял? На полковника, начальника цикла связи! Позже распространился слух, что я будто бы ответил, что был нездоров. Это неправда. Я чистосердечно просил прощения и обещал впредь ничего подобного больше не делать. Генерал отпустил меня с миром. История эта получила широкую огласку. А время было глухое. Я ожидал исключения. Но обошлось. А стипендию Мандельштама тогда же

и отменили. Потому что Мандельштам был безродным космополитом.

Шесть бутылок шампанского ребята выставили. И мы распили их вместе «под шарами». Так мы называли ресторан в соседней гостиной «Националь».

В декабре пятьдесят второго я с отличием окончил физфак. Но работы не получил. Дело было так. В то время на работу распределяли. Первую скрипку здесь, как и во всем, играл замдекана Федор Андреевич Королев. Он был хозяином на факультете и проводил на нем политику партии и правительства. У него были какие-то сонные, подслеповатые глаза. На низкий плоский лоб спал кривой чуб, как у известного диктатора. А говорил тихим, убийственно спокойным голосом. Факультет называли «Королевство». Студентов по одному вызывали к нему в кабинет. Кабинет был полон, яблоку негде упасть: представители министерств, Академии наук, институтов. Студент стоял, а представители громко и яростно отбивали его друг у друга. Военно-промышленный комплекс нуждался в физиках и спрос превышал предложения. Мы все толпились перед кабинетом, ожидая очередного вызова, пока из дверей не выходил один из наших с растерянным и радостным лицом: «Меня в аспирантуру...»

Наконец, вызвали меня. В мертвой тишине Королев эпически спокойно зачитал мою неподходящую анкету. Наступило тягостное молчание. «Ты выйди пока», — сказал замдекана. Когда меня впустили снова, он объявил, что я поступаю в распоряжение Министерства промышленности средств связи и должен явиться 15 января к Валентину Иосифовичу Копылову, кадровику. Имя и дату я запомнил на всю жизнь. За два дня до назначенного срока газеты опубликовали сообщение об аресте врачей, «убийц в белых халатах». Выдающихся профессоров-медиков арестовали давно, и об этом все знали. С одним из них, Борисом Борисовичем Коганом, мама работала в Яузской клинике. Маму уже с полгода как выгнали с работы, и мы жили на мою стипендию. В указанный день я явился в Министерство и предстал перед лысоватым молодым человеком, сидевшим в отдельном кабинете за

огромным столом с телефоном и бумажными папками. На стене над Копыловым висел большой портрет товарища Сталина. Я представился.

— Знаю, помню, — сказал Валентин Иосифович, и в глазах его появилось лукавое выражение. Потом лицо его как-то сразу посерьезнело, и он сказал:

— Значит, так. Выйдешь от меня, повернешь направо. Там лестница. Спустишься по ней на два этажа и дойдешь до середины коридора.

Тут он сделал паузу. Я спросил:

— А к кому там обратиться?

— Там увидишь другую лестницу. Иди по ней до конца вниз и сразу в вестибюль.

— А потом?

— Потом? Потом иди домой,

Дальше была немая сцена. Я уставился на него и тут только заметил, что в глазах у Валентина Иосифовича появился туман.

— Ты что, русского языка не понимаешь? Иди домой. Перемелется — мука будет.

Он был удивительно догадлив, этот кадровик. За сорок лет все и перемололось.

Я вернулся на Поварскую, и мама сказала:

— Вот видишь, на таком месте, а человек хороший. Ведь он запросто мог услатить тебя туда, куда Макар телят не гонял.

Когда началась перестройка, я часто вспоминал этого футуролога из министерства.

Когда меня, наконец, взяли на работу, молодым сотрудником я сделал первый советский ксерокс. Было это в пятьдесят четвертом году. Сейчас ксероксы стоят повсюду, а тогда об этом новом фотографическом процессе, открытом в 1938 году американцем Честером Карлсоном, у нас даже не слышали. В основу моего прибора был положен новый метод ксерографии, и впоследствии Карлсон приезжал из США в мой институт, чтобы с этим методом познакомиться. В начале шестидесятых я занялся другой тематикой. Ксерокс поставили в дальний угол комнаты. Интересы для меня он уже не представлял, и им иногда пользова-

лись, чтобы снять копию какой-нибудь научной статьи: ксероксов тогда у нас не было. Однажды ко мне пришли из дирекции и потребовали разобрать ксерокс на части. В то время борьба с самиздатом была в самом разгаре, и ксерокс был опасен. Все усилия спасти прибор оказались тщетны. Ксерокс уничтожили. Но одна важная деталь долго сохранялась в институте. А именно, селеновая пластина с зеркальной поверхностью. Ее повесили в туалете вместо зеркала. Мыла и туалетной бумаги там не было никогда. А вот зеркало появилось. Так, в туалете, бесславно закончилась история первого отечественного ксерокса.

Кстати, о туалете. Он оставался всегда грязным, а в конце рабочего дня войти в него было просто нельзя. Еще в школе Валя Смилга, наш лучший математик, объяснил это методом последовательных приближений. Представьте, что утром в чистый туалет приходит ученик в калошах и оставляет на полу около писсуара несколько капель. За ним входит ученик без калош, близко не подходит, и лужа растет. И, наконец, приходит ученик в валенках...

За работы по ксерографии Американское фотографическое общество наградило меня медалью. За ней я должен был ехать в США. Перестройка была в самом начале, и для загранпоездки еще полагалось сдавать уйму бумаг. Среди них — характеристику из партийного бюро. В нашем институте партийное бюро размещалось в специальной комнате на пятом этаже. Перед ней всегда маялись сотрудники в ожидании вызова. Наконец, назвали мое имя. В пустой комнате за пыльными столами сидело несколько членов партбюро. Я узнал двух слесарей из мастерских и лаборанта, молодого парня в синем рабочем халате и синих джинсах. Возглавляла комиссию строгая дама в очках с сухим, нервным, как будто обиженным лицом и поджатыми губами. Лаборант в синем тихо говорил по телефону. Видимо, уже давно.

— А она чиво? А он? Не слабо. Прямо так и сказал? Ну, отвязный мужик...

Дама зачитала мою характеристику. Потом сказала:

— Ну что ж, мы знаем профессора Фридкина. Какие у товарищей будут вопросы?

Вопросов у товарищей не было. Синий, лаборант, продолжал гудеть вполголоса:

— А он чиво? А она? Ну да? Не хило. И сам тачку пригнал?...

— Нет вопросов? — продолжала дама в очках — тогда я спрошу. Вот вы впервые едете в США. Скажите, что вы ответите там на вопрос, есть ли у нас антисемитизм?

— Ну, меня часто об этом спрашивают за границей...

Я тянул время, лихорадочно соображая, что бы сказать.

— И что же вы отвечаете? — строго спросила дама.

— Что он есть, — выдохнул я.

От страха в животе у меня что-то оторвалось и забурчало.

— То есть как?

Дама окаменела. Глаза ее стали, как сверла. Поджатые губы вытянулись в нитку. Все смотрели на меня. Парень в синем сказал в трубку:

— Слышь, подожди, здесь интересно.

И положил трубку на стол. Тем временем я наметил линию обороны.

— А что здесь особенного? У нас, к сожалению, еще есть все виды преступлений: убийства, изнасилования, грабежи. Есть и антисемитизм...

— Ну, а сионизм у нас есть? — злорадно спросила дама, и стекла ее очков раскалились.

— Думаю, что есть. У нас все есть, как в Греции, — трусливо пытался я отшутиться. — О сионизме я в газетах читал.

И осторожно добавил:

— Хотя сам с ним лично не сталкивался.

— Больше вопросов нет? Вы свободны. Вызовите следующего, — сказала дама, обращаясь к кому-то из членов.

Когда я выходил, в спину мне неслось бормотание синего лаборанта:

— У него что, башню снесло? А она чиво? А он? Вот это прикол...

Характеристику мне выдали. Я понял, что система перемалывается. И что мука будет скоро.

Перед поездкой был инструктаж. Сотрудник президиума Академии наук сказал:

— Учтите, в США серьезная криминогенная обстановка. Грабят и убивают. Сами понимаете: оплот империализма. Недавно академика Севостьянова ограбили. В лифте негр приставил нож к горлу и отобрал все деньги и паспорт. Поэтому есть указание держать тут, в нагрудном кармашке для платка, бумажку в двадцать долларов.

И сотрудник приложил руку к сердцу, показав, где должны лежать деньги.

— А почему именно тут? — спросил я. Почему не в брюках или боковом кармане пиджака?

— Подумают, что лезете за оружием. А здесь безопасно. В случае нападения двумя пальцами вытащите банкноту. Дескать, на, и отвяжись... Вот такое указание.

— А двадцать долларов — не мало?

— Ну, а это уж как хотите.

Перед самым отъездом я вспомнил об указании и засунул пятьдесят долларов поглубже в нагрудный кармашек. В Рочестер я прилетел днем, а медаль должны были вручать тем же вечером. В гостинице я принял душ, побрился, надел чистую рубашку и нацепил галстук. А взглянуть в зеркало не успел. Меня доставили к какому-то ресторану на берегу озера Онтарио. На подстриженном изумрудном газоне стояли столики с белоснежными скатертями и цветами. В отдалении официанты суетились у буфетного стола, откупоривали бутылки. Две телекамеры должны были запечатлеть и передать торжественный момент. Мужчины были в темных клубных пиджаках, дамы в длинных открытых платьях. Саму процедуру мне объяснили еще в гостинице. Я должен подойти к столу, взять из рук президента Общества медаль, поблагодарить и сказать несколько слов о научном сотрудничестве. Когда я приблизился, президент Пол Гилмэн сделал страшные глаза. В толпе гостей произошло непонятное волнение. Гилмэн молча вращал глазами, я ничего не понимал. Это длилось долго. Наконец, я опустил глаза и обомлел. Из нагрудного кармашка торчала банкнота с портретом президента Гранта. Если бы это был платок, то он по цвету подошел бы к моему галстуку...

Поварская перед зданием Верховного суда была запружена шикарными иномарками. А к дому на другой сторо-

не улицы прибили памятную доску. В этом доме Иван Алексеевич Бунин жил накануне своего бегства в Одессу и за границу. Как раз в то время, когда начались «окажные дни». В старое время такую памятную доску и вообразить было невозможно. И я подумал: «Направо — верховный суд, а налево — высший суд». В этом бунинском доме несколько лет назад я был в гостях у консерваторских друзей. После ужина за фортепиано сел небольшого роста хрупкий старичок. С профессором Виктором Абрамовичем Цукерманом нас кто-то познакомил еще за ужином. Его туше удивительно напоминало игру знаменитого Владимира Горовица. Кисть, как бы плашмя, опускалась на клавиатуру, и пальцы, почти не сгибаясь, прикасались к клавишам. Я сказал Виктору Абрамовичу об этом. И он рассказал удивительную историю.

В начале двадцатых годов он и Владимир Горовиц жили в Киеве и учились в консерватории у знаменитого маэстро Блуменфельда. Почти однолетки, они восприняли его манеру игры. Обоим тогда было меньше двадцати, и были они просто Витя и Володя. В ту весну, когда им предстояло расстаться, на крутом берегу Днепра буйно цвели каштаны и сирень, а Володя Горовиц был влюблен в Витину двоюродную сестру. В тот год Витя уехал в Москву учиться в консерватории, а Володя, задержавшись немного в Москве, навсегда покинул Россию и уехал в Америку. Еще в Киеве Горовиц пробовал себя в композиции. На прощание он подарил Цукерману листок с нотами пьесы, которую он назвал по-немецки «Wellen» (волны). Дружья никогда больше не виделись и не переписывались.

Как-то после войны Цукерман, уже профессор Московской консерватории, хотел написать Володе, но передумал. Писать за границу, а тем более в Америку, было опасно. А когда в сорок восьмом Шостаковича изгнали из консерватории, затравили Прокофьева, а год спустя из Большого зала вынесли портрет Мендельсона, он и думать об этом перестал.

Прошло почти семьдесят лет. В восемьдесят шестом году Владимир Горовиц, прославленный русский пианист, впервые приехал из США в Россию и дал концерт в

Большом зале консерватории. Остановился он в доме американского посла, в Спасо-хаусе, между Арбатом и Трубниковским. Виктор Абрамович был на концерте и все те несколько дней, что Горовиц жил в Москве, очень волновался. Он заранее выхлопотал через Министерство культуры разрешение посетить Спасо-хаус. В условленное время пришел туда с портфелем, в котором между книг и подарков лежал пожелтевший листок с пьесой «Волны». Восемидесятилетние музыканты сидели в креслах, и по всему было видно, что Горовиц гостя не узнает. Виктор Абрамович назвал себя, и Горовиц закивал и вежливо улыбнулся, отчего его узкие слезящиеся глаза сжались в щелку, а длинный нос вытянулся. Он помнил и консерваторию, и Блуменфельда, и дом на Подоле, а вот Цукермана вспомнить не мог. Тогда Виктор Абрамович вынул из портфеля листок с пьесой. Горовиц пробежал глазами ноты, узнал свой почерк и сокрушенно, часто, по-стариковски закивал головой. Они еще долго вглядывались в лицо друг другу, говорили о чем-то случайном, ненужном, и уже на улице Виктор Абрамович вспомнил, что так и унес подарки в портфеле. И еще пожалел, что не спросил гостя о своей кухне. Помнит ли он ее, знает ли, что она погибла в Бабьем яру?...

В самом конце Поварской, у Арбатской площади, — церковь Симеона Столпника. Раньше этот древний прелестный храм был скрыт от глаз. Я не видел его, когда возвращался из школы Мерзляковским переулком. Должно быть, его загораживал какой-то дом или забор, сейчас не помню. В церкви было пусто и тихо. У бедного иконостага горели свечи. Я присел на скамью напротив свечного ящика. Что за тяжесть на сердце? Неужели дань ностальгии? Ах, да... Ведь я сегодня промотал мамино наследство. И еще. В журнале мои рассказы не взяли. Сотрудник редакции сказал извиняющимся голосом:

— Знаете, хорошо. Даже трогательно. Если бы вы принесли это в шестидесятые годы, мы бы с руками... А нынче так не пишут.

— А как пишут? — задал я глупый вопрос.

— Да как вам сказать...

Литсотрудник понял вопрос как риторический и отвечать не стал. А я недоумевал. Ведь в шестидесятые за такие рассказы... Тогда бы не с руками, а по рукам. А может, и в самом деле время мое прошло и пора свет тушить? А как же преемственность? Революции не приносят добра ни литературе, ни жизни. Взять хотя бы Поварскую. Ведь как изменилась улица! Все эти иномарки, столы под зонтиками на тротуаре, реклама... А старые липы и дома все те же. Липы старые, а дух от них пряный, тревожный и молодой. Сегодня идешь по Поварской и дышишь легко, полной грудью. Так и дышалось здесь в далекие детские годы. Потому что тогда мы еще не знали про подходящую анкету и про все остальное.

И все-таки пятница — день тяжелый. В этот день делаем лучше не заниматься. Сидеть бы дома, пить чай, читать или слушать музыку.

ФИАЛКИ ИЗ НИЦЦЫ

Ее звали Марина. Я познакомился с ней в конце октября девяносто восьмого года в Нетании, маленьком городе израильской ривьеры. Солнце еще было жарким, а море теплым и спокойным. На пустом песчаном пляже редкие купальщики сидели под зонтами. Для местных купальный сезон кончился. Искупавшись, я поднялся наверх, на проезжую, обсаженную пальмами улицу и зашел в знакомое кафе «Гольф» выпить чаю. Потом пришла она и села за мой столик. На вид ей было чуть за сорок. Мы разговорились. Марина была москвичкой. Но уже лет пять жила с мужем и сыном в Израиле. Оказалось, что она знает мое имя. Еще в Москве читала какие-то мои рассказы.

— Мы купаемся здесь в декабре, — сказала Марина. — Глядя на нас, местные сабры удивляются. А мы изголодались по теплоте моря.

Я ответил, что в августе был в командировке во Франции и проезжал через Ниццу. Думал несколько дней отдохнуть, искупаться. Не получилось. Заболел и улетел долечиваться в Москву. И вот сейчас хочу наверстать упущенное на другом конце Средиземного моря.

— Так вы здесь не насовсем? — спросила Марина. Мне показалось, что спросила с грустью.

— Нет, через месяц уеду в Москву, прямо из лета в зиму.

— Между прочим, — спросила Марина, — знаете, как называется этот бульвар?

— Какой бульвар?

— Эта улица над морем называется бульваром Ниццы.

— Неужели? Выходит, я вернулся в Ниццу. Надо же... Такое совпадение.

Марина задумалась, посмотрела на море и сказала, не оборачиваясь:

— Да, действительно совпадение... А вы не собираетесь туда поехать еще раз?

— В Ниццу? Я был там несколько раз. Но в ближайшее время... Впрочем, кто его знает? А почему вы спрашиваете?

— У меня там живет самая близкая подруга. С ней случилась беда, и вот уже два года как от нее нет писем. Я звонила в Ниццу ее мужу-французу. Толку никакого. Он куда-то уехал, а его сын ничего не знает. Я очень беспокоюсь, все время думаю о ней.

— Вы сказали случилась беда. Какая беда?

Марина не ответила. Отвернулась и стала смотреть на море. Море было пустынным. Только на горизонте стояло судно, то ли рыболовное, то ли сторожевое.

— Сказать, какая беда, не могу. Сама не очень понимаю. В общем, не сложилась личная жизнь. В школе мы сидели за одной партией. После школы я пошла в МГУ на филологический, а Вероника туда же на биофак. Школу она кончила с золотой медалью. Все предметы ей давались легко, а по математике и физике ей равных не было. На городских олимпиадах — первое место. Стихи писала. А уж какая красotka! Высокая, стройная блондинка, с черными глазами под длинными пушистыми ресницами. Глаза как озера в безлунную ночь. Заглянешь в них — и утонешь. Ее отец был русский, а мать — армянка. Косметики не знала. Ни помады, ни пудры. Одевалась всегда просто: свитер или куртка с джинсами, которые шли к ее длинным ногам. Ребята вились вокруг нее, как пчелы

вокруг улья. За своего Сергея она вышла замуж на пятом курсе. Тогда же родила дочь Таню. Кто он был, этот Сергей, толком не знаю. Помню только, что играл за университет в волейбольной команде. После университета ее взяли в Академию наук, в институт Овчинникова. Там она быстро сделала кандидатскую диссертацию, а потом важное открытие. Изобрела противовирусные пептиды, средство против гепатита. И чуть ли не лекарство против рака печени. Защитила докторскую. К ней даже американцы приезжали на консультацию. Но тут пришли свобода и демократия и вместе с ними почему-то все развалилось. В институте перестали платить зарплату, лабораторию закрыли, а помещение сдали какому-то банку. Вероника устроилась на американскую табачную фирму. По-английски она говорила свободно. Потом начались неприятности с Сергеем. Он нигде не работал, пил, таскал у нее деньги и по неделям не приходил домой. С самого начала это был какой-то странный брак. Полагаю, у них не было ничего общего. Вероника развелась. Сергей по-прежнему изредка приходил. Она жалела его, давала деньги... Да, забыла сказать, что Вероника закончила среднюю музыкальную школу по фортепьяно. Музыка была ее страстью. Ни одного стоящего концерта в консерватории не пропускала. И вот там, на концерте, встретила своего француза. Люсьен — музыкант, живет и работает в Ницце. В Московскую консерваторию приехал по каким-то делам фонда Сороса. Тут все и произошло. Любовь с первого взгляда. По крайней мере, с его стороны. Вероника заметалась, ночами звонила мне и говорила по часу. Вскоре я с ним познакомилась. Люсьен пригласил Веронику и меня во французский ресторан на Краснопресненской набережной, рядом с Хаммеровским торговым центром. Ожидала встретить этакого Алена Делона. Ничего подобного. Низкого роста, упитан и совершенно лыс. Правда, лицо приятное и молодое. Сколько лет ему, не скажешь. Может, сорок, а может, и все пятьдесят. Говорили по-английски. Вероника и я французский знали слабо. Хотя изучали его в школе. В трудных местах она мне переводила. Потом встретились еще пару раз. А месяца через три Вероника вышла замуж и

уехала с Люсьеном в Ниццу. Таню оставила с бабушкой. Было это пять лет тому назад, значит, в девяносто третьем. В том же году мы уехали в Израиль. Первые письма были живыми, радостными. Звала нас в гости. Вспоминала, как в школе мы мечтали о Геленджике, о Черном море. А теперь обе живем на берегу теплого Средиземного. Потом письма пошли грустнее и тревожнее. И вот уже два года никаких вестей.

— И все-таки, что случилось? Что-нибудь с мужем? Или в Москве с дочерью?

Марина не ответила, опять повернулась лицом к морю и задумалась. Потом сказала:

— У меня странное чувство. Кажется, что мы с вами давно и близко знакомы. Поступим так. Я соберу ее письма и передам вам. Не уверена, что сохранила все. Мне очень хочется узнать, что вы обо всем этом думаете. И боюсь, секрета уже нет никакого...

На следующий день в моих руках оказалась коробка изпод шоколадных конфет. В ней лежали несколько писем в длинных голубых конвертах, пара открыток с видами Ниццы и записка с адресом и телефоном Марины. Разбирая письма, я нащупал плотный толстый конверт, а в нем высохший букетик фиалок. Цветы были еще яркими, но без запаха. В конверте лежало письмо. Видимо, одно из первых.

12 февраля 94, Ницца

Маринка, милая, здравствуй! Прости, что долго не писала. Завертелась колесом моя жизнь и вертелась целых полгода. Представляешь, Ницца! Я в Ницце! И теперь я мадам Дюкурэн. Трудно поверить, а еще труднее привыкнуть. Мы живем в маленькой гарсоньерке на avenue de Veaur в районе Ниццы, который зовут Симье (Cimiez). Это к северу, на холмах. Здесь тихий район вилл, апельсиновых и лимонных садов, зарослей мимозы. Виллы, белые и кремовые, террасами спускаются вниз, к морю. С нашего балкона виден только его уголок, серебряный, как осколок зеркала. Всего моря не видно, его закрывают кипарисы. Но у моря за Английской набережной я бываю часто. Как

тебе его описать? Этот берег зовут лазурным. Но все зависит от погоды. В ясные дни небо от солнца выцветает и вода — чистая лазурь. А при облаках море серое, а у берега зеленое. Говорят, в ясную погоду отсюда видна Корсика. Но я ее еще не видела. Помнишь, Чехову нравилось, как кто-то сказал о море: «Море было большое»? И это все, лучше не скажешь.

Мой Люсьен — прелесть. Знаю, он тебе не показался. А в Москве он так красиво меня преследовал! Без букета роз не приходил. Говорил, что цветы каждый день самолетом присылают из Ниццы и продают в ГУМе. Один раз принес большой букет фиалок. И мне показалось, что к их нежному дыханию примешан запах соленого морского ветра. Еще в Москве я поняла, что где-то там есть другая жизнь. Помнишь, как описывала ухаживания московских кавалеров наша подруга Тамара Полубесова? Дескать, до дому проводит, прижмет в темном подъезде в угол. Одной рукой шарит под блузкой, а другой норовит под юбку залезть. И целует пьяными солеными губами. Ты только не подумай, что это я о Сергее вспомнила. Он человек несчастный, конченный. Я ему тут с оказией денег послала. А тебе на цветочном рынке у площади Массена купила букетик фиалок и вложила в конверт. Скажи, они еще пахнут?

В Москве Люсьен всему удивлялся, а я над ним потешалась. Как-то он поехал в фонд Сороса и меня взял с собой. А фонд разместился в бывшем моем институте у метро Беляево. Подъехали мы на «леваке» к самой проходной. Ну, ты же знаешь институт Овчинникова! Целый город в мраморе. Столько средств на него ухлопали! Теперь половину комнат сдают под офисы фирм. Всюду таблички по-английски. Пока в этом лабиринте найдешь нужную комнату, каблук обломаешь. Чуть ли не полчаса мы бродили по мраморным подземным коридорам. Люсьен, разинув рот, смотрел на зимний сад, на фонтаны. Когда уходили, спросил, сколько здесь получено Нобелевских премий. Я ответила, ни одной. Тогда он спросил, кто дал деньги на этот дворец. Я пыталась ему объяснить. Сказала, что в советские времена деньги еще не были зелеными, и их печатали столько, сколько требуется. Он не понял. Тогда

я спросила, знаешь, как дети играют в магазин? Режут бумагу и чернилами пишут на ней цифры. И на эти деньги понарошку покупают конфеты. Он удивился еще больше. Дескать, одно дело — игра, а другое — жизнь. Я сказала, что наша жизнь и была игрой. Напомнила про Германна из «Пиковой дамы» (он читал Пушкина по-французски, а партитуру оперы знает наизусть). Германн сначала играет, а потом попадает в сумасшедший дом. Мы тоже доигрались, и теперь сидим в сумасшедшем доме.

Как вам там, Маринка, в Израиле? Ты только подумай: мы теперь живем с тобой на берегу одного моря. Помнишь, мечтали о Геленджике? А тут — Средиземное! Здешние чайки до тебя, конечно, не долетают. А волны? Тамара бы сказала, что мы с тобой качаемся на одних волнах. Приезжайте к нам хотя бы на месяц. Я говорила с Люсьеном, он, разумеется, согласен. Лучше летом, когда у вас очень жарко. Нет, пожалуй, лучше осенью. Осенью он собирается купить дом в Коломаре. Это деревня в Провансе, в горах, у самой Ниццы. Отвечай, пожалуйста, аккуратно, с меня пример не бери. Целую, Вероника.

В левом верхнем углу Вероника написала свой адрес: Mm Ducourant, avenue de Bearn 42, Nice, France.

15 мая 94, Ницца

Здравствуй, дорогая Маринка! Спасибо тебе за письмо и прости, что долго не писала. Много дел и забот, в одном письме не расскажешь. Ездили смотреть дом в Коломаре, который Люсьен покупает. Настоящий деревенский дом в оливковом саду. Сад огорожен каменным забором. На участке лимонные деревья, дубы, обвитые плющом, и виноградник. Дом Люсьен будет переделывать, пристроит террасу и гараж. Я уже вожу машину, Люсьен купил мне фольксваген-гольф. Из Коломара до Promenade des Angles в Ницце всего полчаса. Не дольше, чем в Москве на метро от твоего дома до моего. Так что можно жить в деревне и купаться в море. И я уже купаюсь! Раньше Прованс мне казался равниной, выжженной солнцем. Откуда я это взяла? Из Альфонса Додэ? Не знаю. Ничего подобного! Представляешь: лесистые холмы, а дальше, к

северу, снежные горы Приморских Альп. Едешь по горной дороге и на крутом повороте вдруг видишь уголок синего-синего моря. Рядом с Коломаром — маленький провансальский городок Каррос. Он растет из скалы, как ласточкино гнездо. Здесь все из белого камня: дома, улицы, лестницы, колодцы для стирки белья. Люсьен повел меня в дом к знаменитому скрипичному мастеру. Представь себе четырехэтажный каменный дом 14 века. В нем большая комната. Тяжелые деревянные ставни. Потолок на древних черных ноздреватых балках. У побеленных каменных стен — старая мебель: лавки, стулья, шкафы, тоже черного цвета. Весь этот средневековый интерьер оживляет люстра из красивого местного фарфора «мустье». В Карросе сохранился какой-то старинный итало-французский диалект. Улица, на которой стоит дом, называется *Carriero de la font* (фонтанная). Люсьен в восторге от этой старины и, боюсь, в Коломаре захочет изобразить что-нибудь подобное. Между тем, я уже прилично говорю по-французски. По крайней мере так считает Люсьен.

Да, ведь я про него ничего тебе не рассказывала. Еще года три назад он работал в Ницце концертмейстером в оперном театре. Директором там Джанкарло дель Монако, сын известного певца. Люсьен был женат на какой-то богатой женщине, дочери лионского банкира. С женой и сыном он жил в самом центре Ниццы, в доме на углу улиц Клемансо и Обера. Большая шестикомнатная квартира занимала целый этаж. Его младший сын учится в Лионе в консерватории, старший занимается бизнесом. Старший и жил с ними в этой квартире. Так вот. В театре была какая-то певица, с которой Люсьен проходил партию Тоски. В то утро жена сказала, что уезжает в Лион на три дня, но неожиданно вернулась днем, прихватив зачем-то свою подругу. Она застала Люсьена и певицу в постели. Это я поняла из рассказа Люсьена. Не удержалась и сказала, что он «писеньковый злодий». Помнишь, Тамара Полубесова уверяла, что по-украински это — сексуальный маньяк. Люсьену это выражение безумно понравилось. Но усвоить его он не может и каждый раз просит напомнить. Потом был развод, и подруга жены выступала свидетелем.

Во французской провинции нравы строгие. Жена оттяпала у него всю квартиру, хотя у нее был просторный дом в Антибе. Из трех комнат она сделала огромный будуар, а сына, который жил вместе с ними, выставила за дверь. Теперь сын, как и отец, снимает гарсоньерку. На этом неприятности не кончились. Люсьен поссорился с дель Монако и ушел из театра. Какое-то время был агентом у струнного трио. Потом на пару с кем-то купил массажный кабинет и стал массажистом. Представь себе. Зарабатывает он больше, чем в опере, но по музыке тоскует ужасно. Я его хорошо понимаю. Скоро год, как я ничего не делаю, веду наше скромное хозяйство. Его и вести нечего. В соседней лавке на *avenue des Arenes* покупаю продукты и готовлю по-московски, на скорую руку. Люсьен терпит, терпит, а потом возьмет да и приготовит сам. Но мясо бургуньон, салат и баклажаны я уже научилась делать по-местному. И все-таки без работы я не смогу. Заболею или с ума сойду. Ходила к профессору Буржону в университет. Представь себе, — он читал мои статьи. Обещает что-нибудь подыскать для меня в новом семестре, почасовую или работу в лаборатории. Университет здесь небольшой и моей тематикой они не занимаются. Да я согласна у них центрифуги мыть. Боюсь, Люсьен этого не поймет.

Читаю. Книги беру в библиотеке Медиатек, это недалеко. Русских книг мало. Недавно взяла Куприна во французском переводе и осилила, конечно, со словарем. Представь себе, перечитала «Гранатовый браслет» по-французски. Я читала эту вещь много раз и каждый раз мечтала о такой необыкновенной, возвышенной любви, идеальной, без компромиссов. По выражению Куприна, «сильной, как смерть». Он, если не ошибаюсь, взял это выражение у царя Соломона из «Песни песней». Да где она, эта любовь? Если и приходит, то не сильная как смерть, а слабая и нелепая, как наша жизнь. Нам с тобой по тридцать восемь (ах, прости, ты моложе на год). Иллюзиям поздно предаваться. И потом я думаю, что у творческого человека такой любви и быть не может. Такая любовь, «любовь-трагедия» (опять же по купринскому слову)

поглотит весь разум, все силы без остатка. Нет, в нашей непонятной жизни думаешь о семье, о доме, о ненадежном завтрашнем дне. Я знаю, что ты мне ответишь, даже слышу твой голос. Ты говоришь, что мечту отнять нельзя. И что каждая женщина втайне мечтает о чем-то необыкновенном, чего вовсе не бывает или случается очень редко. Может быть, ты и права. Не знаю... А знаю то, что испытала первый приступ ностальгии. На днях пошла в музей Шагала. Это рядом с нами, на бульваре Симье. Почти весь музей — картины на библейские темы. Он написал их в шестидесятые годы. Долго стояла у «Пророка Ильи», оторваться не могла. Справа от Ильи и его колесницы — бедные избы с косыми крышами и козы. И над всем этим — местечковый витебский месяц. В Витебске я не была. Но такая тоска навалилась, аж в груди защемило. А ведь и года еще не прошло. Очень скучаю по Таньке и маме. Звоню им часто. А Танька в июне придет ко мне. У нее сейчас в школе выпускные экзамены. Хочет поступать на биофак. Не знаю, не знаю...

Люсьен вернулся, кончаю, пиши. Твоя Вероника.

2 февраля 95, Ницца

Родная Маринка! Сколько времени я не писала? Год? Вчера пришло твое письмо. Ты беспокоишься и упрекаешь меня. Сколько за год воды утекло! Не знаю, с чего и начать... Осенью переехали в Коломаро. Там началась какая-то непонятная жизнь. Как тебе объяснить? В доме шесть комнат, большой холл, в котором стоит рояль, кухня, веранда... Все надо убрать, приготовить обед, поработать в саду и на винограднике, отвезти оливки на мельницу, где жмут масло, и еще тысяча дел. Осенью я начала работать в университете у Буржона, но Люсьен заставил меня бросить. Ему непонятно, зачем за две тысячи франков ездить так далеко. Ведь за эти деньги даже приходящую прислугу не наймешь, какую-нибудь испанку или из местных. Я ему сказала, что готова работать бесплатно. Он только руками развел. В свой массажный кабинет он уезжает чуть свет, я еще сплю и приезжает вечером. Я остаюсь с котом Жаком. Он целый день ходит за мной по дому и по саду. Поверь,

не остается времени почитать. Иногда сажусь за рояль. Вспоминаю этюды Черни, Моцарта. Но уставшие руки, руки уборщицы и садовницы, не слушаются меня. И тогда я сижу, бессмысленно уставившись в стену. На ней висит огромная страшная картина Дофа: длинный ряд скелетов проходит мимо человека, который зачем-то раздает им маски. Люсьен сказал, что Дофа хотел подарить эту картину Феллини, но тот отказался. Теперь она висит в нашем холле. Как она попала сюда, не знаю. Смотрю на эту картину и кажется мне, что сама участвую в маскараде покойников. Изо дня в день одно и то же, ничего не происходит. Я немею, потому что не о чем говорить и, что самое страшное, тупею. Еще недавно море, горы, оливковые рощи, Ницца казались такими радостными, необыкновенными, так много обещали. Помнишь, я послала тебе букетик фиалок? Когда мы жили в Симье, я каждый день ходила на цветочный базар и покупала фиалки. Теперь нет времени, а если честно, то и желания. По субботам мы «выходим в свет», едем к Франсуа Дюфуру, знакомому скрипачу, с которым Люсьен играет сонаты. Франсуа и его жена Жиннет живут в центре, угол улиц Клемансо и Жан Медсан, рядом с библиотекой Медиатека, где я беру книги. К Дюфурам приходят гости. После концерта — обед. Милая Жиннет хорошо готовит. Иногда обедаем в соседнем итальянском ресторанчике «Неаполь» (обязательно вскладчину). Если бы ты знала, как мне надоели этот вечный салат в большой деревянной миске, сотерн и фуа фа (здешний деликатес, гусиная печенка). Хочется винегрета, селедки, гречневой каши. Подумаешь, что избаловалась. Нет, по-научному это — ностальгия. На днях приснилась Медведица. Помнишь, как плыли по ней в байдарках? Темная глубокая вода, кувшинки, задумчивые кудрявые берега. И город Кашин. Такой древний, уснувший. Деревянные домики на холмах. Колокольный звон по утрам. Базарная площадь. Запах сена и лошадиного пота. С нами были Кирилл со своей Наташей, Тамара и еще кто-то, не помню кто. Жизнь всех разбросала. Тамара уехала к мужу в Киев. Я слышала, они теперь в Бразилии. Помнишь, Тамара все Киплинг цитировала: «Увижу ли Бразилию до старости

моей...» Вот и увидела. А где Кирилл? С Наташей он еще при нас расстался. И, слышала, стал известным физиком. Думаю, что и он где-нибудь за бугром. Ты что-нибудь о нем знаешь?

Да, забыла. Танька ко мне не приехала. Прошное лето ушло на экзамены. Она все-таки поступила на биофак. Идет по стопам матери. Зачем, не знаю. Обещает приехать этим летом. Я ужасно по ней соскучилась. На днях подумала: хорошо, что у меня дочь, а не сын. В России опять ужасная война. Только ее и не хватало. А все от нашего беспамятства. Уверена, прочти Ельцин «Хаджи Мурата», не полез бы в Чечню. Ты меня знаешь, я умею быть благодарной. И ему, и Горбачеву я благодарна за свободу. А сейчас не знаю, что и думать. Пиши, целую, Вероника.

19 августа 95, Ницца

Милая, родная Маринка! Получила ли ты мою открытку ко дню рождения? А сегодня «шестое августа по-старому, Преображение Господне». Так кажется? Я забываю Пастернака, все забываю. На днях стала вспоминать первую главу «Евгения Онегина» и после слов «когда же черт возьмет тебя» споткнулась и дальше вспомнить не могла. И подумала, когда же черт возьмет меня. Я ведь «Онегина» наизусть знала. Не ругай, что долго не писала. Мне очень, очень плохо.

Знаешь, я и раньше замечала, что Люсьен скуп. В России принято думать, что скупы немцы. Это предрассудок. Немцы не скупы, они расчетливы. А он именно скуп. Это даже не страсть пушкинского скупого рыцаря. Скорее, мелочность тупого буржуа, глупость. «Нэ купить ума, як сво во нэма», — говорила в таких случаях Тамара Полубесова. Он экономит на электричестве, на воде. Не разрешает звонить в Москву. Проверяет счет за продукты, которые я покупаю. На днях устроил скандал из-за тридцати франков недостачи. Может быть, я и в самом деле их потеряла.

Зимы здесь теплые, но ночью холодно, сыро. Так он выключает на ночь отопление. Эта весна была особенно холодной, я заболела гриппом. Представь себе, лежу в холодной комнате с высокой температурой без еды и

питья. Он говорит, что при гриппе есть вредно. Приедет вечером из города, поест, уткнется в телевизор и молчит. Потом придет ночью ко мне, навалится, и это тоже молча. Только сопит. Сделает свое дело и уйдет к себе.

В июле приехала, наконец, моя Танька. На первых порах он старался произвести впечатление. Повез нас в Канны, в Монте-Карло. В Монте-Карло угощал чаем с пирожными в дорогом кафе de Paris. Показал Тане рулетку в казино, оперу. Его знакомый виолончелист провел нас прямо на сцену. Стоим на сцене напротив княжеской ложи и читаем выбитые на стенах имена композиторов: Гуно, Моцарт, Глинка и какой-то забытый Герольд. Таня спрашивает, где Чайковский. Люсьен отвечает, что театр построили еще тогда, когда Чайковского не знали. Потом повел нас в какой-то безумно дорогой отель «Эрмитаж» показать раскрашенные вручную унитазы. Унитазы на Таню впечатления не произвели, а вот бюст Дягилева она разглядывала долго. Бюст стоит затылком к морю, лицом к опере. И Люсьен сказал, что Дягилев отвернулся от России. На это Таня заметила, что на Россию можно смотреть и с моря, и с суши. В общем, понимай, как знаешь. Между прочим, дочь говорит по-французски лучше матери. Она ведь, как и мы с тобой, закончила французскую школу, но в другое время. В наше время учили грамматике и мертвому языку. Делали все, чтобы мы, не дай Бог, не заговорили по-французски. Спрашивается, зачем советскому человеку говорить на иностранном языке? И, главное, с кем? Поэтому на вопрос, что дала нашим детям перестройка, новая жизнь, я отвечаю: язык.

Праздник длился недолго. Если перед сном Танька мылась в душе, Люсьен стучал в дверь ванной и ругался. Дескать, слишком долго, большой расход воды. Его все раздражало: Танина книга, оставленная в кресле в саду, тарелка, забытая на столе, компактный диск, не вынутый из проигрывателя. Малейший беспорядок выводил его из себя. И вот случился скандал. Я и Таня были на кухне. Он зачем-то вошел в ее комнату и увидел простыни и белье, лежавшие на кровати. Поднял крик, сбросил Танино белье на пол, стал топтать его ногами. Потом потребо-

вал. чтобы Таня немедленно все это постирала. Таня ответила: *Plutot crever*¹. И тут же собрала чемодан. Наутро я отвезла ее в аэропорт. По дороге она смотрела в мою сторону. Лицо веселое, глаза живые. Я думала, она на меня смотрит, обо мне думает. А она смотрела на море, на пальмы. И только в аэропорту, когда прощались, сказала мне: «Возвращайся-ка ты, мама, домой. Нечего тебе здесь делать». А я забыла тебе сказать, что Таня и еще несколько студентов получили приглашение учиться в США, в Рочестере (это штат Нью-Йорк), в тамошнем университете. И Таня в октябре уедет в Америку. Бабушка переедет к брату, дяде Армену. К кому же мне ехать? Уж не к Сергею ли? Таня не видела отца с полгода, и я беспокоюсь, не спился ли он совсем, жив ли. Да, здесь мне делать нечего. А что я буду делать в Москве?

Пишу тебе по новому адресу в Нетанию. Как хорошо, что вы все вместе. Да, а ты не написала, поступил ли твой Витя в университет. Видимо, он уже в Хайфе.

Странно устроен человек. Пушкин сказал: «Что пройдет, то будет мило». Уж как мы тосковали по свободе, как я мечтала о Франции, о Париже! И вот я во Франции, а Парижа до сих пор не видела. И теперь вместо Парижа грезится мне бульвар на Университетском, лес у Троицкой церкви, у крутого спуска к Москва-реке. Скоро все это березовое кружево станет золотым.

Пишу это письмо за столиком кафе на пляже. Только что вышла из воды. Жарко. Сейчас допью чай и отнесу письмо в отель «Негреско», брошу там в ящик. Это рядом, только перейти Английскую набережную, А потом вернусь в Коломар. Обед у меня готов. Вечером придет мой массажист, несостоявшийся музыкант. А я несостоявшийся биолог. Какая разница? И будет продолжаться жизнь. Сколько она будет продолжаться? Прости за невеселое письмо. Будь счастлива, целую, Вероника.

3 ноября 95, Ницца

Моя родная Маринка! Прочти на обороте конверта мой новый адрес. Теперь я живу одна. Одна во всех смыслах.

¹ Фиг тебе! (фр.)

Не успела Таня вернуться домой, умерла мама. Ночью был сердечный приступ, а неотложка приехала только утром. Я собралась лететь в Москву, попросила у Люсьена денег. Ты не поверишь, он отказал. Сказал, что у него в банке минус и закрыли кредит. Это наглая ложь, и я это точно знаю. Потому что неделю спустя он перевел сыну в Лион десять тысяч франков. Для участия в Лондонском фестивале. А мне требовалась какая-нибудь тысяча на Аэрофлот до Москвы. Таня и дядя Армен хоронили маму без меня. Я ее не видела два года и теперь уже никогда не увижу.

Таня уехала в Рочестер. Она не хотела продавать московскую квартиру, но я настояла. Ей платят стипендию, но на первых порах нужны деньги. Половину этих денег Таня прислала мне из Штатов сюда. Я хотела отослать ей обратно, но потом раздумала. И, оказывается, хорошо сделала. Ведь своих денег у меня нет. Ни одного франка. Все, что он дает мне на хозяйство, подотчетно. Вечерами придирчиво подсчитывает расходы, проверяет меня. Если мне нужны деньги на колготки или на парикмахера, я клянчу у него. Ты ведь знаешь, я к тряпкам равнодушна. Но за эти два года я не купила себе ни платья, ни белья. А из-за пары туфель он устроил скандал. Для кого и зачем он купил этот дорогой дом? Я в нем не чувствую себя ни женой, ни хозяйкой. Кто я в нем, экономка, служанка, наложница? И вообще, почему я здесь? На что ушли эти годы? И что делать теперь, когда в Москве нет ни мамы, ни Тани, ни дома? Развестись? Но ведь у меня нет французского гражданства, его надо еще ждать. А без гражданства здесь нет ни прав, ни работы. И на что жить? А главное, зачем? В университет меня не возьмут, Буржон переехал в Монпелье. Я оступела и опустилась. И всего за два года.

Да, так откуда новый адрес? Я снимаю квартиру на бульваре Мадлен: комната, кухня и душ. Это на восточной окраине Ниццы, рядом с морем. Пересечь *voie Rapide* — и вот тебе Английская набережная. Работаю в соседнем ресторанчике «Маленький провансалец». Там всего пять столов. Накрываю, мою посуду. Тебя это удивляет? Так вот, послушай.

Помнишь, я спрашивала тебя про Кирилла? Ты ему, оказывается, дала мой адрес и телефон в Коломаре. И вдруг — звонок. Кирилл звонит из Парижа. Оказывается, он приехал на год в Орсе. Позвонил в сентябре, вскоре после смерти мамы. Сказал, что может на несколько дней приехать в Ниццу. Обрадовалась я ужасно. И сразу же пригласила его, еще не зная, что выкинет Люсьен. Ему я сказала, что Кирилл — крупный физик и у него связи в московском музыкальном мире. Я не врала. Вспомнила, что его отец — какая-то шишка в Москонцерте. Но про себя думала, что Люсьен клюнет на эту приманку. Он все мечтает о гастролях сына в Москве. И я не ошиблась. Он попросил разрешения самому позвонить и пригласить Кирилла. И Кирилл приехал в конце сентября. Сколько мы с ним не виделись? Думаю, больше десяти лет. Люсьен устроил торжественный ужин. Принес из погреба пару бутылок какого-то особенного бордо. А мы с ним проговорили до поздней ночи. У него умерла жена, детей нет. Раньше его за границу не выпускали. А теперь, благодаря своему имени, он ездит по всему миру. Работает то в США, то в Японии. Сейчас вот пригласили в Париж. Этим и живет, но связи с Москвой не прерывает, хотя в его институте — ни денег, ни способной молодежи. Разбежались. Кто за границей, кто в бизнесе. Между прочим, он был в Израиле, и его снова туда пригласили. Он все думает, не взять ли ему тамешнее гражданство. Да ты наверняка знаешь об этом.

Через день я повезла его в Канны. По дороге обедали в Антибе на улице Массена, у самого порта. Увидев дом, где родился Массена, Кирилл вспомнил слова Наполеона: «Самый храбрый в армии — это я, но храбрее меня — Массена». Он поразил меня своей эрудицией. Все выглядело так, как будто не я, а он показывал Ниццу. А ведь он здесь никогда не был. В музее Массены, стоя у его бюста работы Кановы, рассказал об итальянском скульпторе и испанском походе Наполеона. Потом в старом городе у памятной доски в честь Паганини — о Паганини и Гарибальди. В конце этой улицы — крутая лестница, поднимающаяся в Шато. Это скала над морем.

С нее видна Ницца и залив, весь в кружеве прибоя. Наверху старое католическое кладбище, где похоронили Герцена. К стыду своему я там еще не была. Мы долго смотрели на памятник. Кирилл сказал; «Посмотри, сколько в нем печали». Герцен стоит, скрестивши руки, задумался, опустил голову. Где его исторический оптимизм, о котором писал Эйдельман? Если бы он мог представить себе будущее России век спустя. Мы разглядели на постаменте изображение песочных часов и крыльев. Что это, знак быстротечности жизни, ее полета? Этого Кирилл не знал. Потом мы долго сидели на скамейке у Никейских развалин, откуда виден порт. Кирилл стал было рассказывать о древней Никее и о Карле Савойском, но потом как-то странно посмотрел на меня и спросил о моей жизни. И вдруг там, на скамейке, я ему все и рассказала. Он долго молчал. Я сказала, что не вижу другого пути, как вернуться в Москву и жить у дяди Армена. И тогда Кирилл вспомнил древнюю притчу. В прошлом году он работал в Иерусалимском университете и его повезли на экскурсию к Мертвому морю. И там, среди пустынных гор, у самого спуска к морю, показали столб из соли и песчаника. Сказали, что этот столб похож на фигуру женщины. Кирилл, как ни вглядывался, сходства не нашел. Но это неважно. Оказалось, что это окаменевшая жена библейского Лота. Ты, конечно, знаешь эту легенду. Когда-то у берегов Мертвого моря находились Содом и Гоморра, погрязшие в смертном грехе. И Господь решил покарать грешников, стереть с лица земли эти города. Но об этом предупредил Лота, племянника Авраама, который вел праведную жизнь. Ему и его жене было сказано бежать и не оглядываться. Но жена Лота не удержалась и в последний момент оглянулась. И превратилась в соляной столб. Человек не меняется. Древние библейские люди тоже знали ностальгию. Так вот, не надо оглядываться и возвращаться в прошлое, а то окаменеешь — сказал Кирилл. Надо идти только вперед. Я спросила, а если нет надежды и я уже окаменела? И тогда Кирилл рассказал другую историю, на этот раз не библейскую.

Ты помнишь его Наташу? Я говорю «его», хотя после того жаркого августа, когда мы все отдыхали в Дубуптах в университетском доме отдыха, они расстались. Когда это было? Наверное, после четвертого курса, когда Кирилл вернулся со сборов в военном лагере. Наташа была его первая любовь. Говорят, что до нее он с девочками не дружил, даже на танцы не ходил. И, как бывает в таких случаях, влюбился внезапно и отчаянно. Говорит, совсем голову потерял. Эта Наташа была дочерью какого-то большого генерала. Квартира на Фрунзенской набережной, дача в Архангельском. На физфак на «Волге» приезжала. Ну и все такое... Думаю, что поэтому в выборе спутника жизни она была несвободна. Но, по мнению Кирилла, он был не в ее вкусе. Ей нравились высокие, спортивного вида ребята. Ну, вроде тех, что играли с нами в волейбол на пляже. Волосы цвета осенней стерни, светлые глаза, бронзовое тело и тугие плавки. Помню, как они звонко гасили через сетку. Как из пушки! По вечерам всей компанией мы ходили в Дзинтари, в ресторан «Лидо». Помнишь? Денег не было. Заказывали пару бутылок сухого, салат. И весь вечер танцевали. Тогда «Лидо» казался нам волшебным уголком западной жизни. Столики под торшерами, полумрак, интим и круглая площадка для танцев. Ночью из Дзинтари возвращались пешком. Иногда вдоль ровного песчаного берега, но чаще улицами, мимо дач и сосен. Ночи стояли душные, звездные, и от запаха белого табака кружилась голова. Наташа шла с нами, держалась компании. А Кирилл был мрачен. Старался отстать, садился на скамейку где-нибудь в лунной тени. Она возвращалась к нему, и они вместе нас догоняли. Кирилл сказал, что потом было решительное объяснение, и она честно призналась, что не любит его. Он переживал много лет и никак не мог забыть этого несчастного прибалтийского лета. Женится поздно, лет десять спустя. С женой жил счастливо, о прошлом не вспоминал. Года два назад приехал с ней летом в Ригу. И вдруг его неудержимо потянуло в Дзинтари. Он и сам не знает, что это было. Тоска по юности? Мазохизм? Может быть, ему, счастливому и благополучному, хотелось задним числом восторгостествовать

над былым унижением и несчастьем? Они ужинали в «Лидо». И, представь себе, обстановка показалась им серой, неинтересной: скатерти в пятнах, пыльный затоптанный палас, хмурый официант. Возможно, потому что за год до этого они отдыхали в настоящем Лидо, под Венецией, где на берегу Адриатики такой же ровный песчаный пляж. И в ту же ночь случилось несчастье. Жене стало плохо. Похоже было, что в «Лидо» она чем-то отравилась. Неотложка отвезла ее в больницу. Там нашли непроходимость, сделали операцию. А наутро она умерла. Вот тогда и окаменел, как жена Лота, — сказал Кирилл — и понял, что в прошлое не возвращаются.

На скамейке в Шато мы просидели до позднего вечера и вернулись в Коломар ночью. Люсьен заперся у себя, к нам не вышел и чуть свет уехал на работу. Утром Кирилл объявил, что ему пора, и я проводила его на вокзал. Видимо, почувствовал себя неудобно, и я не стала его отговаривать. Обещал звонить. А с Люсьеном так и не попрощался.

В тот день вечером случился скандал. К ужину Люсьен не вышел. Потом кинулся в мою комнату, стал выбрасывать и топтать мои вещи. Таким я его еще не видела. Я пыталась объяснить. Он орал: *fous le camp, ferme la idiote!*² Что это было? Ревность? Не думаю. Тупость, ярость собственника?

Наутро я переехала к знакомой, работавшей у Буржона. А через неделю сняла эту квартирку. Люсьен нашел меня. Приезжал, просил прощения, клялся, что все понял и плакал. Обещал, что найдет для меня работу в университете. Как будто это от него зависит! Я как могла, спокойно, даже ласково объяснила, что в Коломар не вернусь и хочу пожить одна. И вот уже скоро месяц, как я здесь со своим котом Жаком. Что будет завтра, не знаю. Да, в прошлое не возвращаются, но и в будущее не заглянешь. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть сегодня. А сегодня — радость: пришло письмо от Тани. По новому адресу. У нее все хорошо. А обо мне она ничего не знает. И слава Богу. Видишь, какое длинное письмо напи-

²Вали отсюда, заткнись (фр.)

сала. Писала его три дня. Поздравь Витю с победой на олимпиаде. И пиши, пиши. Твоя Вероника.

На обратной стороне конверта — адрес: M-m Ducourant, Boulevard de la Madeleine. 37, 06202 Nice, France.

20 апреля 96, Ницца

Родная Маринка! От тебя ни строчки с Нового года. Получила ли ты мою новогоднюю открытку? Здорова ли ты? Кирилл только раз позвонил из Парижа. Пишет редко. Он и впрямь окаменел после смерти жены. У меня все по-прежнему. Таня, как и ты, не балует меня частыми письмами. Но за нее я спокойна. Пишет, что университетом и жизнью довольна и денег хватает. И даже друг объявился — студент-биолог. Зовут Джордж. А вот этого я представить себе не могу. Господи, как летит время! А у меня ничего не меняется. Через день работаю в «Маленьком провансальце». И еще в соседнем супермаркете. Жизнь глупая и непонятная. Перетираю тарелки, сортирую фрукты и овощи, сплю, ем. Вечерами сижу на скамейке за Английской набережной, смотрю на море, за горизонт. А Корсики так до сих пор и не разглядела. Иногда мне кажется, что я сомнамбула, живу, как во сне. По ночам сплю крепко и настоящих снов не вижу. Наверно, потому, что за день сильно устаю. О жизни не думаю. Знаешь, я раньше боялась смерти. Помнишь, у Мандельштама: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Так и я трепетала. Я и теперь часто думаю о смерти. Но страха нет. Раньше я думала, что страх перед смертью — это от безверия, от нашего совкового атеизма. Теперь считаю, что этот страх — плата счастливых людей за свое счастье.

Да, забыла. Еще я преподаю русский. Это вот как получилось. За углом на бульваре Карлоне хозяин писчебумажного магазина выставил на улицу клетку с попугаем. Попугай черный, а клюв, щечки и лапки желтые. Очень красивый. Я с ним подружилась. Его зовут Пьер. Выучила его несколькими русскими словам. Теперь, завидев меня, Пьер кричит на весь бульвар: «Привет, Вероника. Я тебя люблю...» Представляешь, меня еще кто-то любит. Хозяин лавки Антуан, прознав, что я русская, и поверив в мои

способности, стал брать у меня уроки русского языка. Его сестра замужем за нашим бизнесменом в Питере, и он каждый год бывает в России. Платит мне шестьдесят франков за урок. Я еще только подхожу к соседней овощной лавке, а Пьер, завидев меня, кричит: «Вероника, любовь моя!» Пьер способнее своего хозяина, хоть и не платит. Но разве за бескорыстную любовь платят? Помнишь, я как-то писала тебе о Куприне, об идеальной любви, которая сильна, как смерть. И сомневалась, что такая любовь есть на свете. А ты мне возражала. Кто же из нас прав? Наверное, каждый по-своему. Я лично только раз встретила бескорыстную любовь. Здесь, на бульваре Карлоне.

Люсьен вот уже несколько месяцев не приезжает и не канючит. Денег не дает. Да я бы и не взяла. Если ты спросишь меня, стало ли мне лучше, я отвечу: да, сейчас мне лучше. Во-первых, свободна. А во-вторых, так устаю, что нет времени думать о моей жизни. Пиши мне побольше о своей. Как там, на твоём берегу? Крепко целую, твоя Вероника.

В последнем конверте из конфетной коробки я нашел высохшую ветку фиалок и открытку с фотографией русской церкви на авеню Николая II. На обороте было всего несколько строк:

2 августа 96, Ницца

Моя дорогая Маринка! С днем рождения! Получила сразу два твоих письма. Спасибо. Сколько раз ты обещала приехать? Приезжайте! Как-нибудь разместимся, а какая была бы радость...

Целую, Вероника.

В сентябре девяносто девятого по дороге из Парижа в Москву я снова приехал в Ниццу. Друзья сняли мне комнату на авеню Калифорния. До бульвара Мадлен — рукой подать. Я прошел по бульвару мимо ресторанчика «Le Petit Provençal» и на той же стороне нашел дом 37 с баром на углу. Он стоял напротив бензоколонки, за которой дома, обсаженные пальмами, террасами взбирались на высокий холм. Консьержки в доме не было. Я позвонил наугад в квартиру на первом этаже. Дверь открыла

пожилая женщина. Я представился и назвал имя Вероники Дюкуран.

— Да, она жила в квартире на третьем этаже. Рано утром выпала из окна на тротуар и разбилась. Ее нашли под платаном у самого подъезда и отвезли в госпиталь Лярше. Больше я ничего не знаю.

— Когда это случилось?

— Не помню. Это было давно.

В госпитале Лярше мне выдали справку. В ней значилось, что Вероника Дюкуран, урожденная Медведева, проживавшая в Ницце по адресу бульвар Мадлен, 37, и родившаяся 8 сентября 1955 года в Москве, была доставлена в госпиталь Лярше 8 сентября 1996 года и скончалась в тот же день от множественных переломов черепа и позвоночника.

Справку вместе с письмами Вероники я отправил бандеролью в Нетанию по адресу Марины. Фиалки, найденные в конвертах, завернул в фольгу и отослал той же бандеролью.

Леонид ФИНКЕЛЬ

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО СДЕЛАНЫ ГЕНИИ...

ПОЭТ ИЛЬЯ БОКШТЕЙН

«Прижизненная слава
в эмиграции
подозрительна».
Илья Бокштейн

Первое впечатление — Велимир Хлебников. Та же бездомность, бесприютность, бормотание, выискивание в хаосе звуков. Но бормотание «без правил» или «почти без правил» — как сказал в предисловии к книге Бокштейна Эдуард Лимонов.

Хлебников, если иметь в виду его абсолютное неучастие в людской суете, его «спокойную незаинтересованность» «в мире мелких расчетов и кропотливых устройств собственных судеб...» (Н. Асеев).

Правда, Хлебников мог растопить костер своими рукописями. Илья Бокштейн ничего подобного не позволит. Он всегда ровен во взаимоотношениях, уравновешен, интеллигентен, но к собственным рукописям ревнив. Злым и раздраженным я видел его только однажды: когда исчез русский издатель, который переснял у него бездну стихов...

Хлебников был «Председателем земного шара». Нечто подобное пробовали навязать и Бокштейну. Авторы Российской еврейской энциклопедии написали удивительно нелепое: «Бокштейн Илья Вениаминович (р. 1937, Москва), общественный деятель...»

Право, все врут календари!

Даже того, что в 1986 году в Израиле у Бокштейна вышла книга, там, в России, не знали и в 1994-м!

Странность судьбы Ильи Бокштейна уже сегодня сделала его легендой. Константин Кузьминский, создатель многотомной антологии поэзии авангарда, подарил Бокштейну книгу своих стихов с надписью «Первому поэту Израиля от пятого поэта Ленинграда». Надо знать Кузьминского, любителя полутонов и оттенков, чтобы оценить столь категоричное заявление.

Михаил Генделев написал так: «...Все генеральные компоненты подлинного поэтического гения в Илье Бокштейне наличествуют: герметичность сознания, безумие, талант, темперамент. Все дело только в пропорциях...»

Илья Бокштейн посвятил Генделеву стихи. Генделев (по словам Бокштейна) как-то признался: «Без тебя мне было бы легче». Оставляю читателя с этой фразой наедине.

Илья вспоминает: Кузьминский увидел стихи с посвящением Генделеву и на долгое время с ним, с Ильей, порвал. Почему? Неизвестно. Указующие персты отпечатков не оставляют.

Послесловие Кузьминского к стихам Бокштейна скорее походит на некролог: «Слава Богу, его (т. е. Бокштейна) хоть помалу, но регулярно печатает журнал «Время и мы», а то и не знали бы о существовании безумного и гениального, нищего поэта, пробавляясь ахматовскими прилипалами...»

Илья Бокштейн, возникнув пару лет назад, так же и пропал, и где он, и что он — не знаю. Остались три его рукописные тетради, тексты из которых приводятся факсимильно и — выборочно — в перепечатке.

Как сказал один остроумец: «И бесправным положением можно злоупотреблять».

Творчество Ильи Бокштейна, как правило, адресуют специалистам. Сам Бокштейн разделяет такую позицию. Считает, что многие стихи предназначены исключительно для самого автора. Единственная факсимильно изданная его книга «Блики волны» удивительно, редкостно красива. Рисунки оригинальны, почерк создает некую ауру, а все

вместе — тайну, за которой просто нельзя не ощутить эксперимента, своеобразной художественной концепции. Его рукописи ждут настоящего издателя, гурмана, знатока, библиофила (издатели первой книги, пожалуй, проявили такие качества вполне. Книга стала библиографической редкостью еще и потому, что «Блики волны» — это не только книга, а переживание книги, мироощущение, противостояние эмпирическому «я» художественно неповторимого).

Думаю, пройдет не так много времени и легенда о судьбе Ильи Бокштейна и мифы о его творчестве сольются.

За более чем десять лет после выхода «Бликов волны» Бокштейн написал тысячи стихотворных строк, философско-лингвистические, логотворческие работы. Осталось только прочесть. Издать...



Илья БОКШТЕЙН

НА КОЛЕНЯХ МОИХ ТИШИНА

краткая биография Ильи Бокштейна

Илья Бокштейн известен как поэт, эссеист, переводчик. Прожил в Израиле почти 30 лет.

«Ничем, кроме сочинительства, не занимался» — как он писал о себе.

Единственный сын Вениамина Бокштейна и Рахили Радинской-Бокштейн родился 11 марта 1937 года в Москве.

Отец его тоже родился в Москве, в 1902 году, в год, когда вся семья Бокштейнов получила «право жительства» в столичном городе.

Перед германо-советской войной 4-летний Илья заболел костным туберкулезом и вместе с диспансером был эвакуирован.

Выздоровевших детей вернули в Москву в 1948 году.

Отец умер в 1941 году, воспитывала его мать.

Окончил 7 классов школы, учился в техникуме, закончил Библиотечный институт. Занимался самообразованием в библиотеках Ленинской и Исторической, интересовали его литература, философия, история. Вошел в круг московских авангардистов.

В 1961 году выступил на площади Маяковского, где собиралась молодежь послушать поэтов, с речью о необходимости преобразовать жизнь в государстве.

Был арестован и сослан в Потьму — Мордовию. Освободили в 1966 году. Ему, осужденному по 72 статье Кодекса, отказали в прописке. Рахили, его матери, потребовалось оформить опеку, чтобы он мог проживать в родном городе.

Ютились в одной комнате коммунальной квартиры. Илья писал «в стол», не общался со старыми знакомыми, опасался нового ареста.

В 1971 году уехал в Израиль, поселился в Яффо. Вошел в круг русскоязычных писателей, печатался в газетах, и журналах: «Время и мы», «22», «Круг», «Алеф» и других.

В 1986 году вышла книга его стихов «Блики Волны», был принят в Союз израильских писателей.

Два творческих вечера в 1986 и 1992 гг., выступления с чтением своих стихов в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе создали Илье популярность в стране.

Стихи Ильи Бокштейна включены также в наиболее авторитетные Антологии русской поэзии 20-го века.

Он работал над новыми книгами стихов, теории стихосложения, но не успел их завершить.

Умер неожиданно, 18 октября 1999 года, от абсцесса мозга.

Похоронен на городском кладбище Аяркон, в Тель-Авиве.

Подготовила к публикации Мина Лейн по данным своей книги «Генеалогия семьи Бокштейн», версия 1998 года.

ДИЛЛЯР 1

Дверь мою чуть приоткрыли лучи
от окна лучелики часы на столе.
На коленях моих тишина,
словно уснувший сын.

На плечах чепухи возрождение
На безлюднице рыбы умны
Не суди о народе по гению
В историческом становлении
Все народы глупы и грязны.

Оботру твои ноги
А в лицо не взгляну
Свет небесный с дороги
Присмотрелся к окну
Предусмотрена юность
Пересмотренных книг
Под склоненной главою
Тих сияющий лик.

Смех на мосту
Цветы из темноты
Мы есть
Смерть есть —
Смеющиеся рты.

Дальтемп «Красота»
Красота — равновесье повесья и песни
Красота — равновесье унынья и вести
Красота — повсеместье вестей равновесья.

Дальтемп «Искусство»
Искусство — двери потолка
Слеза на скатерти цветка
Искусство — искры потолка
Звезда на дне неба цветка
Искусство — утро потолка
Иисус слезою тростника.
Красота от грозы далека
Безобразна кипящая мука
Как высоко на нас свысока
С неба смотрит Богиня безрукая.

ДИЛЛЯР 2

Знанье — орнамент на знамени
Жизнь — цветок на снегу
Ум — оформление пламени
Гений — улыбка в гробу.

Вдохновлению готовь
Академию в гробу
Одиночество — любовь
Обманувшая судьбу
Обозрения азы —
Озарение в туман
Одиночество — любовь
Обманувшая обман.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АРОНЗОНА

Здесь кроме тишины кого-то нет,
Кого-то нет, застыло удивленье.
Струится дождь, как с листьев тонкий свет
Намокший лист — зеленое затмение.
Намокший лист — намек освобожденья,
Разрыв, теперь мы людям не чета,
Теперь мы чуть — от ветра отклоненье,

Хоть ветра нет, есть чистота листа.
 Здесь кроме тишины поэта нет,
 Последних листьев наводнение,
 Проходит дождь, как с ветки тонкий свет,
 Как таинство его освобождения.
 Он понял: здесь не нужен парабеллум,
 Ни мрака на душе, ни вспышки гнева,
 И счастье здесь не стоит птичьего хвоста.
 Здесь ничего не нужно, —
 В такт тишине растаять.
 Мокнет красота. И капли тяжелы,
 Как свежесть чутко белая;
 И капли тяжелы, как свежесть —
 Шутка белая,
 Не помню: осень ли,
 Весна с дождя слетела
 Запомнить след летящего листа.

ВЕСНА

Друг приходи я жду одна
 Вокруг тишина ночная
 Одинокий круг
 В тиши едва мерцает
 Ожидает звезд-подруг
 Подружились звезды с тишиной
 У которой шелест над водой
 Видно ветер за рекой текуч
 Ищет веер с ветки тонкий луч
 Свист весенних сосен, где прочла?
 Флюгер-флейта флигеля с угла
 Скоро ночь рассеется, смотри:
 Стали синими цветенья фонари
 Выходи светла вокруг села
 Вышина ночная
 Одинокий круг синеет,
 Не мерцает!
 Порицает звезд-подруг.

22 марта 1988

Лист комедий по планете ходит
 Миской снеди метить в короли
 Улыбнуться при любой погоде
 Поскользнуться — лютня на проходе
 Ввысь стремятся — в сон уходят
 Лики линии любви
 Апрель (?) 1988

ПЕРЕВОД ИЗ

Ф. Г. ЛОРКИ

«РОМАНС СОМНАМБУЛО»

Зелень — любовь моя,
 зелень любимой,
 зелен ветер, зелены ветки,
 и лошадь из ветки сияет.
 И качаясь по грудь в тумане,
 чудопечаль у перил сидела,
 зелены волосы, зелено тело,
 глаза — серебро лучинок.
 Зелень любовь моя,
 зелень любимой.
 Лютня на месяц выйдет.
 Весь мир мелодию ищет,
 но мира любовь не видит.

ДИЛЛЯР-2

Это не ад. Это город,
 это не смерть, это смех
 у забегаловки.
 Вижу речи оборванных
 цветений

на дистанциях беспредельных
в лапке кошки раздавленной
свернувшим лимузином.

Вижу пение — оркестр ресторана —
огромночервь, сосущий сердце
девочки голодной.

...«Я никогда не возьмусь за перевод, зная, что он будет слабее оригинала. Перевод должен быть лучше или равноценен оригиналу, разумеется, используя богатство образной системы конца двадцатого, и премудрости современного модерна рубежа XX-XXI вв., т. е. за счет авангардистской революции в сознании (а двадцатый век — век авангарда).

Современный эквивалент, непере译имый перевод, должен быть богаче оригинала по мыслеобразу и по звукопластике вместе...»

(Из письма Ильи Бокштейна к Мине Лейн от 21.01.99 года)

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА МИНА ЛЕЙН

11 МАРТА 2000 ГОДА. ХАЙФА



Сергей ШАБАЛИН

МОЙ ПУТЬ НАРУЖУ

А. Баденкову

Просматривая ветхие тома,
я не ищу спасительных подсказок.
Мой опыт безнадежно-однообразов.
Абстрактен, как свобода и тюрьма.
Я перестал что-либо понимать
в героях дня, в метаморфозах наций,
в цикличности бунтов и коронаций,
в словах: импичмент, кризис, компромат...

Просматривая ветхие дома,
я не могу найти чердак и выход.
Мой путь наружу из ошибок выткан.
Блажен, кто невзначай сошел с ума.
Любимый пес двора — глаза навывкат —
вчера пролаял: В городе зима!

Ошибся пес. Осенних похорон
не кончился сезон преступно-яркий.
За окном проплывает горьковатый дымок Пролетарки,

а под ним субмарины до боли знакомых ворон.
Я жил в Нью-Йорке, а теперь в Москве —
все возвратилось на круги своя недавно.
Что-либо понимать в своей судьбе
я разучился, а в чужой подавно.

Просматривая новые глаза,
я не надеюсь обрести в них света.
Я наложил на ожиданья вето
и прошлое спустил на тормозах.
И все смешав: асфальт и облака, —
я горизонт назвал одним из флангов.
...Но продырявив сумрак бумерангом,
покинул место звездного броска.

ИТОГ

Р. Д.

Мы встречались в венгерском кафе
(Возле церкви Сент-Джон де дивайн)...
Ты годами лежал на диване.
Я рывками исследовал свет
Под дыряво-джинсовым стягом.
Древа жизни не худшая ветвь,
Ты ушел от подобных сует,
Став диванным бродягой.

Саморасправа! Аутодафе!
Кто мог тогда сказать тебе об этом?
Девчонки из венгерского кафе
Любили неприкаянных поэтов.
Я тоже ведь наследник эстафет
Щадящих нравов верхнего Вест-сайда.
Моя прямая и твоя косая
Смыкаются в надзвездной пустоте.
Совсем недалеко шумел "Вест-Энд"
В шестидесятых там цыганил Гинзберг.
Олег Калугин экономил гильзы...
Ты был моим непревзойденным гидом
В золе тех дней. Их дух, и кровь, и плоть —
Ты неспроста помалкивал о Боге.

Скучал по братству, но предвидел бойни
И умудрялся чуши не молоть.
В дневник моих неоднородных встреч
Я не вписал твой номер телефона.
Пусть горят на варварском костре
Книг записных никчемные колоды.
Я был уверен, не пройдет и года —
И мы с тобою встретимся в кафе.

Мне трудно озаглавить эту смерть —
Спешите жить, писать, публиковаться?
Не ждите невозможных реставраций
Того, чему положено истлеть.
Наверно, так. Но незачем мельчить
Ища итогов ветхие насесты.
На острие полуночной свечи
Еще горит полуденное сердце.
Это моя удача. Мой трофей.
Дождинка смысла в суши лже-ответов.
Глава написана. Я не хожу в кафе.
Тебя там больше нет. Итог лишь в этом.

* * *

Был каблук не сношен, и пиджак был клетчат.
Ключ порой попадал в замок.
Раньше было трудно, но намного легче —
даже музыку слушать мог.
Не давали мне визы в моих посольствах.
Это рок был, не западня.
Но я верил в бескровно-белое солнце
нежилого зимнего дня.
Раньше было проще. Попав на мины
бесполезных житейских войн,
я открытость ран лечил у камина,
сердобольный дуря конвой,
из подруг состоявший и добрых прочих.
О лучах говорил я им.
Но теперь я в солнце верю не очень,
как и в пасмурный мир под ним.

Раньше было легче — гора окурков,
 море водки, глубинность тем...
 А теперь мне жалко родных придурков,
 что пришли на порог не с тем.
 А меня и вовсе жалеть не надо.
 Раз не смог я, распутав нить,
 разглядеть в себе роковой диагноз
 нежелания просто жить.

АЭЛИТА

Серый день над Берсеневской набережной
 Тлеет в створках оконных матриц.
 Подмастерье в часовне марта,
 Я коплю его краски набожно.

И под медленный снегопад
 Исчезаю в стране намека...
 Мирки снежинок
 нехотя
 летят
 В копилки окон.

Мирки снежинок и людей мирки —
 Непостоянство. Немощность. Забытость.
 Но есть других речений моряки,
 Творцы иных течений, Аэлита!

Ловкач-артельщик не напишет лик твой —
 Актриса недоходного кино.
 Для нас земная быль — дневник конфликта
 (Это любви несчастное звено.)

Ты одна в моем храме ЖЕНЩИНА.
 Остальное — ошибок мгла.
 Шириной в Атлантический трещина
 Над Берсеневской пролегла.

Я провожаю шар твой в сгустке пламени,
 Отслеживая звездные кульбиты.
 Прости полупрозревшего землянина.
 Пошли ему удачу, Аэлита.

РЯЗАНЬ

Когда Москву уютит солнце ревностно,
 В Рязани дождь угрюмо-проливной.
 В рязанях не загадывают ребусы,
 Которые решить не суждено.

Суровый вождь над треугольной площадью
 Ласкает сердце вечностью совка.
 Бельишко так не "рыночно" полощется
 За рыжим торсом бывшего ДК.

В неведение есть толика спасения.
 Здесь не прижилось слово "банкомат".
 Зато есть водка имени Есенина,
 Но не высокой пробы, говорят.

Последний пел посконную Рязанщину,
 Но устремил в столицы паруса.
 Вначале это было партизанщиной —
 Художнической выходкой С. А.

Потом не состоялось возвращение.
 Не ступишь дважды в тот же наворот.
 Хотя Рязань живет не по Есенину,
 Бог только знает, чем она живет.

Есть высший сюр в уездности без примеси,
 Когда не виден взлет и мягок скат.
 В Москве ревут финансовые кризисы.
 В Рязани — небо, а под ним тоска.

А также осень безучастно-желтая.
 И Кремль в укусах от татарских стрел.
 Центральный рынок. Смертные с кошелками.
 И несколько поэтов не у дел.

Здесь не играют в горе-коалиции
 И в горны из картона не трубят.
 Привет тебе, российская провинция,
 Терпящая столицу и себя.

Ночь шарманку апреля вертит —
 не сфальшивив, подпеть весне бы.
 Подмастерье искусства ветер
 разминает сырое небо,
 с волн скуластых снимая слепки.
 Скульптор молод, когтист, запальчив.
 ...Океан готовится к лету —
 к рейдам яхт и к ногам купальщиц.
 Хорошо по пустому пирсу
 променадить под ночи шепот.
 Дальних кранов вдыхая пiski
 и бессмысленной жизни копать.
 В ночь, когда до старости дюны,
 но и юность давно в отбое,
 пролистать свой дневник безумий,
 констатируя факт, не боле.
 И не множить проклятий сигмы,
 от вселенского зла добра.
 ...Бесконечно прохладна синька
 ненадежных небес апреля.

ВЛАСТЬ. ОБЩЕСТВО
 И СВОБОДНЫЙ РЫНОК



ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

КОМУ НУЖНА ДОРОГА, ЕСЛИ ОНА НЕ ВЕДЕТ К БАНКУ

Один странный человек, чьи смутные предсказания почему-то почти всегда сбываются, обронил недавно в случайном разговоре:

— Тревожное время. И поэтов не печатают, и банкиров убивают.

Задумчивую фразу вполне можно было принять за шутку. Я так и сделал. Тем более, что мой собеседник, седой, лохматый и рассеянный, вполне укладывался в традиционный для Москвы образ «городского сумасшедшего».

А буквально на следующий день генеральный директор небольшой благополучной фирмы, умный, деловитый и, в общем, процветающий тридцатипятилетний «новый русский», заехав ко мне посоветоваться, вдруг спросил без связи с предыдущим:-

— Скажите, а вам совсем не страшно?

Я добросовестно прислушался к себе:

— Вроде, нет. А чего надо бояться?

— Вы не чувствуете, что что-то происходит?

— Что?

— Вот вам, например, не стало жить хуже?

Я пожал плечами:

— В чём-то да, в чём-то нет.

— Но ведь десять лет назад, — настаивал собеседник, — писателей вашего поколения знала вся страна. Мы выросли на ваших книгах. Вы были для нас каким-то ориентиром. А много ли вас читают теперь?

Об этом я думал немало и поэтому ответил, не задумываясь. Да, литература и искусство потеряли свое уникальное влияние на российскую жизнь. Но это в значительной мере справедливо. Не потому, что поэзия или музыка были или стали плохими — вовсе нет, даже в годы диктатуры в стране было создано великое духовное богатство. Пастернак и Эйзенштейн, Шостакович и Уланова, Коненков и Смоктуновский считались бы гениями в любую эпоху и в любой стране. Справедливость в ином.

В течение десятилетий люди искусства занимали в России высшие ступеньки на лестнице престижа. Зато, например, на человека, умеющего «делать деньги», смотрели как на жулика, лишь в силу нерасторопности властей временно пребывающего на свободе. «Делец» было словом ругательным. А что такое «делец»? Всего лишь «бизнесмен» в буквальном переводе. Так вот, разве было бы справедливо, чтобы я одной лишь принадлежностью к литературе всю жизнь вызывал восторженные придыхания, а мой приятель, экономист, до пенсии ходил в бедных родственниках, не возбуждая в окружающих никаких эмоций, кроме жалости? Колесо фортуны повернулось, богиня удачи, тридцать лет благоволившая мне, заметила, наконец, и моего знакомого. Он нынче банкир, во дворе дачи сауна, бассейн и пять машин, в доме два телохранителя, на дне рождения толпа гостей — от народного артиста до маршала. Ну и слава тебе, Господи, пусть полностью получит свой паёк везения, лишь бы не спился от упоения новой ролью...

Спорить мой молодой собеседник не стал. Но вряд ли я его убедил, потому что он сказал со вздохом:

— Вчера подсунул сыну Есенина. Еле заставил читать. А я его в школе в тетрадку переписывал...

В общем-то, я оптимист. Как правило, оптимистами людей делает либо глупость, либо осведомленность: дурак просто не видит опасность, осведомленный человек видит ее, но оценивает точно, не преувеличивая. Хотелось бы верить, что мой оптимизм второго рода. Вроде бы, неплохо ориентируюсь в движении жизни и считаю, что серьезных поводов для паники, к счастью, пока нет. И не в том радость, что власть ведет нас верной дорогой, а в том, что с каждым годом и месяцем мы всё меньше зависим от мудрости или дурости власти. Уже миллионы людей находят в жестком хаосе рынка свое место, свой заработок, свою перспективу, строят кто дом, кто шалаш и при всех сложностях ни хлада, ни глада больше не боятся. Крупные и мелкие, казенные и частные предприятия медленно, тихом да ползком, приобретают конкурентоспособность. Фермеры покрепче и поупрямее становятся на ноги, бесчисленные садоводы-огородники осваивают землю вокруг городов и рынки в городах — каждый вертится, как умеет. А в результате прилавки заполнены товарами, услуги, прежде такие дефицитные, сами стучатся в дверь или бросают рекламки в почтовые ящики. Словом, жить можно. И ситуацию в стране я кратко определил бы так: нормальная болезнь с перспективой нормального выздоровления.

А самое, возможно, обнадеживающее: Россия наконец-то вписывается равноправно в мир, живущий по человеческим законам. В нас уже не видят только страну-разбойника, наша молодежь свободно ездит по белу свету, а иноземные инвесторы, пусть помаленьку, осторожно, трусовато щупая воду босой лапкой, но всё же глубже и глубже входят в порожистую реку нашей нестандартной экономики.

Так почему же многих совсем не глупых людей всё не покидает ощущение тревоги, пусть даже эту тревогу они не могут достаточно ясно выразить?

Может, действительно, в стране что-то происходит?

Пожалуй, что-то все-таки происходит. Существует не очень приятная для уравнилелей, но, боюсь, неизбежная закономерность: чтобы у страны всё было в порядке, нужно, чтобы всё было в порядке у ее богатых людей. Что

хорошо для «Дженерал Моторс» — хорошо и для Америки. Процветает «Вольво» — процветает Швеция. Да и я опасаюсь, как бы на ВАЗе не остановился конвейер, потому что хоть каким-то рогом эта напасть боднет и меня. Богатые платят солидные налоги, богатые создают рабочие места, вокруг богатых, независимо от их желания, возникает своеобразная зона благополучия: так крупный завод обогащает город, а курортная зона помогает подняться окрестным деревням.

Короче, пусть им будет хорошо, тогда, авось, и нам станет лучше.

Но вот вопрос: хорошо ли сегодня в России нашим богатым?

В чём-то неплохо, даже очень неплохо. Швыряют в ресторанах зеленые сотни. Ездят на лимузинах с гоночным запасом скорости. Летают купаться на Канарские острова. Строят виллы с башнями почти кремлевской высоты. Платят огромные деньги, чтобы вещать по телеку, причем так часто, будто дома и бесплатно их никто слушать не хочет. Словом, хозяева жизни.

Конечно, при «диком» капитализме и капиталисты «дикие», им еще только предстоит понять, что дорогой красный пиджак, дорогие зеленые брюки и дорогие грязные туфли не составляют дорогой ансамбль, что домашний ужин приятней ресторанного и что самая громкая музыка не обязательно самая лучшая. Но это дело наживное. И можно бы надеяться, что всё наладится само собой, если бы...

Этот парень был фантастически везуч. В двадцать два он стал богатым, в двадцать три открыл свою фирму, в двадцать четыре был избран президентом не самого слабого банка. Он хорошо одевался, хорошо говорил, интервью с ним охотно печатали газеты. В общем, был такой «новый русский», хоть плакаты с него рисуй.

В двадцать пять он был убит двумя пулями у выхода из банка. Сработал профессионал, телохранители и шелонуться не успели.

Два щелчка снайперской винтовки опрокинули логику жизни и расшвыряли осколки. Великолепное начало судьбы

теперь выглядит бессмысленным и жалким. Какое значение имеет сегодня, сколько миллионов осталось на счетах убитого и сколько туалетов было в его загородном доме? Какая разница, сколько проектов он начал, если ничего не довел до конца? Он ведь практически и не жил. Времени не хватило ни на друзей, ни на женщин, ни на путешествия, ни на ананасы в шампанском. Всё в спешке, наскоро, на бегу — работа, работа, работа. Любовь, радости жизни он откладывал на потом. Увы, «потом» — не получилось...

Хозяин жизни? Да, в каком-то смысле так оно и было. Но на кладбище нет богатых, есть только богатые памятники. С каждым месяцем таких памятников на престижных погостах России всё больше.

Богатые очень не любят, когда их убивают. Они пытаются разными способами обезопасить себя от непоправимых неприятностей. Нанимают телохранителей. Ставят сейфовые двери в квартирах, на дачах, в офисах. Покупают машины, похожие на броневики.

Это помогает, но мало.

Да, пьянчуга на улице не обхамит, мальчишки во дворе не сорвут меховую шапку, начинающий домушник не проникнет в пустую квартиру. Но профессионал знает, как обходить препятствия. Ну, сегодня упустит, завтра не поймает — но через неделю-другую все равно улучит момент. Киллер дорожит репутацией, он человек слова.

К тому же бизнесмен не один на свете: жене тоже нужны телохранители, и детям нужны, и любимой собаке на улице впору надевать не намордник, а бронезилет. Логический финал этого пути — жизнь в бункере и передвижение в танке.

Не случайно всё больше наших удачников отправляют семьи в очень далекое зарубежье, надеясь, что тамошние мафии цивилизованней наших. Но жизнь на два дома сжирает кучу денег и приносит мало кайфа, бесконечные перелеты и недосыпы не обещают ничего, кроме ранней гипертонии.

Эмигрировать? Сорвать куш и поискать страну на порядок лучше?

Это можно. Но сам ты станешь там на порядок хуже: богатый чужак всё равно чужак. Ну-ка найдите на карте державу, где хлеб эмигранта сладок. Даже имя, немало говорившее на родине, в чужой стране не значит ничего: где, кроме Рязани и Смоленска, остро необходим мистер Ивановф?

Из изложенного приходится сделать парадоксальный и трагикомический вывод: ценой огромных усилий наши отечественные бизнесмены постепенно создают страну, в которой им плохо и страшно жить.

Ну, не нелепость ли? Разве такая игра стоит свеч?

Мы не первые, кто напоролся на эти проблемы. Практически во всех развитых странах происходил когда-то тот же самый процесс: первоначальное накопление, «дикий» капитализм, рост преступности, поиски индивидуальной безопасности и осознание непреложного факта, что задача решается как-то не так. Есть беды, от которых, как от наводнения или войны, не уберешься в одиночку — ни личных плотин, ни семейных дивизий не бывает.

Жестокий компьютер истории давно просчитал и обобщил все варианты.

Ужесточить наказания? Но даже к казням привыкают, как привыкают ко всему на свете, жестокость закона лишь провоцирует жестокость преступника. Обычно приводят хрестоматийный пример, совершенный, как притча. В средневековой Италии участились грабежи на дорогах. Чтобы обезопасить купцов, решили грабителей казнить. Беспощадный закон оказался действенным, но ударил по купцам: преступники, в любом случае попадавшие под «вышку», стали не только грабить, но и убивать.

Призвать к власти «твердую руку»? И это бывало. Но диктатура никогда не устанавливает порядок, она лишь меняет форму беспредела. А государственный беспредел куда хуже бандитского — на него жаловаться некому. В той же Италии Муссолини загнал мафию в подполье, но он же загнал свою страну сперва в концлагерь, потом в войну, потом в поражение, в хаос и голод. «Твердая рука»

Гитлера вообще на сорок пять лет уничтожила Германию как государство. К чему привел «порядок» при большевиках, мы знаем слишком хорошо.

Нет ничего страшнее для народа, чем государственная мафия, это лекарство куда хуже самой болезни.

Увы, простых решений в борьбе с преступностью не бывает. Если «хозяева жизни» хотят безопасности для себя и своих детей, им приходится менять не правоохранительную систему — им приходится менять всю страну.

Я плохо верю в альтруизм богатых. Конечно, среди них есть разные люди, в том числе, и очень хорошие. Они любят свою страну, людей, искусство. Но и они не могут не думать о прибыли, как актер об успехе, спортсмен о победе, а политик о власти. Настоящий предприниматель никогда не станет делать то, что заведомо невыгодно.

Именно богатые люди реально управляют любой страной: они могут поддержать или отвергнуть политика, купить газету или телестудию, направить общественное мнение в любую нужную им сторону. Почему же во всех развитых странах, перепробовав разные методы управления, они поддерживают демократию, тратят огромные средства на социальную защиту населения и непременно заботятся о культуре?

Всё достаточно просто.

Богатые не хотят жить в завистливой, озлобленной, опасной стране. Они не хотят, чтобы кварталы, окружающие их дворцы, исходили ненавистью. Не хотят ежедневно наткаться взглядом на бомжей и попрошаек.

А больше всего они не хотят, чтобы их убивали.

Не бывает безопасных машин и квартир, домов и кварталов. Бывают только безопасные страны. Премьер-министра Швеции Улофа Палме убили на улице, но эта трагедия лишь подчеркнула тот факт, что Швеция безопасная страна, потому что там премьер-министр может вечером пойти с женой в кино пешком и без охраны. Скоро ли мы доживем до такого? Безопасна не та страна, где много телохранителей, а та, где их нет вообще.

Вряд ли возможно полностью искоренить преступность. Всегда найдется ревнивец, безумец или заезжий гастролер, норовящий решить свои проблемы с помощью армейской винтовки или кухонного ножа. Но в благополучных странах сделано всё, чтобы преступление ни для кого не стало необходимостью.

В той же Швеции или Австрии даже самый бедный человек, по каким-либо причинам не желающий работать, получает минимум, достаточный, чтобы прожить. Защищая неимущих, состоятельные люди защищают и себя от самой отчаянной и неизбежной голодной преступности.

Почему все устойчиво процветающие страны по форме правления — демократии? Да потому, что именно демократия гарантирует стабильность, спокойствие и порядок. Правительство, избранное народом, во много раз авторитетней назначенного монархом или диктатором. В Англии и Франции, чтобы сменить непопулярную власть, народу достаточно прийти на избирательные участки, а в каком-нибудь Ираке или Ливии ту же задачу не решить без военного переворота или народного восстания; выбор страшноватый, но диктатура иного не предусматривает. Будь в начале века в России выборный правитель, не понадобилась бы ни одна из трех революций.

Коммунисты не дали народу свободу и не обеспечили его социальную защиту, капиталисты сделали и то, и другое. Не потому, что такие хорошие. А потому, что, заботясь о собственной пользе, умеют просчитывать позицию на три хода вперед.

Проблемы, о которых шла речь, сложны, но понятны, а значит решаемы. Был бы здравый смысл, да деньги, да время, да опыт, который как раз и приходит со временем.

Но в России происходит еще что-то, что гораздо трудней понять. А следовательно, и решить.

Я имею в виду невероятную нравственную неразбериху, вносящую уродливые коррективы в самые продуманные действия и властей, и предпринимателей.

Когда-то Маяковский свое стихотворение для детей назвал почти директивно: «Что такое хорошо и что такое плохо». Нынче ему было бы куда сложнее давать указания и детям, и взрослым.

На наших глазах быстро и хаотично меняется общественная оценка профессий, поступков, стимулов. Да и общество расколото на множество групп. Практически нет ни добра, ни зла — всё дискуссионно.

Совсем недавно проститутка одиноко стояла на самой низшей ступеньке престижа. Вокзальная бедолага там и осталась. Зато ее валютная коллега теперь свысока по-сматривает на медсестер, учительниц и даже рублевых киноактрис.

Известно, что грабить плохо. Но рэкетир, обирающий мелких торговцев, искренне считает себя карающим мечом социальной справедливости. Охранник с понедельника по четверг бережет от погрома вверенный ему офис, а в пятницу по приказу шефа идет громить чужой — опять же во имя справедливости.

Молниеносные карьеры политических ничтожеств, стремительное обогащение явных посредственностей убеждают миллионы людей, что не ум, не труд и уж тем более не честность ведут нынче к успеху.

Помню забавное интервью. Отставного генерала КГБ, ведавшего прежде хозяйственными делами Совета Министров, спросили, не собирается ли он возвращать торопливо «приватизированную» перед уходом с должности казенную дачу. Генерал реагировал своеобразно: мол, всю Россию разворовывают, а вы к моей даче прицепились. Мнение сограждан легко угадать: раз уж генералы тащат, простому люду сам бог велел...

К сожалению, у нынешней безнравственности глубокие и прочные корни. Ложь, казнокрадство, взяточничество, холуйство и пьянство процветали при монархии, русская классика тому неподкупный свидетель. В семнадцатом большевики напрочь отбросили и без того не слишком прочную религиозную мораль. Новая, коммунистическая, была определена лукаво: всё, что способствует победе коммунизма. Вскоре выяснилось, что жестокость, предательство и подхалимаж способствуют и весьма. Но и этот, кое-как слепленный свод правил, просуществовал недолго. При Брежневе партийная верхушка изворовалась вконец, и после августовского путча 1991 года ком-

мунистическую мораль никто не ломал, поскольку ломать было уже нечего.

Самая разумная экономическая система вряд ли сроботает, если не поднять общественную нравственность.

Некоторые политики и журналисты пытаются сегодня возложить эту задачу на церковь: ей, мол, положено заботиться о духовном здоровье, вот пусть этим и занимается. Но реальны ли эти надежды? У Православной церкви в России нелегкая история. Сперва монархия подчинила ее себе, превратив в идеологический департамент правительства, потом нагло и грубо давили большевики, беспардонно пропихивая на влиятельные посты кадровых офицеров КГБ. Так что церкви сегодня, дай бог, со своими делами разобрататься: наладить мир между разными ветвями православия, освободиться от завербованных некогда иерархов, унять энергичных политиков, напористо лезущих со свечками в телеобъектив, защититься от очень деловых людей, которым что христианство, что мусульманство, что язычество, лишь бы не упустить миллиардные заказы на стройке храма Христа Спасителя. Церковь в такой же беде, как и все мы, она сама нуждается в помощи.

Вместе с тем, и при царях, и при генеральных секретарях российское общество на чём-то держалось. Даже в самые тяжелые периоды нравственные ориентиры всё же были. Их устанавливала, пожалуй, единственная внесударственная, с каждым десятилетием всё более независимая сфера деятельности — культура. Если Третьяковского могли унижать, Пушкина ссылать, Полежаева отдать в солдаты, а Достоевского держать в тюрьме, то к концу девятнадцатого века всё изменилось: один Лев Толстой значил для общественного сознания больше, чем царская фамилия в полном составе. Общественные приоритеты сформировались: в стране Пушкина, Чайковского, Герцена, Чехова стал просто невозможен нравственный беспредел.

Даже при большевиках партийная печать могла врать без передышки, но миллионы людей ловили каждое слово Паустовского, Эренбурга, Твардовского, Солженицына, Окуджавы, Высоцкого. В болоте реальности существовали

прочные вехи нравственной стабильности, люди, чьими именами гордились. А где есть гордость, есть и стыд, удерживающий от совсем уж непотребных поступков.

Сейчас многое изменилось. Едва ли не для большинства молодых россиян эталон успеха нынче — преуспевающий, то есть богатый бизнесмен.

Это опасно. В первую очередь — для самого бизнесмена. Шальная удача выводит его на линию огня в качестве мишени. Дня не проходит без криминальных событий, жертвами которых становятся президенты, вице-президенты, генеральные директора или председатели правлений.

Объясняют этот направленный отстрел по-разному: и рэкет, и происки конкурентов, и кара за невыплаченные долги, и внутрифирменные разборки, и просто — с целью грабежа. Вероятно, все эти объяснения в той или иной степени обоснованы. Но к перечисленным мотивам хочу добавить еще один, не столь очевидный, но, возможно, самый универсальный. Убивают всяких людей, от бомжей до журналистов. Но на разные бесчинства общество откликается по-разному. Если убивают пенсионерку, об убийце пишут: подонок. Если банкира — опытный профессионал. Если пуля находит фирмача или бомба поднимает в воздух «мерседес» с владельцем ресторана, широкие слои населения встречают новость с редким самообладанием. Не могу вспомнить случай, когда гибель бизнесмена вызвала возмущение, хоть отдаленно напоминающее взрыв эмоций после убийства Александра Меня, Влада Листьева, Димы Холодова или Галины Старовойтовой.

Увы, деньги не несут никакой нравственной информации, их можно честно заработать, но можно и выиграть в лотерею, найти на улице, получить за партию наркотиков, просто украсть. На деньгах следа не остается, поэтому и отмывают их не в стиральных машинах.

Конечно, в основе крупных состояний вполне могут лежать трудолюбие и талант. Эдисон был не только богатым человеком, но и гениальным изобретателем. Батя — не только миллионером, но и выдающимся организатором обувного производства. Дисней не только основателем знаменитой фирмы, но и великим кинорежиссером.

Но у нас, при диком капитализме, и капиталы все больше дикие, редко известно, откуда они возникли.

Вдруг посреди российской столицы прямо из асфальта выныривает очень молодой человек с кучей миллионов. Где взял? Заработал на собственной бирже с собачьим именем. А на какие шиши открыл биржу? Да как раз на те заработанные миллионы. А миллионы откуда? Так ведь сказано: с биржи. По чистой случайности юный супербогач носит ту же фамилию, что и бывший хозяйственный босс Совета министров. И вот миллион ровесников уникального везунчика читают про всё это в газетах. Кто для них этот молодой человек? Финансовый гений? Да ничего подобного — просто парень, у которого полно бабок. А сумею я из него эти бабки вытрясти, я буду молодым миллионером, а он таким же нулем, как я сегодня...

Ход мыслей, увы, слишком легко угадывается. Нуворисество, вызывая зависть, не вызывает уважения. Сомнительные деньги, как и их обладатель, нравственной защиты не имеют...

Нобелевскую премию, самое престижное отличие нашей эпохи, учредил бизнесмен. Большинство премий в мире учредили бизнесмены. Могли бы с легким сердцем и поделить между собой.

Но — не делят. Важнейшие премии присуждают за заслуги в науке и культуре. Самые богатые люди планеты почтительно уступают место на вершине почета лабораторным кротам и бумагомаракам. Уступают, потому что опытни и умны.

Лишь в странах с высоким престижем культуры большой бизнес чувствует себя комфортно и безопасно: чужая слава охраняет его надежней бронжилета. А на линии огня находятся те, в кого стрелять бессмысленно и бесполезно.

Убийство знаменитого актера, поэта или живописца убийце ничего не даст: славу не отнимешь, книгу не присвоишь, на ролях, стихах и картинах несмываемое личное клеймо. Это только деньги переходят из кармана в карман, как проститутки из постели в постель. Так что охотникам за чужой славой не слишком везет, из них не

получаются даже Геростраты: ну кто сегодня вспомнит, как зовут убийцу Джона Леннона?

В гениальном Фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» старуха-грузинка задала свой простой и убийственный вопрос, повторенный потом многократно: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму»? Сегодня миллионы честолюбивых молодых людей выходят в жизнь с жестким вопросом в холодных глазах: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к банку»? И банкир для них — лишь помеха на пути к деньгам, что-то вроде охранника, которого надо убрать, или стальной двери, которую не худо бы взорвать.

Время от времени и взрывают...

Я очень люблю ездить по Подмоскovie: в деревнях и дачных поселках уже не десятками, а тысячами и тысячами растут великолепные дома, по нашим меркам — дворцы. Мне в таком никогда не жить, но я все-таки радуюсь: ведь эти замки с крылечками, башенками и черепичными крышами стоят на российской земле и никуда отсюда не улетят. Смущает только одно: в трехэтажных кирпичных палатах почти нет окон. А те, что есть, узкие, как бойницы, и едва видны за железными решетками.

К осаде готовятся?

Я верю или, точнее, очень надеюсь, что рано или поздно мы выстроим спокойное, стабильное, процветающее общество. Пока же, увы, все идет по парадоксальной формуле странного предсказателя: и поэтов не печатают, и банкиров убивают.

ЧЕЧНЯ, КОТОРАЯ НАС РАЗДЕЛИЛА

ПИСЬМО РАЗГНЕВАННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Они должны заплатить полную цену: объяснение с журналом после пятнадцати лет подписки

Я давний и верный подписчик журнала и когда-то с удовольствием читал «Новое время» от корки до корки. Теперь этого не будет — больше я подписываться не собираюсь. Многочисленные публикации о Чечне окончательно меня достали. Ультралиберальная маргинализация журнала, главным образом по чеченскому вопросу, сначала удивляла меня, потом стала возмущать, а сейчас не вызывает ничего, кроме глубокого отвращения.

Я занимаюсь научной работой, гарантией успеха в которой является полная объективность, и потому мне абсолютно непонятны однополушарные рассуждения публицистов журнала на чеченскую тему, с полным игнорированием одних фактов и выпячиванием других. Главный вопрос здесь: где причина и где следствия.

Почему-то в вашем журнале начисто забыли, что в Чечне изначально произошел успешный вооруженный мятеж и бандиты захватили гигантские запасы оружия на военных складах, пинком выгнав бессильные российские войска и милицию. Что оружие изымалось с применением наглого шантажа и унижения армии, когда офицерам сообщалось, что адреса их семей, имена детей и жен хорошо известны и если они не сдадут оружия, то последствия понятны. Дальше было по нарастающей: захват всей вла-

сти; превращение Чечни в заповедник безнаказанного бандитизма и беспредела, функционирующих в форме, умышленно издевательской в отношении России; геноцид и выдавливание беззащитного русского населения из чеченского «жизненного пространства». Было ясно, что никакие заискивания о разделении полномочий, исходившие от слабой России, дудаевцев не интересуют.

Этого что, не было? И есть хотя бы одна уважающая себя страна, готовая терпеть внутри себя подобную раковую опухоль? В «Новом времени» постоянно толкуют об упущенных возможностях и о переговорах — с кем? С захватившими власть в Чечне криминальными авторитетами? За годы геологической работы я, в отличие от ваших журналистов, насмотрелся на людей подобного типа в действии и знаю, что они не уважают ничего, кроме абсолютной силы. Какие бы басни они ни рассказывали приезжавшим в Чечню сочувствующим лопухам, рассуждения о компромиссах, договорах и консенсусах в западном стиле вызывают у них только гоготание и рассматриваются как признак слабости. И на права личности они смотрят по-своему, поскольку личностями считают только себя и членов своих тейпов. Им, по их разумению, можно творить все что угодно, а всякое сопротивление рассматривается как оскорбление кавказского достоинства и требует отмщения.

Но если проглотить психологически разрушительное для России унижение и дать Чечне независимость, то неужели в чью-то голову являлась мысль, что мы получим рядом страну мирных овцеводов и огородников во главе с Дудаевым, а не черную дыру, экспортирующую в Россию бандитизм, наркотики, оружие и умышленно разжигающую сепаратизм в мусульманских регионах?

Что продемонстрировала свободная Чечня своим соседям начиная с 1996 года? Полную неспособность к осознанной государственности; власть неконтролируемых банд; распад хозяйства; рабовладельчество — содержание русских на цепи и использование их в качестве подсобного скота; отрубание голов у беззащитных пленных; взятие заложников и торговля людьми; грабеж и насилие над

соседними областями, особенно над русскими, жители которых не объединены в родовые кланы; геноцид, этнические чистки и нечеловеческую бытовую жестокость; насаждение мусульманского фундаментализма; стремление к агрессии (Дагестан) и к отчислению Северного Кавказа от России. И что гораздо хуже, народ Чечни явно желал жить так и дальше, отстаивая паразитический, бандитский способ жизни любой ценой.

Поэтому выхода не было, ситуация решалась только военной силой, как с Ираком после захвата Кувейта. Все остальное было иллюзией, как бы красноречиво ни болтали профессиональные человеколюбы.

Кстати, давайте не будем смешивать две отдельные проблемы: вынужденную необходимость воевать и, с другой стороны, бездарность генералов, необученность и неподготовленность армии, предательство политиков и спекулянтов. Но другой армии и других защитников у нас нет, и времени на выращивание армии голландского типа у страны тоже не было.

Почему-то среди так называемых интеллектуалов, как только речь заходит о Чечне, считается неприличным смотреть правде в глаза и говорить о специфическом менталитете целого народа, национальными героями которого являются насильники и убийцы, а простые крестьяне считают нормальным держать и продавать рабов. Особенно другой национальности. А массовая, звериная, нечеловеческая жестокость чеченцев, когда убийства беззащитных пленных снимаются на пленку, тиражируются, кассеты продаются на рынках и с удовольствием смакуются теми самыми простыми людьми, которые сейчас ютятся в лагерях беженцев и чьим благополучием так озабочена прогрессивная общественность.

Поэтому мне представляется особо циничным бесстыдством позиция С. А. Ковалева и большинства авторов «Нового времени», изгаляющихся над трагической, неумелой, но неизбежной попыткой нашего несчастного государства подавить бандитский мятеж на своей территории.

Если чеченцы, включая молодых мужчин с гранатометами, почтенных старцев, размахивающих саблями, и вос-

хищающихся ими женщин и детей, осознанно выбрали для себя криминальный путь, загнавший Россию в абсолютно безвыходную ситуацию, — они должны заплатить полную цену. В «Новом времени» так, конечно, не считают. У вас полагают, что платить насильникам и заискивать перед ними должна нищая и униженная Россия. Пока именно так и происходит, и хуже всего, что приходится платить жизнями молодых русских ребят, что вызывает совершенно неприкрытое, радостное злорадство у авторов журнала. Ваши авторы полностью копируют пораженчество большевиков в Первой мировой войне и позицию Мережковского и Гиппиус во Второй мировой войне, когда ненависть к строю незаметно преобразуется в ненависть к стране и к своему собственному народу. Лично я не представляю себе ничего более аморального.

Естественно, ваш журнал не мог не защищать и Бабицкого. Я думаю, что если бы рядом с Чикатило действовал подобный жизнеописатель и фотограф, которого потом загребли вместе с ним, то либеральные публицисты стеной защитили бы и его. А как же, ведь журналист сам женщин не кромсал и не насиловал, а только присутствовал и отражал эти деяния как объективный факт, что является священным долгом честного журналиста! Здесь же можно запеть и другую фирменную ультралиберальную песню: разве не гнусно, не подло отнимать у Чикатило данное ему Богом священное право на жизнь? И виновен ли он лично? А если это карма? Или возможное нехорошее влияние «улицы» на Чикатило в детстве? Или злой учительницы, которая его обижала? Любопытно, продолжали бы ультралибералы, в том числе из «Нового времени», бубнить об аморальности смертной казни для патологических убийц, если бы Чикатило (или чеченцы) проделали с их дочерьми и их женами то же, что те проделывали с чужими детьми и с чужими женами?

Вообще я заметил, что на ультралиберальных интеллигентов влияет главным образом личный опыт, простые рассуждения им недоступны. Поэтому я не уверен, что Дубнов, Воронов, Мильштейн и Новодворская сохранили бы свой благородный прочеченский пафос, если бы поси-

дели пару месяцев на цепи в земляной норе с отрубленными пальцами.

Меня интересует природа неуправляемой тяги и симпатии образованных, информированных людей ультралиберального типа к народам с криминальной репутацией, чтобы те ни вытворяли, и их отказа докапываться до причин и истинных виновников таких событий, как война в Чечне или в Косово.

Но вернемся к Чечне. Я хочу высказать свое сугубо личное мнение о причинах того, что крайние либералы у нас и на Западе много лет лепят образ благородных чеченских борцов за свободу, якобы жестоко угнетавшихся в России все последние годы и наконец сбросивших иго, неважно, каким путем. Сопротивление чеченскому насилию для либералов — это неприемлемое, грубое, аморальное давление на беззащитных людей, которое должно быть безусловно осуждено. А применение военной силы против вооруженных до зубов банд, торгующих людьми, живущих воровством транзитной (чужой) нефти, грабящих своих соседей, терроризирующих оставшихся там несчастных русских, создающих тренировочные лагеря для убийц и террористов, действующих внутри России, — это жестокий геноцид.

И вот вселенский гуманист С. А. Ковалев* призывает ПАСЕ изгнать оттуда Россию, но не требует того же в отношении Турции, члена НАТО, которая делает точно то же самое, да еще вторгаясь на территорию Ирака. Кто-нибудь слышал от С. А. Ковалева, а также авторов «Нового времени» хоть слово сочувствия русским, варварски, еще до войны, изгонявшимся из Чечни. Что-то невразумительное Ковалев и «Новое время» произнесли насчет того, что не очень-то правильно было нападать на Дагестан, но тут же окрепшим голосом было высказано почти убеждение, что это — обдуманная операция спецслужб. И дома в Москве, разумеется, взрывали не чеченские прихвостни (хотя фамилии исполнителей вроде бы давно известны), а, скорее всего, это сделал «Кремль». И что-то я не читал у них осуждения чеченских зверей, режущих горло и отрубавших головы русским пленным и заложникам. Причина

* Известный российский правозащитник

совершенно понятна: как и Бабицкий, они считают, что чеченцы это делают для того, «...чтобы зримо, выпукло показать всем аморальность этой войны». Неисповедимы пути Господни: наше время породило уникальный типаж — либерала-вурдалака, полагающего, что он как воплощение благородства, чести и совести возвышается над остальным российским быдлом!

Во всем этом есть что-то патологическое. Такая аберрация, двойные стандарты, апологетика откровенных бандитов ставят меня в тупик. И те же самые ультралибералы, оправдывающие чеченских живодеров, агрессивно требуют отмены смертной казни для любых преступников и полных нелюдей, но никогда не высказывают жалости к их жертвам, за исключением случаев, когда жертвами становятся они сами.

Итак, в чем дело? По-моему, все лежит в чисто психологической области. По своим личным знакомым, по статьям ультралибералов я вижу, что у этих людей проявляется странное однополюшарное мышление, при котором втемяшившаяся в голову идея вытесняет способность критически и адекватно воспринимать действительность. Плюс к тому ультралиберальные личности обычно обладают истероидным, легко возбудимым характером, склонным к цветистому многословию и многописанию. У них хорошо подвешен язык, имеется бесспорный журналистский талант, легкое перо, высокий индекс интеллектуальности. Правда, все это тонет в каком-то неуправляемом словоблудии, в котором причины и следствия меняются местами. У них чего-то явно не хватает — какого-то твердого, равновесного стержня. И даже нельзя сказать, что они жестоки и аморальны (хотя из того, что написано выше, это вроде бы следует), просто у них селективная жалость и селективная мораль. По-видимому, для них является аксиомой, что малые народы всегда правы, а большие народы всегда виноваты перед малыми. Хотя, между прочим, коренные русские в Чечне — это как раз малая и исчезающая нация.

А как объяснить их глубинные симпатии к народам, у которых — неважно в силу каких причин — стиль существования практически криминальный, строй жизни клано-

во-феодальный (или рабовладельческий, как в Чечне) и в среде которых доминируют волевые, сильные и жестокие характеры? Я предполагаю, что такое тяготение возникает у цивилизованных людей с мазохистским синдромом, с подспудным желанием подчиняться сильному, не знающему сомнений и колебаний характеру. Я, конечно, не психиатр, но думаю, что для Зигмунда Фрейда здесь нашлась бы интересная работа.

И, наконец, российские ультралибералы все как один сдвинуты по фазе на тотальной ненависти к КГБ и к теперешней государственной власти как таковой. Что и говорить, оба этих института до сих пор давали мало оснований для любви и уважения, но можно же допустить, что государство иногда бывает и право.

Именно сочетанием этих факторов я объясняю позицию данной категории людей — и у нас, и на Западе.

Я с грустью прощаюсь с «Новым временем». Абсурдность и болезненная истеричность того, что преподносится журналом на чеченскую, косовскую темы, а заодно и про Путина, превысили все разумные рамки. Продолжайте, ребята, пишите и дальше сами для себя и для тех личностей, которые восторженно оповещают вас, что ваш журнал — самый умный, честный и правильный, и чьи письма вы так любите публиковать на второй — третьей странице. Так действительно и было, но только, по-моему, уже прошло.

*С. П. КОРИКОВСКИЙ, член-корреспондент РАН,
главный научный сотрудник Института геологии
рудных месторождений, петрографии, минералогии
и геохимии РАН МОСКВА*



Вадим ДУБНОВ

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ПОЛНУЮ ЦЕНУ ЗАВТРА?

Письмо читателя Кориковского — это больше чем письмо. Это — своеобразный памятник общественной мысли в России на рубеже XX—XXI веков. В десяти машинописных страницах выражено все, по чему можно будет когда-нибудь реконструировать эпоху, не сегодня, когда раны так зудят, а когда-нибудь потом, когда они станут бесстрастной историей. Читатель Кориковский написал манифест, под которым сегодня подпишется большинство населения России. И немалая часть наших читателей. Пора, пожалуй, объясниться.

Автор письма — давний наш читатель, и подозреваю, что сам он голосовал за правых, то есть считает себя либералом и свои отличия от тех, кого считает «ультралибералами», анализирует решительно и эмоционально. «Однополушарные рассуждения», «лживость», «холуйство» — в этом поименно обвинены авторы журнала, журнал в целом и в некоторой степени та часть российской интел-

лигенции, которая упорно не хочет видеть того, что видит читатель.

Поговорим о профессии. Геолог Кориковский тоже ездит в командировки, в частности, в Чечню и в Косово, потому что там, условно говоря, имеются полезные ископаемые, и, сидя в Москве, он никогда не узнает, как, на какой глубине и в каком количестве они залегают. Для достижения полной объективности в его распоряжении имеются проверенные научные методики и приборы. Геолог Кориковский добывает информацию, которую потом анализирует, и я никогда не позволю себе предположить, что он делает это недостаточно профессионально.

Мы тоже ездим в командировки, в частности, в Чечню и в Косово, потому что для нас информация — та же руда, до которой тоже не докопаться, сидя в Москве. И как Ваш профессиональный долг — изучить месторождение лично, так долг журналиста, например Бабицкого, — быть во время войны в Грозном. И вовсе не в качестве биографа тамошних чикатило, а в том же, в общем-то, качестве, что и Вы, геолог. Как журналист, он может Вам нравиться или не нравиться, но, гневно обличая его в том, что он находится ТАМ, по ту сторону, Вы просто требуете лишиться себя полной информации. Прячете, извините, от нее свое второе полушарие. Если лично Вы не хотите ее знать, Вы просто выключаете приемник или отказываетесь от подписки. Но Вы требуете большего: Вы хотите, чтобы в девственной неприкосновенности оставались вторые полушария и всех остальных.

Но такова его и наша работа: дать читателю информацию, которую он не знает и которая, по нашему убеждению, ему нужна. И Вы правы — гарантией нашего успеха тоже должна быть объективность. Но во имя этой объективности мы обязаны проверять все и общаться со всеми, в том числе и с теми, кому, поверьте, в нормальной жизни мы, возможно, не подали бы и руки. Как с той воюющей стороны, так и с этой.

В Ваших обвинениях даже само слово «либерализм» звучит почему-то обличающе. Но ценности, которые мы защищаем, даже не либеральные: эти ценности мы счита-

ем общечеловеческими, то есть нормальными. Да, мы против чеченской войны — во-первых, из соображений нормального гуманитарного свойства, а во-вторых, просто потому, что не считаем, "то с помощью войны можно решить те конкретные задачи, которые сегодня стоят, в том числе и в Чечне.

Мысль о том, что существуют народы с криминальной репутацией, мы, в отличие от Вас, общечеловеческой и нормальной не считаем

Читатель Кориковский пишет о геноциде русских в Чечне. Тезис расхожий. Только имеется один нюанс.

Принято считать, что ученые — народ бесстрастный и объективный, а пишущий люд эмоционален. Бывает, оказывается, и наоборот. Наши с Вами профессии имеют одно сходство: мы оба обязаны по-научному точно выбирать слова, и здесь не должно быть места эмоциям. Геноцид в международном праве понимается как «истребление отдельных групп населения, целых народов по расовым, национальным или религиозным мотивам» («Толковый словарь русского языка» под редакцией Ожегова). Русские в Чечне действительно попали в крайне тяжелую ситуацию — в отличие от чеченцев, практически каждый из которых мог рассчитывать на поддержку влиятельного родственника.

В силу разветвленности и многочисленности родственных связей, русские оказались совершенно незащитными перед новым суверенным чиновником, который изгонял с работы русского, чтобы взять родственника, перед бандитом, который понимал, что с чеченцем связываться гораздо опаснее. Это действительно был чиновно-бандитский беспредел, справиться с которым слабая дудаевская и масхадовская власть даже и не пытались. Но слово «геноцид» здесь ни при чем. Оборот «истребление целых народов» наверняка его бы несколько смутил. Но дело не в словах. Дело в том, что не Вы первый употребляете этот термин. Этим словом, обозначающим тягчайшее преступление против человечности, те, кто начал войну, пытались оправдать всю последовавшую жуть.

И им поверили. И как бы мимоходом, как само собой разумеющееся, Вы роняете: «Почему-то в вашем журнале начисто забыли, что в Чечне изначально произошел успешный вооруженный мятеж...» На самом деле изначально в Чечне были ермоловские методы решения чеченской проблемы, кстати похожие на геноцид, но в строго научном смысле им также не являвшиеся. Еще был 44-й год, когда чеченцев, и именно по национальному признаку, отправляли умирать в Казахстан. Геноцид? Тоже похоже, но тоже все-таки нет.

Мы упоенно конструировали сложные схемы, не замечая, что читателя уже давно и полностью устраивает самая простая. Мы упорно продолжали не называть чеченцев бандитами, а читатель в связи с этим считал, что для нас они — герои. Мы продолжали анализировать, а от нас ждали приговора. Или хотя бы ясной, желательной однозначной, оценки.

Однозначная оценка не обязательно неправильная. В чем и вся сложность. Мятеж Корикинский описывает так: «Бандиты захватили гигантские запасы оружия на военных складах, пинком выгнав бессильные российские войска и милицию...»

Все так. Просто это — только половина правды, которая значительно сложнее, и нам хотелось понять и рассказать все. Вторая половина никак не хотела укладываться в простую схему и вызывала отторжение. Мы писали о том, что оружие дудаевцы, конечно, захватили, и, конечно, это было унижительно, но, помилуйте, неужели Вы и впрямь считаете, что кучка, пусть даже бандитов может заявиться в воинскую часть и отнять все оружие? И его вот так просто отдадут, если на то не будет соизволения самого вышестоящего воинского начальника, просто-таки министра обороны?

Или не было 26 ноября 94-го года, когда поверившие посулам гэбэшных чинов танкисты горели в своих танках? А от тех, кто уцелел, сначала просто отреклись, а потом — ведь впереди были выборы — принялись по-воровски тихо торговаться с Дудаевым на предмет их вызволения.

Я был там в это время и все видел. И Грачев тогда пообещал Дудаеву, что войны не будет. А через две недели

она началась. Не получилось у Грачева разрешить накопившиеся — и никакие не конституционные, а попросту криминально-экономические — разногласия мирно.

Я ни в чем не упрекаю читателя. Я только очень давно пытаюсь понять природу этого массового забвения. С очевидными последствиями. Ведь в то, что нынешняя война — это контртеррористическая операция, Вы, кажется, действительно верите. Или нет?

«Что продемонстрировала свободная Чечня своим соседям, начиная с 1996 года? Полную неспособность к осознанной государственности; власть неконтролируемых банд; распад хозяйства...» Все правда. И тоже ровно половина всей правды.

Вместо сравнительно мирной реинтеграции Чечни в Россию (которая в 96-97-м еще была возможна) в Москве с самого Хасавюрта поставили лишь на реванш. Да, людей начали похищать еще в 96-м, но в таких количествах это тогда происходило в любом российском городе с более или менее развитым криминальным бизнесом. Можно было это остановить еще и в 97-м, и даже в начале 98-го, когда и.о. премьера Басаев интересовался, чего все-таки хочет Россия: отомстить ему лично за Буденновск или сохранить Чечню? Да, был Буденновск, но ведь отправляли же договариваться с Басаевым (то есть с и.о. премьера) руководители Северо-Кавказской железной дороги свои делегации, и те договаривались — в пределах, впрочем, своих крайне суженных Москвой полномочий, но поезда все-таки пошли. А пенсии не шли, и это не «Новое время», а сам Рыбкин в то время не понимал, почему большая часть договоренностей срывается именно Москвой. Можно спорить, избежала бы Чечня последовавших ужасов, но ведь переметнувшийся к радикалам Басаев упирал и на экономическую несостоятельность Масхадова, и Басаеву верили, и ничего не мог противопоставить этому и без того оказавшийся не де Голлем Масхадов.

О санитарном кордоне, который планировал Степашин, сегодня уже практически не вспоминают. Сам по себе он отнюдь не был идеальным мероприятием, но он хотя бы мог стать началом долгой и мучительной (а как иначе,

если столько времени было упущено) работы спецслужб, политиков и дипломатов. Но заработали генералы.

«Выхода не было — ситуация решалась только военной силой», — пишет Кориковский. То есть дело, выходит, даже не в московских взрывах, имена организаторов которых он почему-то считает известными. Дело в исходном тезисе. В «специфическом менталитете целого народа». В том, что народ Чечни — «деструктивная сила» и он «явно желал жить так и дальше, отстаивая паразитический, бандитский способ жизни любой ценой».

В этом месте наш спор перестает быть логическим. Для человека, во всем вышесказанном убежденного, у меня нет формальных доказательств того, что плохих народов не бывает, а примеры из истории его не убедят. А раз так, продолжает утекать сквозь пальцы наше единственное преимущество перед читателем — наша информированность, которой, как мы полагали, должны безоглядно верить как аргументу.

Мне интересно понять, как г-н Кориковский и все те, кто в немалом количестве готов подписаться под его манифестом, так легко пришли к убеждению, что все без исключения чеченцы «должны заплатить полную цену». Кстати, ради чего все-таки война? Чтобы покончить с терроризмом? Чтобы вернуть Чечню в Россию? Вернуть что и кого? Территорию? Народ? Территорию без народа?

Для решения конкретных политических задач война как инструмент бессмысленна. Если же речь идет о мести чеченцам, о «полной цене», давайте это вслух и признаем. И они ее действительно заплатят.

Только кому будет предложено ее платить завтра?

Большинство чеченцев, как и положено обыкновенным людям, ненавидят Ахмадова и Бараева и давно не считают героем Басаева. Вы спросите, отчего же они тогда их не сбросят, не помогут нашей армии? Во-первых, потому, что они за две войны разучились кому бы то ни было верить — сложился такой вот «специфический менталитет народа», а наша армия со своими бомбардировщиками и зачистками запомнилась на несколько поколений вперед. А почему терпят Басаева, почему не сигна-

лизируют о том, что в соседнем подвале прячут заложников? Да потому что боятся. У нас в многоквартирных домах бывает тоже кого-нибудь и что-нибудь прячут — многие решатся сообщить об этом куда надо? И потом, г-н Кориковский, мы ведь с Вами тоже принадлежим к народу, который очень долго боялся, но ни от кого не избавлялся.

Вы очень помогли мне своими размышлениями на тему Ковалева.

Дело не в Чечне. Не только в Чечне.

«...Вселенский гуманист С. А. Ковалев призывает ПАСЕ изгнать оттуда Россию, но не требует точно того же в отношении Турции, члена НАТО, которая делает то же самое, да еще вторгаясь на территорию Ирака...» И еще одна цитата: «Кто-нибудь слышал от С.А. Ковалева, а также авторов «Нового времени» хоть слово сочувствия русским...»

Здесь отвечать снова легко. «Запад не вмешивается в тибетские дела, потому что Китай слишком велик и силен, в чеченскую бойню, потому что боялся подорвать позиции Ельцина, в курдский геноцид, потому что Турция является его стратегическим союзником...» Это как раз Сергей Адамович Ковалев, май 99-го. Можно было бы допустить, что Сергей Адамович ошибся, не повторив этого громче, и не только в «Вельт». Но, с другой стороны, если исходить из общепринятых упреков в заискивании перед Западом, как раз в «Вельт» или в «Нью-Йорк таймс бук ревью» Ковалев должен был излагать все ровно наоборот. Но вот еще март 97-го, война давно остановлена, обращение к чеченскому народу: «Мне не дает покоя мысль, что сегодня на земле чеченского народа вновь творится отвратительное насилие...» Июль 97-го: «Чеченские лидеры боятся противостоять террору, который никогда не воевавшие бандиты развязали против беззащитных русских — ведь их могут обвинить в недостатке национальных чувств и «пророссийских настроениях». Они боятся выступить против исламизации страны. Они боятся принять действенные меры против уголовников... Вожди сопротивления боятся своего народа, народ начинает бояться своих вождей...»

И не мог же читатель «Нового времени» пропустить декабрьский, 96-го года, номер нашего, и, как он говорит, в то время уважаемого им журнала, где все вышесказанное Сергей Ковалев и изложил в первый раз, и статья называлась «Поротый волк — это уже дворняга».

Дело не в том, что читатель забыл эту статью. Вопрос все тот же: почему именно эта статья не отложилась у него в памяти? Я очень хочу понять этот феномен — понять вместе с читателем, мне почему-то кажется, что расстанется г-н Кориковский с нами тоже с тяжелым сердцем и беспокойной душой.

Правозащитники раздражают. И не только, когда говорят о Чечне. Они вызывают высокомерную или в лучшем случае сочувственную, как безнадежно больные, усмешку даже тогда, когда их точка зрения сама по себе отторжения не вызывает. Дело не в их точке зрения, дело в них самих. Они — идеалисты. Они хотят, чтобы все стало почестному сразу. Идеалист в наших условиях — слово почти ругательное. Ведь даже во времена ветхосоветские правозащитники и диссиденты, говорившие вслух то, что было принято говорить шепотом и на кухне, считались людьми странными и отчасти сумасшедшими.

Они очень назойливо напоминали о том, к чему большинство с той или иной степенью легкости притерпелось. И с этим состоянием так не хотелось расставаться. Кстати, мы с Вами, г-н Кориковский, — из этого самого большинства. Сергей Ковалев и Валерия Новодворская, как бы к ней сегодня ни относиться, — из тех «сумасшедших».

А потом, когда все рухнуло, в пылу всеобщей радости про них как-то забыли. Во-первых, все произошло будто бы и без них, а, во-вторых, они как бы и не нужны, ведь все, к чему они призывали, уже вроде было достигнуто. То есть было понятно, что не достигнуто, но так хотелось думать, что среди того, с чем мы навсегда расстались, была и необходимость в правозащитниках. Потому что по-прежнему легче было притерпеться, чем выслушивать их, пусть совершенно справедливые, но такие назойливые обличения.

И, спасая себя от них, зрителю, слушателю и читателю приходится соглашаться, что «Мемориал», кропотливо раскапывая последствия очередного погрома-зачистки в Алхан-Юрте, поддерживает бандитов и террористов. Что Ковалев, выступая на сессии ПАСЕ, предает Россию. Что Бабицкий, рассказывая в прямом эфире о грозненских кошмарах, действует по указке ЦРУ. И выходит, что и в самом деле журналисты и правозащитники разделили общество. Что, если бы их не было, общество хранило бы спокойствие и не терзалось бы сомнениями, во времена Афганистана немислимыми.

Какая строгая логика заставляла так яростно определять свои пристрастия в далекой и чужой гражданской войне в Югославии, когда дома безнадежно пустой холодильник. Почему братья — именно сербы? Ведь хорваты и боснийские мусульмане — те же славяне. А что до военно-этических установок, то все друг друга стоили. Но большинство, не слишком разбираясь в географии Балкан, предпочитали, интуитивно и не задумываясь, безусловно, поддерживать именно Белград.

Просто потому, что против Белграда был Запад.

Дело не во врожденном антизападничестве. Его нет, что мы уже на личностно-бытовом уровне убедительно миру доказали. Антизападничество — лишь часть строя мысли, закостеневшего за долгие десятилетия где-то на подкорке до состояния рефлекса. Нет, обратно в СССР не хочется, но вспоминается все легко и органично: НАТО — враг. Мы должны быть сильной державой. Комплексы советского происхождения, в собственно советское время тревожно дремавшие, под стук забиваемых в гроб империи гвоздей пробудились. Кто тогда мог предположить, что, когда настанет удивительное время и государство заинтересуется мнением своих граждан, ответ выстроится сам собой.

И мгновенность отклика на сигнал «свой-чужой». И вера в криминальную репутацию любого народа, который будет объявлен носителем таковой. Без всякой попытки задуматься о подлинных мотивах подобного объявления.

И на отравленную подкорку неглупых людей глупости, подсовываемые властью, ложатся так органично, что неглупые люди истово повторяют их как свои собственные. Чтобы не рухнул отлаженный и привычный строй мысли.

Один из таких популярных тезисов в изложении читателя звучит так: ну нет у нас такой армии, как в Голландии, и потому давайте отделим проблему необходимости воевать от проблемы генеральской бездарности.

Не отделяется. Или кто-то всерьез верит, что из Чечни наша армия вернется возрожденной и окрепшей, а генералы — исполненными высшего профессионализма? Они проиграли первую войну — они стали профессиональнее во второй? Я видел в Чечне десантников, которые действительно набрались умения и достоинства, но после возвращения из Боснии, а не из «первой» Чечни. Во «второй» эти десантники потом гибли под Жани-Ведено, подставленные и брошенные теми самими генералами.

А если так очевидно, что армии, как в Голландии, нет, что она не обучена и не подготовлена, то поддерживать такую войну — загодя готовить очередные похоронные церемонии наподобие тех, что уже прокатились по «омоновским» городам России. Читатель Кориковский обвинил нас в пораженчестве. Пораженчество, как я понимаю, — это желание поражения своей армии и стране. Читателю Кориковскому, обвинившему нас также в том, что мы изгаляемся над армией, я предлагаю поразмышлять над одним, как мне представляется, довольно простым вопросом: кто все-таки пораженцы и кто патриоты? Те, кто, все понимая про нашу армию, тем не менее призывают бросать в мясорубку еще тысячи солдат, обрекая их на гибель и увечья, армию — на крах, страну — на позор, или те, кто пытается в меру сил остановить войну, чтобы не проиграть то, что еще можно спасти?

Тех, кто предлагает таким образом разделить проблемы, я вовсе не подозреваю ни в цинизме, ни тем более в недомыслии. Просто, поддавшись однажды соблазну простых решений, они теперь обречены на то, что их прежние заблуждения развиваются самым причудливым образом. Сдается мне, что очень многие из тех, кто так

убедительно критиковал НАТО за Югославию, сегодня самым решительным образом поддерживают идею превентивных бомбежек Афганистана.

А тем временем становятся двадцатилетними те, для кого Афганистан — такая же история, как война Отчужденная, они ничем не отравлены, но и они откуда-то уже знают, что чеченцы неисправимы, что против нас объединился весь арабо-исламский Восток, и если мы не добьем Чечню, то рухнет весь мир, так лицемерно нас сегодня обличающий.

Их недуг накладывается на неистребимую память, которой страдают отцы. Двадцатилетние благополучны и хотят жить в могучей державе. Могучая держава для них та, которая не потерпит бандитов. Они не сомневаются, что чеченцы таковы все. Афганцы, кстати, тоже.

И если так все пойдет дальше, то я не исключаю, что однажды российские телезрители услышат что-нибудь вроде того, что Усама бен Ладен уже доставил Басаеву атомную бомбу. И, думаю, большинство телезрителей и в это поверит. Притом, что несколько не испугается.

Но этот феномен раздвоения как раз не страшен. А вот если с того же экрана будет с безысходными интонациями сообщено, что, перебрав и перепробовав все иные варианты и убедившись в полной их бесперспективности, все-таки решено всех чеченцев депортировать куда-нибудь на Алдан, российский гражданин поначалу будет ошарашен. Он, наверное, даже вспомнит историю, и что-то покажется ему зловещим. Но сколько окажется тех, кто сумеет убедить себя в том, что, поскольку по-другому с чеченцами нельзя, ничего, действительно, не остается?

И останется ли у нас после этого время на спор — пусть даже такой?

Напечатанная в этом номере дискуссия о Чечне публикуется с разрешения журнала «Новое время»

В. БОРИСОГЛЕБСКИЙ

КУДА ВЕДЕТ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ?

Любовь с первого взгляда

Скажите на милость, отчего Россия так возлюбила Владимира Владимировича Путина? Вопрос этот, с которого я начинаю, имеет прямое отношение и к характеру нового Президента, и к его первым шагам на пути переустройства России, и к тому, думаю, какой он видит страну в будущем.

Итак, благодаря чему большинство населения относится к нему с таким поклонением? Молод? Да, молод. Решителен? Да, решителен и, кажется, с самых первых шагов отличался от дряблого и нерешительного Ельцина, который стяжал неприятие почти 90 процентов населения страны. И все же до сего дня мы не находим рационального объяснения стремительного успеха нового Президента. Остается разве лишь еще раз — в миллионный раз! — вспомнить порядком уже набившие оскомину слова поэта, что умом Россию не понять. Ведь вот могли бы и призадуматься те 52 миллиона россиян, единодушно проголосовавших за нового Президента, которого, собственно, понастоящему не знали, да и не могли знать. А призадуматься воистину было над чем. И, конечно, не только над обликом нового властителя — маленького, но решительно-го человека со стальными и бесцветными глазами. Но внешность, конечно же, не главное. Куда важнее, мне

кажется, другое. И по сей день не оставляет меня печальная мысль: неужели народу России было так уж безразлично, из какого ведомства пришел Путин на президентский пост? Что пришел он из ведомства, с именем которого связан сталинско-чекистский ГУЛАГ и гибель 70 миллионов его ни в чем не повинных жертв?

К слову, вспомним, как в послевоенной Германии рассматривали эту «проблему палачей и жертв», где вчерашних нацистов не только не подпускали к власти, но и не принимали даже на государственную службу. Но даже если о недавнем прошлом Путина на время забыть, то встает другой, не менее важный вопрос: чем вообще было ознаменовано это прошлое, какой политический, государственный или хозяйственный опыт был за его спиной с тех пор, как он еще начал восхождение на Олимп власти? Да, и вот еще странность: привел-то его к власти не народ, а все тот же ненавистный населению Ельцин, который среди своего окружения не нашел никого лучшего, чем вчерашний чекист Путин. Чем руководствовался Ельцин, теперь тоже хорошо известно — менее всего интересами России и более всего своими личными интересами и интересами «семьи» (и своей собственной и своего ближайшего и лично преданного ему окружения): Ельцин выдвинул Путина —

Путин в благодарность обещал абсолютную неприкосновенность бывшему президенту и его семье.

Таков был реальный расклад сил накануне прихода В. В. Путина к власти. Какими конкретно путями он к ней шел, мы уже не раз писали: и о развязывании чеченской войны, и о подозрительной серии взрывов, прогремевших в России так поразительно «вовремя». Сыграла, верно, свою роль и растущая тоска россиян по сильной руке.

Кажется, ничто не могло повлиять на любовь к новоизбранному Президенту. Даже тот факт, что первые дни президентского правления ознаменовались постыдной акцией нарушения элементарных принципов демократии и глумлением над свободой слова — даже эти ворвавшиеся в здание холдинга «Медиа МОСТа» молодчики не повлияли на престиж взошедшего на президентский престол Путина. Мы помним, как тут же начались оправдатель-

ные разговоры: де, не рук Президента это дело, эта ужасная, возмутившая весь мир антидемократическая акция, просто какие-то провокационные силы организовали ее специально для того, чтобы подвести молодого Президента.

Похоже, за целую эпоху в России не было такого властителя, в которого бы так безоглядно поверило население. Это была воистину любовь с первого взгляда, возможно, впервые вспыхнувшая как раз в тот момент, когда, не став еще Президентом, Путин обещал «замочить в сортире» всех до последнего «чеченских бандитов». Тут, видимо, важен был даже голос, каким он говорил, и, конечно же, несгибаемая воля и решительность, написанные на лице. А ведь все пошло совсем не так, как было обещано. Война, объявленная чеченцам год назад, оказалась далеко не победоносной, унесла тысячи жизней российских солдат, но, как ни странно, даже это предается забвению и нисколько не связывается с тогдашней, предвоенной клятвой Владимира Путина.

В Чечне погибли и погибают тысячи русских ребят, а Президент, словно ничего не происходит, всякий раз, появляясь перед телекамерой, остается решительным и бескомпромиссным, ни перед чем не останавливающимся, когда надо проявить свою железную руку.

Народ, естественно, жаждал увидеть *дела* нового Президента. Но повода для того, чтобы по-настоящему оценить его характер, как назло, довольно долго не появлялось, хотя задолго до инаугурации, еще будучи и.о. Президента, он начал говорить о своей новой программе. Говорил не прямо, но всякий раз давая понять гражданам страны, что ее реализация поможет пойти России по новому пути. Какая именно это будет программа, оставалось неясным. Но сам-то Президент не скупился на намеки по поводу сильной России, державности своей будущей политики, укрепления вертикали власти, о возможном переводе Госдумы из Москвы в Санкт-Петербург и даже о строительстве скоростной железной дороги, которая, если надо, позволит за несколько часов домчаться депутатам новой питерской думы от северной

столицы до Москвы. А в тех случаях, когда нового руководителя просили высказаться более конкретно, он глубокомысленно замечал, что, де, еще не время, дорогие товарищи, придет час, и народ России обо всем узнает. Итак, ждали дня инаугурации, но и до назначенного дня Путина уже «полюбили» всей душой и все чаще называли не казенно, не по должности (не и.о. Президента и не премьер-министром), а с каким-то особым любовным придыханием — «Владимиром Владимировичем»: «Владимир Владимирович заметил», «Владимир Владимирович предложил», «Владимир Владимирович одобрил», — а Владимир Владимирович, чтобы оправдать всенародное признание, не зная ни дня, ни ночи, колесил по стране — то он в кругу северных подводников, то за штурвалом самолета, то среди детсадовских ребятишек, и для всех у него находилось свое доброе, отеческое слово. И это все, естественно, еще больше способствовало его популярности как истинно народного Президента, любимца России. Тем не менее страну до самого последнего времени не покидало вполне понятное чувство ожидания. Какую же все-таки программу заготовил новый Президент? По какому пути он поведет Россию? И вот наступил момент, когда Владимир Владимирович Путин наконец заговорил... Обратившись для этого к весьма подзабытой форме общения с населением. Президент решил выступить перед народом по Центральному телевидению. Говорил как всегда не спеша и решительно, скандируя каждое слово, и этим свои решительным и бескомпромиссным тоном излагал гражданам России свои соображения о путях переустройства России.

Впрочем, «соображения», пожалуй, не то слово. Соображения, кажется, остались позади. Теперь это были готовые, многократно выверенные предложения, по-видимому, глубоко выношенные Президентом и передаваемые им на рассмотрение Парламента; если угодно, все это выглядело как настоящая Программа действий. Программа эта и особенно первые шаги по ее реализации заслуживают того, чтобы на них остановиться подробнее. По той хотя бы причине, что предложения исходили из

уст человека, за которого отдало свои голоса больше половины России, а с другой стороны — впервые за время правления нового Президента население получило возможность увидеть и наглядно почувствовать, в каком направлении новый глава государства намерен действовать. Это были предельно конкретные проекты законов, которые должны были положить начало переустройству страны.

Первые шаги Президента

Итак, в своем обращении к народу глава государства внес предложение коренным образом перестроить структуру управления страной. Если вспомнить историю ельцинского правления, то нам неизвестно, когда бывший президент или какое-то из его правительств сколько-нибудь решительно обращалось бы к проблеме государственного строительства. Путин это сделал впервые, вполне открыто и со всей присущей ему энергией, придя к выводу, что взаимоотношения центральной власти с периферией, с субъектами федерации — это и есть главная проблема современной России. Вполне возможно, что подспудно он был озабочен теми же мыслями, которые занимали многих российских политиков, и было для этого, если смотреть правде в глаза, более чем достаточно оснований.

В ходе демократизации Россия погрузилась в анархию, когда все меньше значила центральная власть. Места нередко делали то, что хотели, не желая считаться с центром. Законы, принимаемые в Москве, слишком часто оставались на бумаге. В общем, пришло время навести в стране настоящий государственный порядок, и именно эту труднейшую (особенно в условиях России) задачу и стремился взвалить на себя новый Президент.

При этом как бы молчаливо подразумевалось, что для реализации этого важнейшего дела население России окажется перед необходимостью пойти на какие-то самоограничения, и даже поступиться некоторыми завоеваниями

демократии. Вслух Президент предпочитал об этом не говорить. Но это висело в воздухе, и многие в те дни рассуждали так: если без этого невозможно навести в стране порядок, то надо на что-то пойти и при всех случаях Президента поддержать, дать главе государства дополнительный кредит доверия. Вопрос, однако, заключается в том, насколько велики окажутся эти жертвы.

Царево око должно видеть всю Россию

Итак, согласно первому указу Владимира Путина на территории Российской Федерации вводились семь представителей Президента. Среди них было пять генералов, или, как их отныне не без иронии величают, пять генерал-губернаторов, двое штатских, один из которых был представителем либералов — лидер Союза правых сил Сергей Кириенко, отныне ставший представителем Президента в Поволжье.

Среди вотчин президентских наместников мы находим Дальний Восток, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, который был вверен одному из ведущих в прошлом деятелей КГБ, известному своей жестокой и бескомпромиссной борьбой с диссидентским движением.

Все семь президентских представителей были близкими ему людьми, которых он прекрасно знал лично и которые в большинстве своем работали рука об руку с новым Президентом — кто в системе ФСБ, кто в Санкт-Петербурге, кто входил в его кремлевскую администрацию, — так или иначе, своими наместниками Путин назначил людей, которым он мог во всем довериться (впрочем, это и вполне понятно — слишком велика и ответственна была задача).

В чем состояли основные функции представителей Президента — по крайней мере формально — довольно скоро было предано гласности. Его наместники должны осуществлять контроль за соблюдением на территории всей России единого, вырабатываемого Центром законодательства и единой всероссийской политики, иначе говоря, речь как раз и шла об укреплении вертикали власти. Центральная

власть должна была в полном смысле стать властью, Центр — Центром, для этого и вводился по всей России институт его представителей, «глаза и уши» Президента. Но как именно будет осуществляться деятельность всехесильных наместников, оставалось пока мало понятно. Ирина Хакамада, один из лидеров все того же Союза правых сил, не без юмора заметила: «Чем будут заниматься представители Президента? Ну вот, например, выслали из Москвы на Дальний Восток миллион. А он, этот миллион, на место не поступил, следовательно, надо его найти, тут как раз и карты в руки президентскому наместнику».

Примерно так и думали в те дни многие, но, как очень скоро выяснилось, роль наместников оказалась куда шире, чем могло показаться на первый взгляд.

Чем дальше, тем явственней ощущалась решимость Президента привести к повиновению местные власти, обуздать их и в значительной мере сузить их сильно разросшиеся за последнее время функции. Вслух об этом Путин поначалу предпочитал помалкивать. Реформа и реформа. Укрепление вертикали власти и прочее. Но, судя по всему, стремился к тому, чтобы хозяин в стране был один. И на периферии не должно быть у него никакой оппозиции. Очень возможно, что про себя он считал, что его «наместники» должны стать стеной на пути любых попыток раскола России. Царево око должно видеть всю Россию. Так было всегда, так, по-видимому, с точки зрения нового Президента, должно быть и в новые времена.

Отсюда и те огромные полномочия, какими он снабдил своих представителей. Еще не был принят новый закон, а Путин уже ввел всех своих представителей в Совет безопасности, подчеркивая, что по своему рангу они должны быть ничуть не ниже министров. Вскоре стало известно, что в каждом из новых округов будет действовать один из замов Генерального прокурора, представители ФСБ, налоговой полиции и даже Счетной палаты. То есть малопомалу в России создавался второй эшелон власти, который по значимости не уступал министрам и на который глава государства возлагал ответственные задачи.

Вновь введенные президентские представители не были новым институтом для России. Из литературы и истории мы знаем, какую изнурительную, многолетнюю войну приходилось вести государевым наместникам на Северном Кавказе. Та же, по-видимому, участь ждет и нового президентского наместника в этом регионе нынче, где хоть и в новой форме, но продолжается кровавая чеченская война.

Наместник Президента в Санкт-Петербурге, по-видимому, также будет иметь вполне определенную задачу: не дать развиться весьма опасным во все прошлые времена сепаратистским настроениям, существовавшим в северной столице. И так было во всех регионах, на которые отныне поделена Россия, — везде могут появиться или уже есть сегодня свои проблемы и свои нежелательные тенденции. Отсюда и замы генпрокурора, и органы федеральной безопасности, и налоговая полиция.

Могут спросить: для кого именно нежелательные тенденции? Для населения? Для государственных чиновников? Для российской периферии и каких-то местных органов? Ответ более чем очевиден — для Кремля, для центральной власти России! И если быть уж совершенно конкретным, то прежде всего для самого Президента Владимира Владимировича Путина, который с подозрительным постоянством предостерегает и собственный народ и Запад против его отождествления с печально знаменитым Пиночетом.

Чужая душа — потемки. Душа российских властителей — и в далекие времена, и сегодня (возможно, даже больше чем когда-либо) — это потемки вдвойне. И потому не станем гадать на кофейной гуще по поводу того, какие именно карьерные планы строит новый российский Президент (стать той сильной рукой, по которой, судя по всему, соскучилось российское население?). Но одно дело мечтать о сильной руке, совсем другое — отчетливо представлять, чем она может обернуться для российского общества.

Новая структура власти

Соглаено предложениям Владимира Путина, совершенно по-новому должна выглядеть структура законодательной власти. Как показали дальнейшие события, именно в этом направлении и пошла семимильными шагами деятельность нового Президента. Нет, речь, естественно, не шла о Государственной Думе, облик и характер деятельности которой вряд ли в чем-то изменится. Возможно, от того, что новый Президент не видел в Думе (особенно при новом ее составе — с сильной партией власти) ни малейшей угрозы для собственного положения. Можно было бы сказать, что о такой «карманной» Думе Борис Николаевич Ельцин мог бы только мечтать. Но совсем другое дело — вторая палата, российский сенат, роль которого выполнял Совет Федерации.

Как мы знаем, Совет Федерации состоял из независимых губернаторов, представлявших в верхнем эшелоне власти субъекты Федерации. Отчего же новый Президент с такой решительностью вступил в борьбу с Советом Федерации?

Ответ на этот вопрос вряд ли составлял загадку. Можно легко представить, что будучи на подступах к президентской власти Путин не мог не стать свидетелем того, как сенаторы (имея ту власть, которой были облечены), отважились пойти на открытый бунт против президента Ельцина. Как известно, это произошло с делом бывшего генпрокурора Юрия Скуратова, которого Ельцин уволил, а Совет Федерации поддержал и фактически выступил против тогдашнего Президента.

Путин понимал, что нечто аналогичное может произойти и с делом покрупнее, когда бы сенаторы своим голосованием могли поставить под вопрос полноту его собственной власти. По-видимому, именно таким был ход мысли нового Президента, когда он внес на рассмотрение парламента другой порядок формирования верхней палаты, а отсюда и ее другую структуру, и как следствие — совершенно новый облик законодательной власти.

Стремящийся к неограниченной власти Путин и не скрывал, что его раздражает сама ситуация, когда члены Совета Федерации, входящие в состав сената, с одной стороны, обладали законодательной властью. А с другой — в своих регионах сами возглавляли власть исполнительную, притом высшую исполнительную власть, которая даже ему, Президенту России, была не подвластна и не подконтрольна. Вот это положение (хоть оно было предусмотрено Конституцией), новый Президент решил в корне поломать. Да, в Парламенте останется высшая палата, но только состоять она будет не из губернаторов, а из рядовых представителей региона.

Так происходит во всех демократических странах Запада, заявлял Путин, так должно быть и в России, а у сенаторов, ранее входивших в Совет Федерации, в своих регионах работы столько, что в интересах государства (ссылаться на интересы государства стало общим местом в выступлениях Президента) будет куда полезнее, если губернаторы сосредоточатся на работе в регионах, (ведь не случайно они сами постоянно жалуются, что у каждого из них и без Совета Федерации дел выше головы).

В дни, когда в средствах массовой информации обсуждалась эта инициатива нового Президента, многие высказывали предположение, что она может вызвать противостояние в самом Совете Федерации, члены которого должны были добровольно уйти в отставку. С какой, спрашивается, стати? Ведь они могут просто-напросто выступить против предложения Президента и не проголосовать за подобный отказ от своих полномочий. Однако, как вскоре выяснилось, их возможности на «бунт» можно было рассматривать лишь в прошедшем времени. Да, они многое могли, пока оставались независимыми губернаторами и не подчинялись ни одному органу власти, даже самому Президенту. Теперь положение изменилось, изменилось настолько, что есть смысл рассмотреть этот вопрос отдельно.

Хозяева регионов или сменяемые чиновники?

Итак, следующее предложение Владимира Путина состояло в том, что отныне Президент наделяется правом сменять губернаторов и даже распускать избираемые на местах народные собрания. Происходить это может в тех случаях, если губернатором или избранными представителями будут допускаться нарушения Конституции. Иными словами, если вещи называть своими именами, Президенту предоставлялось право снимать губернаторов с их должностей. Ни больше, ни меньше! Правда, такой акт должен быть рассмотрен и подтвержден соответствующими судебными органами, но, во-первых, отстранять губернаторов Президенту разрешается и без решения суда. А, во-вторых, известно, что и по сей день судебная власть в России настолько слаба и зависима, что для единовластного Президента вряд ли составит труда найти повод, чтобы избавиться от любого, не угодного ему губернатора.

Разъясняя смысл этого предложения, Путин заявил, что, согласно Конституции, даже он, Президент России, может быть подвергнут импичменту, если на него даст согласие Верховный Суд. Так почему же для губернаторов должно быть исключение? Аналогия явно несла в себе привкус демагогии, но тем не менее Владимир Путин как всегда сослался на интересы государства и будучи уверенным, что одержит верх, передал это предложение на рассмотрение Думы. Как и следовало ожидать, и Дума, и абсолютное большинство губернаторов вместе с Думой скрепя сердце и на этот раз приняли предложение Президента. Но если с Думой более или менее понятно, то отчего же члены Совета Федерации проголосовали за собственное самоубийство? Можно, конечно, это объяснить неожиданно проснувшейся в их сознании государственной мудростью, де, поверили они в путинское переустройство России. Для меня лично более реалистично выглядит другое объяснение. Просто российский сенат оказался слаб, чтобы противостоять натиску молодого Президента. Оттого и сдался на милость победителя. Вот и все.

Важнейший вывод, который напрашивался после принятия нового закона, заключался в том, что урезав власть губернаторов, Президент не только нанес сокрушительный удар способному восстать сенату, но решился на открытое противостояние органам местного самоуправления. Дело было не только в статусе губернаторов. Согласно все тому же закону, по которому Президенту давалось право отстранять от власти глав регионов, последним предоставлялось право снимать подчиненных им руководителей исполнительной власти и соответственно распускать местные собрания народных представителей. Таким образом, если в любой западной стране демократия немыслима без развития местного самоуправления (растущего авторитета местных органов власти, их неотъемлемого права решать все вопросы, связанные с жизнью населения, их несменяемости и независимости от вышестоящих чиновников), если все это считалось основой демократии, то в России наметились прямо противоположные тенденции: вся полнота власти отдана центру, Кремлю и главе государства, а роль местного самоуправления мало-помалу рискует свестись к нулю. И это уже не выглядит лишь как некоторые ограничения демократии. Президент России, быть может, сам себе не отдавая в этом отчета, перешел границы и замахнулся на самые ее основы. Не говоря уже о том, что подобная тенденция, в свою очередь, может вызвать к жизни целый ряд непредсказуемых социально-экономических и политических последствий (свидетельством чего был, например, арест Гусинского).*

Свободно избранное и независимое самоуправление предполагает и высокую ответственность избираемых лиц перед населением, стремление верой и правдой служить избирателям, все делать для того, чтобы повышать уровень и качество их жизни.

Совсем другое дело, когда все отдается в руки сменяемых верхами чиновников. Главным чувством такого чиновника становится не ответственность перед избирателями, не стремление сделать их жизнь лучше, добившись

*В этом эссе я намеренно не касаюсь ряда более поздних поступков и шагов президента, связанных, например, с гибелью подводной лодки «Курск», проблемой средств массовой информации и пр.

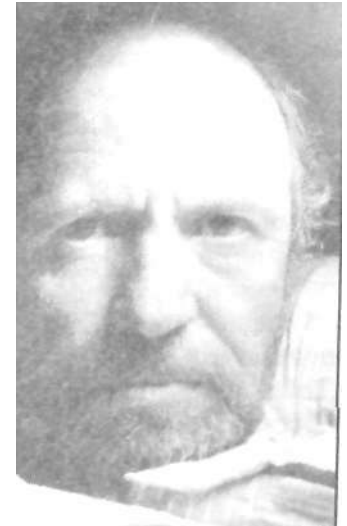
процветания избравшего его региона, а стремление сохранить за собой тепленькое место, страх за свою карьеру. Начинает процветать подхалимаж и депотизм. Создаются условия для мздоимства и наущничества, для развития самых изощренных форм бюрократизма и безответственности.

Таковы объективные законы и, какими бы добрыми намерениями ни руководствовался Президент, его новые установления несут серьезную опасность для демократического развития России.

С другой стороны, вызывают вопросы и основные направления законотворчества нового Президента. В конце концов по самой своей сути они не выходят за рамки бюрократического переустройства государства. Давайте согласимся с тем, что усиление центральной власти в современной России и в самом деле имеет существенное значение для установления в ней порядка в рамках правового государства. Но исчерпается ли этим весь джентльменский набор нововведений нового Президента?

Станным образом, но пока мы не видим (или почти не видим), как реализуются его обещания реально поддерживать развитие в стране рыночной экономики, предпринять новые инвестиции, способные изменить лик сегодняшней России. И таким же странным образом мы не ощущаем стремления Президента начать непримиримую борьбу с преступностью, с мафиозными структурами, олигархами, мздоимством, пронизавшими снизу доверху все государственные структуры.

Возможно, все это предусматривается дальнейшими планами Президента, и не за горами время, когда мы узнаем и о них. Что же, чем раньше это произойдет (если произойдет!), тем быстрее Россия выберется из тупика, в котором она пребывает уже многие годы.



Юрий ДРУЖНИКОВ

УРА, НАШ ЦАРЬ!

И наш великий Пушкин там же

«Русская история до Петра Великого — сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело».
Федор Тютчев

Приближение к рулю очередного вождя гипнотически окрыляет передовую российскую общественность. Обещания улетучиваются, как утренний туман, будто и не витали в воздухе, контроль за умами крепнет. Вот-вот свежеиспеченный лидер широким жестом дозволит пишущей братии сравнивать себя с великими реформаторами прошлого. Нам только дай: разукрасим так, что и родная мать не узнает. Все видели, как единомышленная пресса быстренько сварганила имидж спасителя нации, за сим последовали тотальные выборы и... тут у нас неизбежно возникли исторические ассоциации.

Описания русских царей, когда их много читаешь, действуют, как промывка мозгов. Какая таинственная сила

побуждает верить, что новичок поможет не только бизнесу и пенсионерам, но и балеринам, и киношникам? Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство! Не охвачены упоением пока только последователи альтернативной любви. Писатели, конечно, впереди. Стремление к истине мирно уживается с идолопоклонством, и это важная черта российского менталитета. Будто в прошлом не выливали ушаты лести, а воз и ныне там. «История не роман, — писал Карамзин, — и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир». Добавлю: до тех пор, пока перо не коснулось главы государства. Тут сразу начинают течь слюни. Молодой Пушкин, ухаживавший за женой Карамзина, по этому поводу иронизировал: воспевают де «необходимость самовластья и прелести кнута». А сам?

С горечью приходится взглянуть на аллилуйную сторону сочинений гения, ибо именно он у нас **всё**. «В Пушкине, — вспоминал Вяземский, — было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость...» Возникает, однако, вопрос: какое это — *верное* понимание? Верное с чьей точки зрения? Как в свете этого понимать безудержное восхваление царей? Может ли поэт быть объективным или, мягче, более объективным, чем историк? Очевидно, речь должна идти о процентах, о степени объективности, которая трудно измеряема, но в основе которой лежит *обнаружение* фактов или же *утаивание* их в угоду концепции.

Искажение истории в свою пользу необходимо властям на каждом витке развития государственности, чтобы самоутвердиться и приноравливать к себе менталитет нации. Особенно это касается такой традиционно важной движущей силы как патриотизм, поддержанию которого исторические факты подчас мешают. Приукрашивание лидеров в России всегда имело место, а если отличалось в новейшей истории, то размахом и цинизмом, чему мы все свидетели. Мы не можем обойти Пушкина, а Пушкин не мог миновать царя Петра, на то были причины.

Пытаясь «верно» понять историю, заметим, что реформы Петра подготавливались до него, а многие из них осуществлялись после. Его заслуга в хирургической операции: царь резал, а зашивали другие. Но именно Петру отдано авторство и сгущенные, концентрированные почести. Таково русло, по которому уготовано было плыть Пушкину-историку — по течению, не против него.

Правительство стимулировало мифологию о Петре. Этим его наследники укрепляли свой авторитет внутри страны и за рубежом. Так, граф Шувалов доставлял специально отобранные редкие книги, рукописи и деньги Вольтеру, чтобы тот составил «Историю Петра Великого», что и было выполнено. Вольтер округлил все острые углы, например, казнь Монса, якобы любовника петровской жены Екатерины, смерть самого Петра и борьбу за престол после его смерти. А между тем, уже существовали опубликованные источники, например «Записки графа Бассевича».

Чувство меры в преданности индивида государству терялось. Современник Пушкина министр финансов граф Егор Канкрин писал: «Если рассудить, то мы по справедливости вместо того, чтобы называться *русскими*, должны прозываться *петровцами*». И всегда Петр окутывался славой. На первых двух страницах «Публичных чтений о Петре Великом», приуроченных к официальным празднествам по случаю двухсотлетия со дня рождения Петра, авторитетный историк Сергей Соловьев называет Петра «великим человеком» 13 раз и один раз «величайшим».

Наши российские Будды

Слава граждан в России измеряется степенью приближенности к престолу. Исключения редки, и великий Пушкин этим исключением не стал. К нему вот уже полтора столетия точно так же относят эти слова, и в русском национальном сознании установлена прямая связь между двумя вершинами: Петр Романов и Александр Пушкин. Связь эта астральная, она проходит в особой внеземной сфере: «Там русский дух... там Русью пахнет!». Традици-

онная формула «Царь дан нам Господом» в случае с Петром подменяется на «Царь и есть Бог». «Он Бог твой, Бог твой был, Россия», — заклинал в оде Ломоносов. Но если царю Петру, так сказать, по должности положено нечто божественное, то поэт Пушкин в цари произвел сам себя («Ты царь себе, живи один»), а нимбы вокруг обоих рисовались биографами.

«Пушкин есть единственный в русской литературе поэт творческого начала духа», — считал Семен Франк. Он пояснял, что поэт именно через Петра воспринял чутье к государственному и культурному творчеству. Чувствуете? Через царя, который умер за сто лет до него, писатель ощутил себя. Дмитрий Мережковский устанавливает даже гороскопную зависимость этих светил друг от друга: «Без Пушкина Петр не мог быть понят как высшее героическое явление русского духа». Василий Ключевский указывает на две эпохи «решительно важные в движении русского самосознания», два лица, «тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей император, другой поэт. «Полтава» и «Медный всадник» образуют поэтическую близость между ними».

Тандем «Пушкин — Петр» апологетически многожды отмечен в пушкинистике. К пушкинской любви к царю Петру постоянно добавлялось то, что надо, живущим в данный момент поколением. Например, в советской пушкинистике считалось, что, употребив применительно к Петру слово «революция», Пушкин «дал новое направление русской истории». Пушкин-художник менялся и, казалось, чувствовал недостаточность одной розовой краски в описании своего героя как «сильного человека», «необыкновенной души», «северного исполина», «вдохновенного строителя». В конечном счете, вдохновляясь своим героем, Пушкин потерял здравый смысл: «Петр Великий, который один есть целая всемирная история».

А что если взглянуть трезвее, в надежде понять, зачем писателю цари? Хотя принято считать, что Пушкин интересовался Петром всегда, фактически интерес связан с Николаем I и имеет своим началом верховную аудиенцию 1826 года, на которой тема явилась из уст царя. Подтекст

формулы «Петр — Пушкин» следует читать «Николай — Пушкин». Переложим кратко содержание стихотворения «Стансы» на язык презренной прозы. «Стансы» значит то же, что «строфы», а согласно литературной энциклопедии, «по жанровому признаку *строфы* были закреплены за *одой*». Содержание «Стансов» вполне одическое. В первых двух строках поэт заявляет, что страх позади и в будущем он ожидает славы. Затем переходит к Петру, славу которого в начале омрачили мятежи и казни. Петр привлек сердца правдой, а нравы укротил наукой. Петр был смелым просветителем, патриотом и предвидел роль России. Далее с явным перефразом рисуется многорукий, как буддийский бог, Петр:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Наконец, в последнем четверостишии поэт обращается к тому, кто, услышав его мольбы, вернул его из ссылки и от кого зависит теперь признание: конечно же, император Николай I «семейным сходством» соотносится с Петром Великим. Пушкин двуедин: он советует царю быть таким же неутомимым, твердым (после расправы с декабристами совет продолжать быть твердым вполне в русле официальной политики), но так же не таить зла. Налицо компромисс: Пушкин воспеваает преимущество героизма и мудрости Петра, генетически воспроизведенных в Николае, а за лояльность получает личное монаршее покровительство. Оно получено в связке со слежкой и «личной» цензурой царя. Самое бы время уgomониться.

Однако и перед концом жизни, к десятилетию восшествия на престол Николая, пишется стихотворение «Пир Петра Первого», называемое в пушкинистике программным. Опубликовано оно без подписи Пушкина, который вдруг застеснялся публично выказать почести Николаю и торжественно открывает первый выпуск пушкинского «Современника» за 1836 год. Поэт перечисляет общеизвестные деяния «чудотворца-исполина» Петра, в основном,

военные доблести, во вполне традиционной манере. В конце стихов во время пира царь прощает подданным вину. Комментарии связывали эту тему с частичной амнистией декабристам, провозглашенной Николаем по случаю десятилетия своего правления. В советских источниках делается вывод, что Пушкин был, якобы, недоволен: царская амнистия оказалась неполной. «Пушкин еще раз показал непреклонность своей гражданской позиции», — пишут пушкинисты. Но это, конечно же, натяжка, ибо в «Пире Петра Первого» нет и тени автономности мышления.

Кумиризация всей страны

Пушкин — наш учитель во всех областях, учит он нас, и как правильно писать о главе государства. Наиболее подходящее слово, справедливо замечает Р. Якобсон, которым Пушкин характеризует монумент Петру, — *кумир*. В словаре к этому слову дается синоним «идол» и пояснение: «То, чему кланяются». Происходило то, что жесткий Рылеев, упрекая Пушкина в подхалимаже живому царю, резко назвал «верноподданнические филиппики за нашего Великого Петра».

Было бы необъективным видеть в одном Пушкине то, что происходило в литературном процессе в целом. В николаевский период многие писатели сосредоточили усилия на сочинении произведений о Петре Великом, ибо Николай Павлович хотел выступить в роли «нового Петра». Как тут не начать петь в унисон? И в книгах пошла новая волна прославления Петра. Типичный пример — историческая повесть Петра Фурмана «Саардамский плотник».

«...все единодушно и с восторгом воскликнули:

— Честь и слава и многие лета русскому царю!

— Да здравствует Петр Алексеевич истинно Великий!»

И все оживились, все дышало радостью и восторгом. В это самое время светлый золотой луч осветил Саардам и окрестности его, как бы приветствуя русского царя; легкий ветерок округлил паруса лодок, плывших по морю, и мельничные крылья закружились быстрее и быстрее, как бы принимая участие в общей радости.

Всё веселилось, всё ликовало, и долго-долго эхо вто-рило общему восклицанию:

— Да здравствует славный русский царь!.. Ура!.. Ура!...

Аналогия была прозрачно угадываемой. Под властью доктрины «Николай есть новый Петр» оказался даже Белинский. «В отношении к внутреннему развитию России, — писал он, — настоящее царствование без всякого сомнения есть самое замечательное после царствования Петра Великого».

И тут Пушкин оказывается впереди всех нас. Он размышляет не просто о прославлении Николая, но — о *науке славы*. Наука славы, или кумиризация, составляет важный аспект русской литературы, а прославление царей, вождей и президентов оказывается полезным для карьеры славословца. Всё, в том числе чисто человеческие черты, характер, манеры, поведение государя, служит большей частью — и таков де факто принцип пушкинского мифа — оправданию деятельности Петра.

Прежде всего — и сегодня это опять звучит свежо — тут апологетика необходимости тотального прогресса, основанного на насилии, на бесчеловечности, другими словами, *прогрессивного насилия, или насильственного прогресса*. Показателен принципиальный спор поэта с историческим писателем Иваном Лажечниковым. Несколько огрубляя суть спора, скажем, что Пушкин в письме упрекнул Лажечникова, что тот оскорбляет достойных людей прошлого, показывая их жестокость. «Низких людей, — резко отвечает ему Лажечников, — подлецов, шутов, считаю обязанностью клеймить, где бы они ни попадались мне...». Не странно ли, что Лажечников убеждает Пушкина в необходимости правды о русском кровавом прошлом?

Эпиграфом к так называемому «Арапу Петра Великого» (название введено биографами) Пушкин выписал строку из поэмы Николая Языкова «Ала»:

Железной волею Петра

Преображенная Россия.

Читаю эти строки, которые возродятся в пушкинском «Медном всаднике», со своим опытом, пережив железного Феликса, железную волю Сталина и железного карлика Ежова.

Наука славы затягивает в свой омут. В неоконченном «Арапе Петра Великого» автор стремится укрепить родственные связи с царями. Фантазия не знает меры: «Император посреди обширных своих трудов не преставаля осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения... Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению... не жалел для него казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления». Это псевдобιοграфия Ганнибала. Царь был отцом моему предку, объясняет нам Пушкин, как мне не любить Петра? Не отцом нации, каковым любой царь является по статусу, придуманному сервиллистами, а любящим отцом моего собственного прадеда — разница существеннейшая.

Близость царю Петру — не что иное как пушкинский миф о себе самом. Сделав царя родственником, Пушкин превращает текст в славословие его деяниям. Часть этой мифологемы — восхваление оккупации Петром соседних территорий как справедливой и героической акции. Пушкин создавал свои произведения о Петре в то время, когда возобновились «расширительные» военные операции русской армии для продвижения на Восток, в Персию, вокруг южных и северных берегов Черного моря в Турцию. Ретроспективно Пушкин писал даже, что «сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Другими словами, овладение Индией было пустой выдумкой Наполеона, но станет, по Пушкину, реальностью для России. Не забавно ли, что Пушкин звучит единомышленником Жириновского?

Поэт в совершенстве владеет эзоповским языком: «захватническая политика» именуется, как «утверждение морского величия России». Об оккупации Прибалтики: Россия «обеспечила новые заведения на севере». Петр захватил Азов, чтобы «сблизить свой народ с образованными государствами Европы», поэтому он «нетерпеливо обращал взоры» на Персию, Турцию, Швецию. «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек, но войны, предпринятые Петром Вели-

ким, были благодетельны и плодотворны»». Пушкин становится государственным, а следом идет воспевание им войны и крови. Не так ли все дружно сегодня взялись восхвалять войну в Чечне, едва кандидат на престол прошептал: «Будем мочить!»? Николай Тургенев, сидя в Лондоне, возмутился появлением пушкинской «Полтавы». Прочитав поэму, он сравнил Пушкина с одописцем и графоманом графом Хвостовым. Одическое начало имеет место в поэме. Если у Вольтера в «Истории Карла XII» — симпатия к человеческому Карлу, представителю Европейской культуры, и в то же время оправдание мотивов царя Петра, управляющего варварской страной варварскими методами, то у Пушкина — активный восторг в описании Петра и, наоборот, приземление Карла XII. Акцент на нравственном превосходстве русского царя над врагами и принижение достоинств противника, а иногда и просто глумление над ним. Петр в поэме — «мощный властелин судьбы», идущий к великой цели. Карл весь подвластен личной карьере, не способен к принятию самостоятельных решений. Мазепа у Пушкина — примитивный злодей, губитель, «он не ведает святыни, он не помнит благостыни, он не любит ничего, кровь готов он лить, как воду, презирает он свободу, нет отчизны у него» и пр. Существует вековая традиция в литературе оглуплять врагов. Замените Мазепу чеченцем и будет сейчас в самый раз.

Пушкин то и дело подчеркивает сверхъестественность Петра, который «весь, как Божия гроза». Как заметил Велимир Хлебников, «полтавский обруч нашел в Пушкине звонкого соловья». А впереди — «Медный всадник», оправдание и почти юношеский восторг поэта перед божественным величием императора, апофеоз ему, пирамида или мавзолей: на вершине — сам Петр, под ним — построенный по его приказу новый Амстердам-Петербург, а фундамент сооружения — Россия, названная им самим империей.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

И намек нет на то, что Пушкин раньше писал в письмах друзьям, называя Петербург *душным* и *свинским*. Не слу-

чайно в советской пушкинистике «Медный всадник» был обозначен, как особый жанр: «поэзия русской государственности». И опять *железо*. То, что Петр «уздой железной Россию поднял на дыбы», есть восхваление этой узды. Вообще-то, мысль, что Петр поставил Россию на дыбы, принадлежит Вяземскому, который хихикнул по этому поводу: вздернул на дыбы, а не повел к прогрессу. Положение дыбом — временное, неустойчивое, опасное. Такой подтекст отсутствует, а жаль. Пушкин написал *на дыбы*, а в действительности, скажем мы, поднял на *дыбу*. Одна буква меняет весь контекст истории. Пушкин с надеждой смотрит в завтра:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

«Не химерический ли это план завоевания Индии?» — готовы спросить мы. Но нас опередил более сведущий эксперт. «Как можно задавать подобные вопросы — куда ты скачешь? — возмутился Александр Бенкендорф. — Известно куда — к преуспеянию России».

Парадокс окна в Европу

Ключевыми строками поэмы оказалась восторженная формула, с упоением повторяемая нами со школьной скамьи. Вложил ее Пушкин в уста Петру:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Как известно, Петр этого не говорил, но и не Пушкин придумал. Слова принадлежат Франческо Альгаротти — итальянскому писателю, который посетил Россию и издал письма об этом за сто лет до Александра Сергеевича: «Петербург — окно, через которое Россия смотрит на Европу». Обратите внимание на иронию Альгаротти и нелепый восторг поэта. А ведь не ворота прорублены, даже не дверь. Не выйти, не поехать, только посмотреть — единственное, что и самому Пушкину оставалось, ибо дальше Кронштадта его не пускали. Надолго ли свобода передвижения, данная Ельциным россиянам?

Пушкин писал слово *Истина* с прописной буквы и сказал гениальную фразу: «Истина сильнее царя». Но в литературной практике поэта царь, безусловно, оказывался сильнее истины. Николай положил Пушкину 6 тысяч рублей годовых (по тем временам огромную сумму, если ее не проматывать в карты), и ему было дозволено... не работать, но испрашивать разрешение, чтобы работать в некоторых архивах. «К Петру приступаю со страхом и трепетом, как вы к исторической кафедре», — сообщил он Погодину. А трепет-то отчего? Я сам видел, как у скульптора Манизера дрожали руки, когда он в присутствии двух стоящих у него за спиной искусствоведов поправлял нос Владимиру Ильичу. Говоря современным языком, Пушкин принял «госзаказ» и пошутил в письме к Плетневу: царь дал жалование и открыл архивы, «чтобы я рылся там и ничего не делал». Знал бы Пушкин, что напишет пушкинист Илья Фейнберг, не шутил бы так.

В современной пушкинистике черновые записи о Петре названы «великой книгой». В процессе развития пушкинистики условное название «Материалы для истории Петра» поменялось на безусловное, и теперь во всех изданиях стало «Историей Петра», чему и Пушкин удивился бы. Голоса скептиков, что это лишь «фрагменты подготовительного текста» и что «определенной концепции в ней нет», не принимались во внимание.

Для доказательства ценности вклада Пушкина в науку славы исследователи сличают рукопись Пушкина с серьезными историческими работами, доказывая, что Пушкин их знал. Но в результате оказывается, что Пушкин лишь выписывал сведения из книг и документов. На большее ему физически не хватило жизненного времени: до смерти оставалось два года — недостаточный срок даже для гения. Много ли он успел прочитать?

Его лицейский приятель барон Корф, любитель библиографических розысков, дал Пушкину список литературы о Петре; оказалось, большую часть ее поэт не знал. За три недели до смерти Пушкина с ним беседовал надворный советник Дмитрий Келер, оставивший дневник. Пушкин ему сказал: «Я до сих пор ничего еще не написал, зани-

маюсь единственно собиранием материалов...». Так и надо, нам кажется, относиться к этому труду: как к замыслу с незначительной частью собранного материала. Это и есть текст (в ИРЛИ примерно 160 страниц — 22 тетради) пушкинской «Истории Петра» — пачка листов, которыми наследники поэта устлали клетку с канарейками и часть успели уничтожить (пропало девять тетрадей), — упрек легкомыслию вдовы классика.

Не случайно И. Фейнберг, назвав было работу Пушкина «великой книгой», потом писал о «черновой конструкции будущей книги» и «общих контурах великой книги». Как говорится, две большие разницы! В разрозненных текстах та же заведомая симпатия к «нашим» и хула врагам. Пушкинист так оправдывает поэта: «Фигура Карла служила... Пушкину средством контрастной характеристики Петра». Вдумайтесь: шведский король Карл — «средство» для героизации русского царя. Карл у Пушкина безумный, жестокий, взбалмошный авантюрист. Он пародийно рвет на себе волосы и бьет себя кулаками по щекам. Сатирически изображая Карла, Пушкин превосходит даже апологетического писателя Голикова.

А ведь до Пушкина миф о Петре не был, так сказать, всеобъемлющим. Существовали другие мнения. За полвека до пушкинского замысла Радищев, отмечая «мужа необыкновенного», добавлял, что «мог бы Петр славнее быть», «утверждая вольность частную». Кюхельбекер в парижской лекции говорил: «Петр I, которого по многим основаниям называли Великим, опозорил цепями рабства наших землепашцев». Декабрист Михаил Фонвизин писал: «Гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества империи».

Александр Тургенев написал брату Николаю: «В Пушкине лишились мы великого поэта, который готовился быть и хорошим историком». Царь поручил «науку славы» профессору Петербургского университета Устрялову. Тот задание выполнил более профессионально, чем поэт. Кстати, в предисловии к «Истории царствования Петра Вели-

кого» Устрялов подробно говорит о всех своих предшественниках, а Пушкина даже не упоминает.

На деле жестокость, с которой Петром осуществлялась хирургическая операция на теле России, миллионные человеческие жертвы, положенные на чашу весов прогресса, породили другой, фольклорный образ царя — Антихриста, который Пушкин вспомнил. Но если глянуть шире, как минимум, бесправие, физическое уничтожение граждан, экспансия вовне и тотальный контроль за умами, — вот темы, которые можно считать вехами отсчета в правдивости изображения любого российского лидера. Без этих вех все описания склоняются к мифологии.

Поблагодарим цензуру. Когда после смерти поэта возник вопрос о печатании черновых материалов для истории Петра, цензоры изымали из записок все нежелательное. Выброшенное сохранилось в цензурном архиве. Естественно, цензура во все времена предпочитала мифологическую часть, а выбрасывала то, что работало против официального одобренного образа лидера. Однако и в изъятых текстах не удастся найти такое, что пошатнуло бы миф. Пушкин отмечал, что в идее государственной реконструкции были ум, доброжелательство и мудрость Петра, но практика жестока, «писана кнутом». Это, конечно, вычеркнуто. Цензура выкинула и любопытную фразу Пушкина, что Петр «в Синоде и Сенате объявил себя президентом». Разумеется, это приняли на ура. Ассоциации, дорогой читатель, лежат рядом.

Как показывают детали, Пушкин шел в миф сознательно. Он преувеличивал значение целей Петра и преуменьшал роль методов. Рассуждая о честности и справедливости царя, поэт отмечает без комментария: «Казачьи и калмыцкие повеления, стоя за фрунтом, колоть всех наших, кои побегут или назад подадутся, не исключая самого государя». Тонкая похвала. А ведь Пушкин вполне сознавал, что было и что надо. Записывая, что Петр был «самовластным помещиком, что его указы «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом», Пушкин осторожно пометил для себя в скобках: «Это внести в Историю Петра обдумав». Он написал о рабстве в России: «Все дро-

жало, все безмолвно повиновалось». Написал и вычеркнул. Ниже заметил: «После смерти деспота страх... начинает исчезать». И... зачеркнув «деспота», вписал: «великого человека».

«Пушкин по-разному видит Петра, — пишет Георгий Федотов в статье, название которой до коликов точно выражает двойственность Пушкина: «Певец империи и свободы»... — Низкие истины остаются на страницах записных книжек». Но это не совсем так. В том-то и дело, что большая часть низких истин отсеивалась Пушкиным при чтении, даже в записные книжки не попадала. Он просеивал материал еще *до цензуры*.

Холопское пристрастие к королям

Каковы причины вечного увязания писателя в имперской мифологии? Думается, их много, но во главе угла рабская, лакейская психология «чего изволите», традиционный русский страх наказания «за слово» и лишь в последнюю очередь — очевидное давление сверху.

И в этой области Пушкин расставил для нас все точки над *i*: он называл народ чернью и считал, что историю творят избранные вожди. Отсюда гипноз личности царя, в воздействии которого Пушкин признавался Владимиру Далю: «Чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно». Пушкин сознавал свою слабость: «Шекспир, Гете, Вальтер Скотт не имеют холопского пристрастия к королям и героям». Стало быть, это наша, русская черта. По одной из версий, в связи с «раздвоенным психическим состоянием», как писал Анненков, поэт прекратил работу над историей Петра задолго до трагической дуэли, пытаясь быть объективным и чувствуя, что такой подход «непроходим». В то время, кстати, Пушкин множество анекдотов о Петре стал рассказывать устно. Как не раз случалось с русскими писателями, книга уходила в воздух.

Вот уж вряд ли в страшном сне мог предположить прозорливый Пушкин, что сливки с его произведений будет снимать вовсе не Николай Павлович, а Иосиф Висса-

рионович. Случайно найденные через 101 год после смерти Пушкина конспекты по истории Петра были опубликованы в 1938 году вовсе не случайно. Энергичная работа по редактированию этих черновиков падает на тридцатые годы и завершается публикацией новой версии. Не случайно, что один русский царь удостоился в советское время чести называться «вождем», и это был Петр.

В свое время Анненков, получив от вдовы поэта тетрадь с записями, написал, что рукопись материалов о Петре «не представляет, собственно, материалов, но только выписки из них и ссылки». Когда к столетию со дня смерти поэта в 1837 году создавался миф о великой работе Пушкина про Великого Петра, было заявлено, что Анненков «недооценил значение» труда поэта. Будучи уже тяжело больным, И. Фейнберг подробно рассказывал мне в Переделкине в 1976 году, как он от руки переписал в Пушкинском доме все имевшиеся там хаотические выписки Пушкина и днями и ночами раскладывал пасьянс в соответствии с биографией Петра. Если аргументов в тексте заготовок Пушкина не находилось, комментарии звучали следующим образом: Пушкин говорит о казнях, «сопровождая свои слова выразительным многоточием». Или: «Чувство патриота сказывается даже в оборотах и интонациях Пушкина».

Пушкин воспевал Петра Великого, а Петр понадобился Сталину. Заготовки Пушкина без логики и системы превращаются в концептуальный труд историка о Петре, и Пушкин, таким образом, участвует в новой мифологии, на этот раз сталинской. Пушкин сам сделан государственным мифом, и создаваемый с размахом пушкинский миф о Петре подтверждал сталинский миф о самом себе. В миф были задействованы, в частности, Сергей Эйзенштейн, писатели А. Толстой, В. Мавродин, Н. Павленко и др., пошел поток художественных и вовсе не художественных биографий Петра, написанных «под Сталина».

Одним из важных положений комментаторов становится при Сталине пушкинское оправдание репрессий во имя высшей цели. По окончании Второй мировой войны Пушкин снова нужен, чтобы полемизировать с Адамом Мицке-

вичем относительно превращения Польши в соцлагерь. Затем Пушкин используется в споре с иностранными писателями. Не хочется думать, что наш добрый, умный Пушкин добровольно написал мерзость под названием «Клеветникам России», но из песни слова не выкинешь.

«Жизнь замечательных царей»

Пушкин выполнял обязанности официального художника слова и творил для бесконечной серии «Жизнь замечательных царей». Культ царей (вождей, генеральных секретарей, президентов) есть неотъемлемая часть русского массового сознания. Изображение лидера осуществляется по отработанной веками системе канонов: божественность и — простота (плотник, солдат, ни в коем случае не интеллигент, но при том знаток всех наук от зубопротезирования до языкознания). Оценки деятельности лидеров теряют всякое чувство меры: могущество Петра — молниям и волнам повелитель, о Сталине лучше не вспоминать, чтобы не портить аппетита, а Путин уже заранее великий каратист, лыжник, летчик, подводник и, как Петр, академик. Правда, пока только Туркменской академии, зато знает, как мочить людей в сортире.

В силе ли для сегодняшних лидеров России слова Ключевского: «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная»? Если загадка не разрешенная, то злодеяния вождей прошлого в скором времени могут показаться миру детскими забавами. Сегодня уровень жизни в России опустился едва ли не до уровня петровских времен, и логично предположить, что появятся силы, которым захочется вернуть советскую систему распределения колбасы и водки под надзором ЧЕКА. И может возникнуть ситуация, опасная для всего мира: новый Владимир — красно солнышко, бряцающий водородной бомбой.

Личности русских лидеров сегодня нуждаются в трезвом понимании. Соблазн всех их, будь то Сталин, Хрущев, Горбачев или резвые их наследники, равняться на Петра

Романова понятен. Тот был выдающийся мастер авторитарных преобразований любой ценой. Он зачал бесконечную цепь умельцев, открывающих и закрывающих окно в Европу, готовых уничтожить половину нации для реализации очередного сумасбродного плана. Такой лидер гарантированно прав, всегда одобрен своими борзописцами. Даже спустя 200 лет Ключевский говорил о Петре I, как о миротворце в области международной политики: «В этой мирной семье народов под знаменем Петра Великого и займет свое место мирный русский народ». На деле народ, проводив очередного вождя, каждый раз остается в приходе мировой цивилизации, с тоской и растерянностью глядя на нее через окно. Не пора ли поменять ориентиры? Если русский народ станет мирным (чем пока что не пахнет), то вряд ли символом этого сгодится знамя Петра. Некоторые западные слависты (и автор этих строк в их числе) полагают, что более значительным русским царем был вовсе не Петр, а Александр II, который демократизировал страну, отменив крепостное рабство, создав цивилизованную судебную систему и отворив в Европу не окно, но дверь, — к сожалению, не навсегда.

Набоков считал, что его устраивает любое правительство, лишь бы портреты вождей не превышали размеров почтовой марки. В России сие пока нереально. Зато реально неугасаемое желание лизать хозяину то место, по которому, как говаривал Даль, у французов запрещено телесное наказание. «Ура, наш царь! так! выпьем за царя». Пушкин написал это в Михайловской ссылке в надежде получить заграничный паспорт. Стихотворение напечатали, но «ура!» приказано было выкинуть. За сим нашло на поэта новое вдохновение:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Тут сам Николай Павлович снова смутился, печатать не разрешил, однако генерал ФСБ Бенкендорф намекнул Пушкину, что Его Величество не возражает, чтобы стихи

распространялись устно, так сказать, в самиздате. Сто двадцать пет спустя писатель Леонид Леонов заявил в «Правде», что летосчисление нужно поменять, начав его не с Иисуса Христа, а со дня рождения Иосифа Виссарионовича. Поэт Исаковский обратился к вождю с одой:

Спасибо Вам за подвиг Ваш высокий,
За то, что Вы живете на земле.

Никто в мировой литературе не додумался сказать спасибо величайшим умам человечества за то, что они жили на земле, а не на Марсе. А вот убивец 70 миллионов своих сограждан сподобился. К сожалению, опыт прошлого ничему не учит. Россия с криками «Ура!» легла под нового вождя и ждет ласки. Судя по происходящему, и в новом тысячелетии не остаемся ли мы лишенцами по части чувства меры и стыда.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ И СТАЛИНСКИЙ РЕЖИМ

Заметки социолога

На протяжении всей советской истории, в особенности в сталинские времена, советский народ как бы жил в трех независимых друг от друга психологических мирах. Этот феномен был типичен даже для демократических стран. Люди, живущие в первом из этих миров, поддерживали действующий режим, во втором — ненавидели его, и в третьем — старались вообще не думать об идеологии, тратили на нее минимум времени, предпочитая не замечать ничего за пределами своей повседневной жизни.

При этом люди, принадлежавшие к любому из трех миров, имели весьма поверхностное представление о тех, кто "жил" в других мирах, особенно тех, кто горячо любил родную советскую власть. Те, кто ненавидел режим, оказывались в наихудшем положении (жили в худшем, так сказать, из указанных "миров"). Страх заставлял их осте-

регаться людей, которые, возможно, могли оказаться их единомышленниками. Поэтому они испытывали большую радость, когда им в действительности удавалось сблизиться с кем-то, кто разделял их воззрения.

Ясно, например, партаппаратчики не имели никакого представления о том, что думают те из их знакомых, которые ненавидели режим, так как они скрывали свои чувства от тех, кто с большой вероятностью донесет на них властям. Даже близкие родственники, родители, дети, братья и сестры часто не имели представления о воззрениях друг друга. В своей классической книге "1984" Джордж Оруэлл блестяще обрисовал эту фундаментальную сторону тоталитарного общества — в сцене встречи Смита и Юлии, когда они постепенно осознают, что они оба ненавидят систему. Естественно, что в этом, как и во многих других аспектах, нацистская Германия представляла собой точную копию советской системы.

Мир сторонников режима и конформистов

В условиях всеобщего страха и господства в стране официальной идеологии, при постоянном уважении людей к власти (как антиподу анархии), при явных выгодах, получаемых благодаря близости к режиму, большая часть активного населения страны принадлежала к числу искренне лояльных граждан. Это были миллионы членов партии и различного рода активистов, сотни тысяч людей, занимающих высокие посты на всех государственных уровнях, армейские офицеры, политическая полиция и вообще все те, кто получал разного рода преимущества благодаря своей политической и социальной активности (например, молодежь), наконец, значительное число рабочих, пользовавшихся многообразными привилегиями и поощряемых пропагандой, не устававшей трубить об исключительной роли рабочего класса как гегемона советского общества.

Существует ряд источников, которые подтверждают это представление о позиции общества в отношении к режиму. Личные дневники и частные письма рядовых граждан являются лучшими из таких источников. Их отличала ис-

кренность, их авторы писали для себя, без намерения предать свои мысли огласке или опубликовать их для широкой читательской аудитории.

Галина Штанг, жена профессора Института железнодорожного транспорта, была одной из тех, кто вел подобный дневник. Вот что писала Галина 6 декабря 1936 года (вскоре после того, как ей стукнуло пятьдесят):

"Вчера вечером была принята Сталинская Конституция. У меня просто не хватает слов, чтобы по достоинству оценить это событие. Я испытываю то же, что испытывает вся наша страна, то есть абсолютный, безграничный восторг!" Далее Галина рассказывает, как она и члены ее семьи старались раньше всех попасть на избирательный участок в день первых советских выборов 12 декабря 1937, которые стали поводом для всенародных празднеств и расценивались в печати как гигантский прогресс в развитии социалистической демократии.

Семья Галины явилась на участок в 6 утра, и это только для того, чтобы быть среди тех, кто стремился первым опустить избирательные бюллетени в урны. После голосования Галина в своем дневнике пишет: "Я чувствовала, что взволнована до глубины души, не знаю отчего, но я ощущала, как от волнения и переживаемых мной чувств к горлу подступил комок".

Сестра Галины, Ольга, написала ей письмо, делясь с ней своим ликованием в тот же день выборов. Дневник инженера Леонида Потемкина был полон примеров того, как он всем сердцем поддерживал трудный путь партии, ведущей одну за другой многочисленные политические кампании, включая судебные процессы 37-го года. Сам Леонид не может найти слов, чтобы выразить свою радость в связи с тем, что был назначен агитатором на выборах.

Другим важным источником информации, которой мы располагаем, являются мемуары. Бывшими советскими диссидентами, оказавшимися на Западе, был опубликован ряд книг о их жизни в тоталитарном советском обществе (см. книги Раисы Орловой, 1982, 1983; Льва Копелева, 1978, 1975, 1982; Петра Григоренко, 1982; и многих других). Авторы этих мемуаров рассказывали о том, с каким

фанатизмом они в свое время поддерживали режим, объясняли, сколько радостей им давала их прошлая жизнь, несмотря на аресты друзей и сослуживцев (Колодницкий, 1993). Даже дети крестьян, которым коллективизация принесла огромные страдания, были среди тех, кто симпатизировал советской власти (вспомним Твардовского).

Литература 30-х годов (романы Валентина Катаева, Вениамина Каверина, Юрия Олеши, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Ильи Эренбурга, Аркадия Гайдара и многих других) также характеризуют этот период, как светлое, лучезарное, героическое время, как прекрасное утро социализма.

Огромная популярность многих советских песен — это еще одно, хоть и косвенное, но очень живое свидетельство поддержки широкими слоями населения официального взгляда на советскую действительность. Песни эти прославляли Отечество, Сталина, Москву как столицу СССР, счастливую советскую жизнь, партию, Красную Армию, ее генералов и офицеров, непобедимость страны социализма и ее противостояние капиталистическому врагу.

У наиболее популярных песен обычно были захватывающие мелодии, всегда возвышенные и романтические, особенно те, которые сочинялись Исааком Дунаевским, Матвеем Блантером, братьями Дмитрием и Даниилом Покрассами и другими выдающимися песенниками.

Советские массы приветствовали с восторгом и неподдельной искренностью любой успех социалистического Отечества, например; спасение 104 пассажиров ледокола "Челюскин" в 1934 году. Поэзия Бориса Пастернака прославляла героизм советского народа, испытания, выпавшие на долю героической экспедиции выдающегося полярного исследователя Ивана Папанина, которая в 1937-1938 годах провела несколько месяцев на дрейфующих льдах Арктики, первый беспосадочный перелет Валерия Чкалова и Валентина Громова из Москвы в Америку в 1937 году...

Но советские люди поддерживали не только официальные кампании, но и массовые сталинские чистки конца 20-х и 30-х годов. В ряде случаев люди были не удовлетворены тюремными сроками "изменникам роди-

ны" и требовали их расстрела. ("Если враг не сдается, его уничтожают!")

В 30-х годах и даже позже (вплоть до XX съезда партии) очень немного людей подвергало сомнению вину тех, кто был расстрелян или отравлен в лагеря ГУЛАГа. Более того, люди во многих случаях поддерживали аресты близких друзей и даже родителей. Всеобщее прославление печально знаменитого Павлика Морозова, юного пионера, донесшего органам на своего отца, как на врага коллективизации (и позже убитого своим дедом), хорошо отображает тогдашние настроения.

Концепция "капиталистического окружения" в те годы работала исключительно хорошо. Жители страны были убеждены в ненависти иностранных государств (как на Западе, так и на Востоке) к молодой стране Советов. Склонность русских верить в разного рода теории о вражеских происках (особенно в заговоры, устраиваемые иностранными врагами против их социалистического отечества) находила поддержку в ксенофобии, сохранившейся в сознании людей с дореволюционных времен.

Следует отметить, что массовый террор середины 30-х годов был прежде всего направлен против партии и чиновников государственного аппарата и куда в меньшей степени против рядовых граждан страны. Массы, как правило, поддерживали борьбу кремлевских руководителей против политической элиты и легко соглашались с официальными обвинениями против партаппаратчиков, которые объявлялись изменниками родины, иностранными агентами, стремящимися подорвать республику Советов.

При этом ко всенародной поддержке этой политики и ненависти к партаппарату часто примешивалась зависть низов к высокопоставленным слоям общества и к их роскошной по тогдашним стандартам жизни. Репрессии, которым подвергалась элита, часто были направлены против евреев, и хотя антисемитизм тогда еще открыто не поддерживался властями, антиеврейские настроения подогревали обстановку всеобщего недовольства и ненависти, царившую среди широких масс.

Хрущевские разоблачения массового террора 30-х годов, которые последовали на XX съезде партии, по-настоящему потрясли страну, вызвав массовую истерию и в каких-то случаях даже самоубийства. Подобная реакция красноречиво демонстрирует, насколько глубока была вера в режим народных масс, безоговорочно поддерживавших политику массовых репрессий.

Авторы почти всех мемуаров, написанных советскими диссидентами и эмигрантами в 70-х и 80-х годах, пытаются объяснить, как получилось так, что они сами верили в честность процессов и обвинений, служивших основаниями для массовых арестов. Да, даже они, впоследствии ставшие врагами режима, в те годы были преисполнены искренней веры в справедливость сталинских чисток. (Они допускали лишь некоторые исключения для своих личных друзей, чья вина выглядела для них необъяснимой.)

Преданность советского народа системе ярко проявилась в культе Сталина. Зародившийся в начале 30-х годов, этот культ открыто поддерживался большей частью населения. Сталина прославляли даже рядовые люди, в своих личных разговорах: на улицах, на кухнях, в разговорах с друзьями и родственниками, — за Сталина обычно поднимали первый тост за любым праздничным столом.

Культ Сталина пронизывал сердца и души большинства жителей России, от партийных аппаратчиков до рядовых граждан страны. При этом сталинский авторитет, будучи огромным перед войной, еще более вырос после войны, Сталин как вождь и генералиссимус первым пожинал все лавры победы. Любовь к Сталину приняла воистину гротескный характер в 1949 году, когда праздновалось его 70-летие.

При полной поддержке населения каждая административная единица — район, область, республика, предприятие и учреждение — слали поздравительные телеграммы "величайшему человеку в мировой истории". Многие простые люди направляли в газеты письма и вносили предложения на митингах, предлагая всевозможные способы обессмертить имя "великого Сталина" в истории человечества.

Ужас, с которым народ встретил известие о смерти Сталина 5 марта 1953 года, выглядел поразительно. Как вспоминал один известный историк 50 лет спустя, "горе страны было воистину искренним. Гроб Сталина провожали охваченные горем и паникой тысячи людей, стремившихся таким образом последний раз отдать дань уважения великому вождю. Его похороны выглядели как самое незабываемое событие всей советской истории".

Поведение сторонников режима

Огромный энтузиазм масс в 30-е годы был важным свидетельством преобладавших в стране просоветских настроений. Люди героически трудились на ведущих стройках страны, например, на строительстве Магнитогорского металлургического комбината, Туркестано-Сибирской железной дороги, на стройке Московского метрополитена.

Стахановское движение, которое было организовано властями (а вовсе не было спонтанным всплеском народной инициативы ради повышения индивидуальной производительности рабочих) также породило значительное число энтузиастов, безоглядно верящих в социализм.

Миллионы молодых людей вступали в различные общественные организации, которые использовались Кремлем для поддержания энтузиазма широких масс. Эти организации включали комсомол, Осоавиахим (организация, занятая подготовкой обороны страны), МОПР (задача которого заключалась в поддержке революционных сил за рубежом), Красный крест и ряд других.

Сотни тысяч с энтузиазмом становились добровольными информаторами политической полиции — "стукачами" органов НКВД. Впрочем, многие превращались в "стукачей" под давлением тех же органов, часто просто для того, чтобы выжить, в особенности если человек лишился доверия в силу своего социального происхождения (о чем, в частности, пишет Степан Подлубный в своем дневнике, вышедшем в свет в 1994 году).

В середине 30-х годов шансы партаппаратчиков и интеллектуалов (в особенности тех, кто вызывал у органов

подозрения) оказаться за решеткой или даже быть расстрелянными в подвалах Лубянки были велики. Но даже в условиях нависшей угрозы ареста многие из подозреваемых не выражали никаких сомнений (ни публично, ни в личной жизни, ни даже в разговорах с супругом) в своем благополучном будущем или в оценках своего прошлого.

Более того, немало узников ГУЛАГа, так называемые "старые большевики", несмотря на пройденный ими трагический путь, оставались правоверными коммунистами в своих оценках прошлого и будущего. Письмо-обращение Николая Бухарина к будущим поколениям большевиков, сохраненное его женой демонстрировало его непререкаемую веру в коммунистическую идеологию.

Среди сторонников режима находилось много фанатиков, которые отвергали даже намеки на несовершенство советской системы или марксистского учения, отвергали любые попытки критиковать партию и ее вождей.

Уже будучи сосланными в ГУЛАГ, такие фанатики продолжали упорно демонстрировать свою верность системе, и людей этого рода можно было встретить на любом уровне и практически во всех слоях советского общества.

Советская молодежь, с которой партия связывала будущее страны, являлась важным резервом коммунистической системы, резервом преданности и лояльности к сталинскому режиму. От учеников начальных школ к подросткам, от подростков к взрослеющей молодежи — таков был путь, следуя которым, шаг за шагом формировалось новое поколение страны и вместе с ним наиболее преданные делу коммунизма слои советского населения. Разнообразные косвенные данные свидетельствуют о том, что многие молодые люди той эпохи страстно верили в коммунистическое будущее и готовы были на каждом шагу видеть признаки грядущей мировой революции.

Вспомним биографический рассказ Солженицына "Случай на станции Кречетовка", описывающий молодого лейтенанта, который в сентябре 1941 года, несмотря на наступление немцев, каждую свободную минуту штудирует "Капитал" Маркса и не устает делать на полях собственные заметки по поводу прочитанного.

Почти все дети или подростки, вступавшие в пионерские или комсомольские организации, были обычно преисполнены чувством гордости за этот свой шаг. Молодые люди, выходявшие из стен школы, сразу же оказывались под непрекращающимся давлением идеологического прессы. Абсолютное большинство молодого поколения, даже в тех случаях, когда родители ненавидели систему, относилось с энтузиазмом и безграничной верностью к молодой республике Советов.

Даже гитлеровские солдаты и офицеры, которые оккупировали значительную часть советской территории в 1941-1942 годах, отмечали, что в отличие от старшего поколения молодые люди России (17-20 лет) были преданы советской системе.

Мир врагов советской системы

В числе тайных ненавистников режима были прежде всего люди, которые имели положительный опыт жизни либо в дореволюционной России или за границей. Власти имели все основания не доверять этим людям, особенно когда речь шла о выходцах из правящих классов или представителях среднего класса (то есть о людях, имевших хорошо обеспеченное существование, которое трудно было даже сравнивать с их жизнью после революции). Именно власти требовали, чтобы социальное происхождение каждого, кто претендовал на более или менее высокую должность, было подвергнуто тщательной проверке, включая социальное положение родителей до революции и их связи с заграницей. Понятно, что в большинстве случаев "плохая биография" препятствовала всякому продвижению вверх ее обладателю. Более того, в годы массового террора любой гражданин, которому довелось пожить за границей (пусть в течение короткого времени или даже если он был послан за рубеж властями), становился возможным кандидатом на многолетнее заточение в ГУЛАГ или на расстрел.

Очевидно, что мир ненавистников режима включал все те группы, которые с основанием, а иногда и без, рас-

сматривались советской властью как ее враги: выходцы из бывших господствующих классов, священники, кулаки, члены социалистических, но не большевистских партий, лица, исключенные из партии в 30-40-е годы, многие жители оккупированных в 30-е годы территорий (Западная Украина, Белоруссия, Бессарабия, Прибалтийские республики), ряд этнических меньшинств, которые сотрудничали в годы оккупации с немцами, бывшие военнопленные и просто лица, оказавшиеся по каким-то причинам на оккупированных территориях. Мир врагов советской власти включал в себя не только многочисленных ее жертв, но также и родственников этих людей.

Ненависть к системе некоторых людей оказывалась столь глубока, что они еще в 20-е и 30-е годы лелеяли мечту о войне и иностранном нашествии. Эти люди страстно желали изгнания большевиков из России. Они возлагали надежды на победу нацистской Германии во Второй мировой войне. После 1945 года некоторые даже были согласны на атомное нападение на свою собственную страну.

Однако было бы преувеличением считать, что люди, ненавидящие систему, отвергали все без исключения ценности советской жизни. На самом деле некоторые из этих ценностей они безоговорочно принимали, такие, например, как государственная система здравоохранения и образования или государственная собственность на крупные предприятия. Этот факт сам по себе свидетельствует о том, как глубоко советская идеология проникла в сознание жителей страны. Приверженность этим ценностям была сильна даже среди тех, кто порвал с Советским Союзом во время войны, так же, как и среди многих советских диссидентов, не говоря уже о русских, которые в посткоммунистический период открыто голосовали за эти социалистические ценности.

Широко известный Гарвардский проект, который основывался на опросах "перемещенных лиц" — людей, оказавшихся на Западе по разным причинам и не желавших возвращаться в Советский Союз во время войны (50-е годы) проливает свет и на сознание советских людей в предвоенный период. Как исторический источник, отражаю-

щий общественное мнение жителей СССР до войны, он имеет свои слабые и сильные стороны. С одной стороны, его данные явно не являются репрезентативными ко всему населению страны. С другой стороны, этот источник более надежен, чем многие советские материалы, используемые для изучения этой проблемы (письма в газеты, партийные и политические доклады и пр.), на которые страх перед режимом не мог не оказывать серьезное влияние. Между тем, респонденты в Гарвардском проекте получили возможность жить в свободном мире, вне сферы влияния тоталитарной системы, и были относительно свободны в выражении своих оценок жизни в СССР. Конечно, нельзя игнорировать и стремление части респондентов понравиться американским интервьюерам, которые, как они полагали, резко отрицательно относились к Советской системе.

Принимая во внимание как положительные черты опроса, так и его недостатки, трудно не выразить удивления по поводу того, что в среднем треть опрошенных сообщили, что, живя в Советской России, они относились к режиму с симпатией. От 80 до 90 процентов респондентов Гарвардского проекта поддерживали государственную собственность на тяжелую промышленность, транспорт, так же как и на систему социального обеспечения. Две трети респондентов защищали систему государственного образования и здравоохранения. Большинство опрошенных приветствовали достижения Советского Союза в области культуры, 70-80 процентов отдавали предпочтение основной социалистической экономике в годы НЭПа, в то время как только 5-28 процентов "голосовали" за капитализм.

Тремя десятилетиями позже на Западе оказалась другая большая группа советских граждан. Теперь это были эмигранты, в большинстве своем евреи, которые покинули Советский Союз по причинам, отличным от тех, по которым оказались за рубежом "перемещенные лица". Новые эмигранты открыто выражали нежелание жить в Советском обществе. Так же, как респонденты Гарвардского проекта, многие из них тоже стремились в чем-то "подыграть" американским интервьюерам, которых они тоже считали критиками советской власти. Однако, вопреки ожиданиям, большин-

ство их характеризовало жизнь в Советском Союзе в 70-е годы (опрос проводился в начале 80-х) в довольно позитивных тонах. В самом деле, из 2800 респондентов только 14 процентов оценили свою прошлую жизнь как совершенно неудовлетворительную. Добавляя к ним тех, кто был "до некоторой степени неудовлетворен" (25 процентов), критически настроенных к своей жизни в Советском Союзе (39 процентов) оказалось гораздо меньше половины всех опрошенных. Число же тех, кто был "совершенно неудовлетворен" своей работой, оказалось только 6 процентов.

Мир обывателей

Значительное число советских людей, несмотря на давление пропаганды, оставались в течение многих лет индифферентными к политике. Они скрывали свои политические симпатии и антипатии, не имея ни способности (большинство составляли малообразованные люди), ни желания касаться политических проблем.

Отчетливо понимая, сколь опасно в открытую разглаживать на эти темы, они воздерживались вообще высказывать какие-то взгляды, выходящие за рамки их повседневной жизни. Советская пропаганда в сталинские времена объявляла этих людей обывателями и смотрела на них с подозрением. Подобный взгляд на них претерпел изменения в эпоху Брежнева, когда Кремль пришел к выводу, что эти люди, в сущности, ни в какой степени не угрожают системе.

Три "мира" в годы Второй мировой войны

Оценка поведения людей в годы войны — это трудная задача, поскольку и адвокаты и критики системы старались использовать опыт войны для защиты своих взглядов.

По мнению автора этого эссе, было бы слишком упрощенно объяснять патриотическое поведение абсолютного большинства населения исключительно страхом перед властями. Определенно страх играл свою немаловажную роль.

Аресты и абсурдные обвинения, являвшиеся результатом доносов "стукачей", происходили часто и в годы войны.

В то же время война, о которой мы говорим, была в полном смысле слова войной народной. Действительно, людям была объективно предоставлена свобода выбора: они могли или проявить активность в защите родины на фронте или тылу или просто-напросто быть пассивными. На самом деле мир стал свидетелем бесчисленного числа героических поступков русских людей. Более того, война открыла перед ними возможности непрерывно находить новые пути для проявления героизма и инициативы.

Конечно, патриотическое поведение в большинстве случаев было продиктовано непосредственным стремлением разгромить агрессора, который хотел поработить Отечество. Именно по этой причине Сталин пошел на изменение официальной идеологии, решительно введя в нее и сделав в ней доминирующим русский национализм. Василий Гроссман, умный и проницательный летописец тех лет, писал, что в годы войны было разбужено русское национальное самосознание. Однако в то же время большинство народа видело в советской власти силу, способную организовать народ для борьбы с нацистской агрессией.

Сложнее обстоит дело с оценками поведения людей, находившихся на оккупированных территориях. Истинное положение вещей во многом определялось разными периодами войны. В первые месяцы многие жители оккупированных территорий, особенно в деревнях, были переполнены ненавистью к советской власти и принимали немцев со смешанными чувствами. Воспоминания о коллективизации и массовых репрессиях были еще слишком живы, и многие приветствовали немцев как освободителей от советского гнета. Более того, в этот период тысячи людей, которые бежали из советских тюрем, лагерей, оказались на оккупированных территориях. Когда советские порядки выглядели практически обреченными, все большее число людей считали необходимым адаптироваться к новым властям. В своих попытках "нормализовать" свою жизнь, некоторые из них, вполне лояльные к советской власти в прошлом, для психологической адаптации старались чувствовать себя как закоренелые враги

советской системы. По данным Волкогонова, 800 тысяч человек служили немцам в различных должностях.

Однако видя жестокость немцев, их ясно выраженное нежелание предоставить жителям России хоть какие-то права и в то же время видя растущую мощь Советской армии, большинство жителей оккупированных территорий становятся все более враждебными к немцам. Партизанское движение на оккупированных территориях начало находить все большую поддержку у русского народа. Однако у миллионов жителей оккупированных территорий, даже когда советская победа становилась все более очевидной, отторжение от советской власти сохранялось, усиленное страхом возмездия за сотрудничество с врагом. Многие из них, оказавшись на Западе, вместе в сотнями тысяч военнопленных и людей вывезенных немцами на работу в Германию, отказались возвращаться на родину. Их общее число составляло 5-6 миллионов.

Но речь идет не только об оккупированных территориях. Было много людей, проживавших далеко от линии фронта, но которые после войны также демонстрировали свои антисоветские настроения.

В 1990 году один советский литератор писал, что им было обнаружено шесть тысяч писем, в большинстве своем анонимных, которые были посланы в 1942 году в местную ивановскую газету. Город Иваново был известен как типичный рабочий район, враждебно настроенный к советским порядкам. Многие из его жителей лелеяли надежду на то, что после победы над фашистской Германией Сталин смягчит существующий режим, увы, этим надеждам не суждено было сбыться.

В конце концов война, о которой идет разговор, материализовалась как подлинно великое торжество советской системы. Престиж СССР был очень высок в течение всего этого времени как внутри страны, так и за ее рубежами.

Война породила чувство единства власти и народа ("Народ и партия едины!" — можно было прочесть на каждом шагу в те годы). Это новое явление отмечалось многими иностранными обозревателями как в годы войны, так и после ее окончания.

Заключение

На всех этапах истории советский режим получал широкую общественную поддержку со стороны всех слоев населения. Уважение к режиму и его идеологии (соединение социализма и русского национализма) сохранило в России силу и после падения Советского Союза.

Как свидетельствуют доступные нам источники, режим во все времена получал активную или пассивную поддержку со стороны большей части общества (не менее двух третей). После гражданской войны большинство населения (с некоторыми ограничениями) приспособилось как экономически, так и психологически к советскому режиму. Более того, вопреки расхожему мнению о постепенном разочаровании в советской власти после революции число приверженцев режима росло монотонно с середины 20-х годов и достигло пика во время войны. К 1953 году режим поддерживался большинством образованных, молодых и энергичных людей, необразованными и немолодыми, занимавшими должности больших и маленьких начальников. Иначе говоря, власть сумела поставить себе на службу то, что теперь называется "человеческий капитал" страны. Это она сделала с помощью страха, идеологии, обещающей лучшую жизнь в будущем, огромной социальной мобильности и, не в последнюю очередь, своей легитимности как силы, способной гарантировать в стране порядок, защиту против внешней агрессии и обеспечить высокий статус России в мире.

Ричард Пайпс, знаменитый американский историк, в последние 30 лет был и одним из самых бескомпромиссных критиков советской системы, часто изображавшейся им, в качестве системы преступной, как порождение банды жаждущих власти фанатиков. Однако заканчивая своей фундаментальной (почти 600 страниц) труд "Россия под властью большевиков" (1993), в котором он не оставил буквально живого места от советской системы с ее руководителями, ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ, партией и государственной бюрократией, практически не посвятил отношению народа к советской власти ни одного параграфа. Только

буквально в конце книги, на предпоследней странице основного текста (511-й) он меланхолично вздыхает, признавая, что, "чтобы мы ни думали об этом порочном режиме, он пользовался поддержкой всего народа".

Поддержка лучшей частью населения России кровавого сталинского режима не может не внушать грустные мысли о человечестве. Как прав был великий Оруэлл, понявший, наверное, первым, что тоталитарный режим может превратить большинство своих граждан в искренних сторонников ужаснейшей системы, поскольку нет лучшей стратегии адаптации, чем полюбить "большого брата", от которого нельзя избавиться, будь то сталинский или гитлеровский режимы, когда перед нами страна которую нельзя покинуть, супруг, которого нельзя поменять.



Юрий РЯБИНИН

ВРЕМЕНА ПЕРЕСТРОЙКИ: ИЗ ДНЕВНИКА МОСКОВСКОГО ЖУРНАЛИСТА

Предлагаем вниманию читателей страницы из подлинного дневника московского журналиста Юрия Рябина, в котором нашли отражение некоторые характерные примеры ушедшего десятилетия.

1990 год

Август

Историческая примета августа 1990 — всеобщий табачный дефицит. Появилась забытая было махорка. А с ней и самокрутки. Литровая банка окурков стоит на Рижском рынке 10 рублей. Разгневанные толпы у табачных киосков неоднократно уже перекрывали движение на московских улицах. В Ленинграде, говорят, таким же образом был блокирован Невский. С рук пачка сигарет стоит в несколько раз дороже. На том же Рижском рынке цыгане ловят покупателя.

А в конце месяца начались перебои и с хлебом.

13 сентября

Ельцин сегодня по телевиденью попросил «кредит доверия» на два года. «Два года нужно, — сказал он, — для стабилизации экономики, а в третьем году будет повышение уровня жизни». С 1-го октября начнет действовать его программа по стабилизации экономики «500 дней». Он еще раз призвал союзное правительство во главе с Рыжковым уйти в отставку.

Октябрь

Начало перехода к рынку отнесли на 1 ноября. Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира,

11 декабря

Начал собирать материалы для университетской дипломной работы. Тема — Бунин в эмиграции. Сегодня весь день просидел в Отделе рукописей «Ленинки». Все пять книг Бунина, с которыми я работал, испещрены авторскими правками. На обложке 7-го тома берлинского Собрания сочинений издательства «Петрополис» Бунин написал своего рода завет будущим издателям: «Всюду сохранить мои знаки препинания! Ив. Бун.» Знал бы он, как небрежно сейчас издают у нас его сочинения. Сколько опечаток. Сколько неточностей в наборе.

Потрясающее это ощущение, когда у тебя в руках книги с многочисленными автографами классика такой величины. Кажется, что непосредственно общаешься с ним. Как живой с живым.

1991 год

13 января

В Вильнюсе побоище. Тринадцать человек убито и полтора ранено. Ночью десантники захватили с бою вильнюсский телерадиоцентр. Это ответ Москвы на литовскую «независимость».

20 января

В Москве грандиозная манифестация солидарности с Литвой.

От пл. Восстания, далее по ул. Чайковского, по Калининскому широкой колонной демонстрация вылилась на Манежную пл. Как объявили организаторы, число участников манифестации составило полмиллиона. Если они и преувеличивают, то, вероятно, незначительно. Во всяком случае, Манежная была забита людьми до отказа. Часть людской массы широким рукавом теснилась в начале Тверской. Трибуна стояла у гостиницы «Москва». Митинг открыл Ю.Афанасьев. Выступали Гдлян, Станкевич, Черниченко, Заславский, о. Глеб Якунин, Тихомиров и др. На плакатах надписи: «Долой КПСС», «Горбачева — в отставку», «Язов — убийца», «Нет союзному договору», «Свободе Литве», «Диктатура не пройдет». Народ скандировал: «Ельцин! Ельцин!» «Язова — под суд!» «Долой СССР!»

19 марта

По «Свободе» передали: вчера какой-то чудаков прокрался в кремлевский некрополь и железным прутом отбил нос Сталину.

26 марта

Бабушка получила продуктовую посылку из Нидерландов. Это в рамках западной помощи русским престарелым, многодетным и инвалидам. Распределение осуществлял какой-то приход, если не ошибаюсь, не православный, где-то рядом с Лубянской площадью. В посылке двенадцать наименований общим весом около 10 кг. Там были шоколадки, чай, мука, консервы какие-то, еще что-то.

Для бабушки было особенно, наверное, радостью, когда я рассматривал все эти красиво упакованные изделия. Как она смотрела! Как радовалась! А я, большей частью, чтобы ей доставить удовольствие, доставал из коробки содержимое и выкладывал на стол. Потом мы снова все уложили в коробку. Бабушка сказала: «Пусть отец теперь

придет полюбуется». Пришел к вечеру отец. И сцена повторилась. Как же бабушка была счастлива!

22 июля

Прочитал «На другой день» А.Бека.

Ленин у него очень хрестоматийный, отмытый, но, вместе с тем, и эдакий растерявшийся мечтатель-утопист, неуверенный в завтрашнем дне. «Главное ввязаться в драку, а там будь, что будет». Каменев пустой апологичный бесхребетный интеллигент. Зиновьев мыслитель, теоретик, но не борец, не соперник Сталину в мастерстве интриги. Наконец, сам Сталин, в изображении Бека, это личность харизматическая, по-восточному деспотичная, но неблагоприятная, со всеми пороками плебея.

31 июля

Метро в Москве сегодня работает бесплатно. Какое-то «крупнейшее в стране объединение по продаже компьютеров и оргтехники», в рекламных целях, выкупило на один день метро. И предоставило в безвозмездное пользование населению.

7 августа

Занятный, как думается, эпизод по дороге в Останкино. В девятом троллейбусе. Кто-то уронил мороженое, и оно растеклось по полу сладкою лужицей. Все пассажиры, в том числе и дети, предусмотрительно ее обходят, ищут место, куда бы ногу поставить. Но вот за две остановки до телецентра в троллейбус вошли трое иностранцев. И пошлепали прямо по этой луже. И ничего не заметили даже. Они настолько уверены в чистоте дороги и особенно пола в общественном транспорте, что им и в голову не приходит смотреть, куда они наступают.

18 августа

Командировка от телевиденья. Вечером с двумя сотрудницами мы выехали в Липецк для ознакомления с объектами будущих съемок.

19 августа

Подъезжая к Липецку, по радио услышали новость: генсек болен, а власть в стране взял Государственный комитет по чрезвычайному положению. Мы совершенно не придали этому сообщению какого-то значения.

22 августа

В эти дни в Москве проходит Конгресс соотечественников. И сегодня в Институте истории АН СССР на ул. Д.Ульянова, в рамках научной программы этого конгресса, прошел т. н. Круглый стол «Историческое развитие России».

От диаспоры были профессора Д.Шаховской, М.Агурский, И.Савицкий и др. Некая наша советско-подданная дворянка Орлова, заполучив микрофон, с патетикой заявила, что дворянство «это ум, честь и совесть России», а все остальные простолюдины, как сверчки, должны знать свои шестки. Дворянство, сказала она, начиная от самого Владимира Святославича, было и должно быть впредь у власти в России. На что один из наших историков по фамилии, кажется, Назаров ей резонно заметил, что во времена кн. Владимира дворян не было вовсе. Даже еще в 16-м веке дворянином считался просто «привилегированный холоп на службе у князя или боярина». Нет, если такие «дворяне» будут у власти, то я сделаюсь самым ортодоксальным большевиком. Потом эта дворянка подседела к кн. Шаховскому и стала заигрывать. Вот уж верно заметил ученый: дворянин — это холоп на службе у князя.

После круглого стола поехал на Калининский проспект к знакомой. Троллейбусы идут только до «Ударника». Видимо, на Манежной митинг победителей. Вдоль Александровского сада, в сторону Манежной, шло довольно густо народу. Но с Калининского вытекала толпа ни с чем не сравнимая — метров десять-пятнадцать шириной, плотная бесконечная лента. Оба потока смешивались на Манежной. Там уже шел митинг. Сплошь трехцветные российские флаги, новые флаги союзных республик, самодельные плакаты: «КПСС — под суд», «ГКЧП — банда убийц», «Хун-

те — хана», «Фашизм не пройдет». Выступающие призывали людей пикетировать Лубянку и Старую площадь. Всеобщий восторг. На лицах неопишущая радость. Люди чуть ли не обнимаются друг с другом. Товарищи! Мы станем братья!

Помощник мэра Москвы зачитал указ своего шефа о запрещении деятельности КПСС на территории города и о закрытии горкома и райкомов. Толпа взревела от радости.

Потом ведущий митинга сказал приблизительно следующее: «Поступило сообщение с Лубянской площади. Там собралось уже много людей. Они пытаются столкнуть «железного Феликса». Если среди присутствующих есть специалисты по работам такого рода — инженеры, стропальщики — просьба пройти на Лубянку и оказать помощь». После этих слов все кинулись на Лубянку.

«Феликс» был еще на своем месте. Вокруг бушевала толпа. «Палач» — самая мягкая из надписей, которыми был испещрен постамент. На зданиях ГБ аршинными буквами написано: «Свободу Валерии Новодворской», «Убийцы». На мемориальной доске Андропову, прямо на профиле, белой краской намалевана свастика. И кругом трехцветные флаги.

Какой-то молодец, скалолаз, разумеется, обвязался тросом и полез по складкам бронзовой шинели вверх. Толпа стихла. Очень рискованно. Он карабкался по рукаву, ухватился за лацкан, наконец, он на плече. Толпа зааплодировала. У всех отлегло. А он накинул «Феликсу» на шею петлю и по ней спустился вниз. Но одной петли показалось мало. Он обвязался тросом еще раз и опять полез. Но теперь уже легче, по проторенному-то пути. Накинул и вторую петлю, под восторженные возгласы собравшихся. После этого он уселся на голову монументу и победно поднял руки, приветствуя всех. Всеобщей радости не было предела. Буря восторгов. Наконец все было готово к свержению. Канаты натянулись. Но грохнуться оземь монументу не было суждено. Приехал один из демократических вождей — Сергей Станкевич и уговорил москвичей дожидаться профессионально организованного демонтажа. Что позже и было сделано.

28 сентября

Вечером по телевидению: ВЛКСМ на каком-то там съезде самораспустился.

28 октября

Снимали Роберта Рождественского. В 3 часа мы всей съемочной группой приехали к нему на Тверскую, 9. Открыл сам Роберт Иванович. Я отрекомендовался. Рождественский подал мне руку. Руки у него узкие, бескровные, какие-то беспомощные, с тонкими, слабыми пальцами. Ногти мертвенно чистые, но форму не эстетичные.

Комната, где расположилась съемочная группа, предназначена у Рождественского, по всей видимости, для каких-то массовых мероприятий, вроде того, что сегодня. В комнате стоит рояль, огромный телевизор «Панасоник», вдоль крашеных зеленых стен стоят стулья и два дивана старинной работы, на стенах большие и поменьше картины в темных тяжелых рамах. Роберт Иванович расположился на одном из диванов возле круглого стола на восьми ножках с колесиками. Он прочитал несколько стихотворений и что-то рассказал о себе, о своем творчестве. Выглядит он очень неважно. Движения его замедленны. Впечатление такое, будто его сковал радикулит. Часто курит. Сигареты (индийские в данный момент) вставляет в мундштук. Но стоит ему заговорить, как тотчас проявляется его живой ум и высокий интеллект. От него исходит такое наивное, чистое, словно врожденное благородство.

21 ноября

В концертной студии Останкино авторский вечер Владимира Максимова.

К 6 часам вечера я ездил за ним на Красноармейскую улицу, где он поселился у каких-то знакомых или родственников. Водитель наш, молодой парень из Люберец, Москву знал неважно и вез нас в Останкино очень долго, все петлял по каким-то улицам в районе «Динамо». Но мне это было очень кстати. Я вдоволь наговорился с Максимовым. Он рассказывал много нового и интересно-

го о Бунине, Набокове, Берберовой, Шаховской, Зайцеве, Андрее Седых, Бахрахе, Солженицыне, Бродском, Андре Жиде, Ионеско и о других.

В студии нас уже ждали. Все улыбались и старались ему угодить. Моя заведующая отделом Татьяна Сергеевна, когда мы вдвоем повели Максимова в апартаменты к начальству, начала быстро рассказывать ему о том, как у нас все мерзко, какие у нас повсюду трудности — в магазинах, в транспорте, на работе. Одним словом, чисто по-женски запела Лазаря. Максимов приличия ради ее слушал и соглашался.

Концертная студия отделяется от основных помещений телецентра неприметной дверью на первом этаже. На время мероприятия дверь открыли и поставили там милиционера. У меня и у Татьяны Сергеевны были удостоверения и к нам со стороны постового не было никаких претензий, а вот Максимова он ни в какую не соглашался пропускать. Пока наша сотрудница бегала в службу режима, Максимов, обращаясь почему-то только ко мне (Татьяна Сергеевна, похоже было, его вообще мало интересовала) и даже, коснувшись рукой лацкана моего пиджака, сказал: «Я в этой стране понял, что здесь нельзя чего-либо добиваться, если тебе уже отказывают. Этим ты рискуешь навлечь на себя гнев должностного лица и окончательно потерять надежду добиться своего. Поэтому лучше сразу отступить и предоставить событиям развиваться самостоятельно». Максимов очень спокойно перенес этот инцидент. В конце концов все уладилось, и мы его проводили в заветный кабинет на 10 этаже.

На 10 этаже, у самых лифтов нас ждали директор студии и его зам. Получилось так, что я вышел из лифта первым. И прямо наткнулся на директора студии. Этот человек по фамилии Высторобец вообще достоин быть персонажем анекдотов, наравне с Василием Ивановичем и чукчей. Я неоднократно, во всяком случае, слышал всякие забавные истории про него. Кстати, обычно он держался с сотрудниками очень заносчиво. Меня, например, он не знал и в лицо. Когда я вышел из лифта, Высторобец, подумал, что я кто-то из близких Максимова.

Поэтому, угождая, вероятно, Максиму, он просто-таки бросился к моей руке, энергично потряс ее и сотворил едва ли ни поясной поклон, что-то такое в японской традиции. Он и с самим Максимовым был сдержаннее в чувствах, чем со мной. Максимов смотрел на эту сцену довольно брезгливо.

Потом был собственно вечер в студии. Максимов сидел в кресле на сцене. Очень много вопросов было из зала от микрофонов. Я тоже вышел к микрофону. Я спросил: «Владимир Емельянович, германская диктатура пала в сорок пятом году, и на родину вернулись тогда многие немецкие писатели. В чем феномен русской эмиграции? Почему после падения нашей отечественной диктатуры не возвращаются русские писатели и не только писатели? И собираетесь ли вы когда-нибудь вернуться домой?» Максимов так отвечал: «Не возвращается не только русская эмиграция. Не возвращаются на родину и эмигранты из стран Восточной Европы. Более того, никакого падения диктатуры в России не произошло. Напротив, сейчас диктатура приобрела самую мерзкую свою форму. Я согласен с Солженицыным в следующем: для перехода от тоталитаризма к демократии нужен авторитарный период. Сейчас же вы ушли от тоталитаризма, но не пришли к демократии, а это не что иное, как худшая форма диктатуры, близкая ко всеобщей катастрофе, диктатура безвластия, неконтролируемых обстоятельств. Это агония. Это величайшая драма 20 века, по сравнению с которой ГУЛАГ — мелочь. Это даже не сползание по наклонной, а отвесный полет. Страна сегодня похожа на того человека, что бросился вниз со 110 этажа и на уровне 20 этажа говорит сам себе: пока все нормально. Что касается моего возвращения, то оно не представляется мне возможным по ряду причин. У меня две дочери, они сравнительно молоды, они француженки по воспитанию, и было бы неразумно в этом возрасте радикально менять им образ жизни. Кроме того, окажись я сегодня в литературной среде нашей страны, мне не дали бы жить и работать. Я подвергся бы нападкам как левых, так и правых, потому что не согласен ни с той, ни с другой крайностью. А в Париже я

могу спокойно и продуктивно работать. Оттуда я могу занимать какую-то позицию».

По окончании съемок, еще с полчаса, на Максимова наседали поклонники. К нему почему-то всё хотел протиснуться сквозь толпу полуслепой и улыбающийся Наум Коржавин, наконец, ему это удалось, он протянул Максиму руку, и Максимов, как мне показалось, очень неохотно, хмурясь, ответил ему рукопожатием. Потом он еще раздавал автографы, отвечал на какие-то вопросы. Наконец, я его увел. Внизу нас ждала машина. На выходе я его спросил: «Вам столько вопросов сегодня задавали. Как вы находите уровень наших людей?» Он ответил: «Ничем не отличается от французского и от уровня любого другого народа».

Мы доехали опять до Красноармейской и там уже распрощались.

14 декабря

В сегодняшнем «Труде» интервью Ельцина. «Через год, как я сказал, мы прекратим «падать». Стабилизируется экономика, финансы, жизненный уровень. Это можно обещать».

25 декабря

Горбачев отрекся. Теперь вся власть у Ельцина.

В «Литературной газете» сегодня: «Алла Пугачева, известная эстрадная певица, удостоена звания народной артистки СССР. Скорее всего это один из последних указов Горбачева, он свидетельствует о любви Михаила Сергеевича к искусству». Года три-четыре назад у этой певицы вышел случай в городе на Неве, когда в одной из гостиниц ее не поселили в «любимый» номер. Она тогда потребовала от администрации освободить этот номер от каких-то там безызвестных постояльцев. Когда же ей отказали, певица чуть не перевернула вверх дном все заведение. Об этом, помнится, много писали.

1992 год

6 февраля

Э.Иодковский предложил мне должность заведующего отделом литературы русского зарубежья в новой газете «Литературные новости», где он утвержден главным редактором. Сегодня все сотрудники газеты, в т.ч. и я, собрались в Союзе писателей на улице Воровского, 52, в кабинете Т.И.Пулатова. Пулатов долго критиковал какие-то бумаги, которые ему подсовывали Иодковский и его заместитель, острил на каждом шагу, надо сказать, очень удачно, наконец, он все подписал и отпустил нас.

16 марта

На Мясницкой сегодня человек достал из мусорной урны кость и обглодал ее. Если бы мне это рассказали, ни за что бы не поверил. А тут видел своими глазами.

5 апреля. Воскресенье

В ЦДЛ презентация наших «Литературных новостей». Большой зал наполовину заполнен. Выступали Л.Аннинский, Б.Окуджава, К.Боровой, Ю.Борев, Л.Пияшева, музыкант В.Блок. Вела вечер А.Гербер. Особенно хорош был В.Блок с музыкальными пародиями. Я написал Аннинскому записку с вопросом, кого он считает «первым поэтом» России из ныне живущих. Вначале он будто бы удивился, что его об этом спрашивают: «Я не эксперт». Но потом начал развивать свой взгляд на эту проблему. «Правильнее было бы говорить о личном отношении к какому-либо поэту. Мне больше других нравится Владимир Корнилов. А вообще понятие «первый поэт» появилось в результате борьбы различных группировок в русской литературе. Это началось с Белинского. И до тех пор, пока продолжается эта гонка, у нас будут десятки различных союзов писателей, противоборствующих, наносящих урон друг другу и культуре в целом. Необходимо менять сознание, самую природу выделения «первого поэта». Но уж если «первый поэт» непременно должен быть, то это, безусловно, Евгений Евтушенко».

4 июня

Дочитал «Лолиту». Выше всяких похвал. Я просто влюбился в эту книгу. Не хочется употреблять по адресу романа и его автора штампованных хвалебных «аханий». Просто это настоящее большое произведение. Теперь понимаю, почему Твардовский так злобно отзывался о Набокове. И даже не таланту, наверное, Набокова, все равно для Трифоныча недосыгаемого, а его свободе, его независимости, не только от жизненных обстоятельств, а от самой литературы, он завидовал.

28 октября

В библиотеке иностранной литературы презентация двухтомника Абрама Терца (А.Д.Синявского). Синявский сказал собравшимся: я счастлив, что мне удалось дожить до выхода на родине собрания сочинений, а многие не дожили. Розанова острила, вела себя, как всегда, шумно, вызываясь. Были В.Новиков, Л.Богораз, Ю.Борев, Б.Сарнов, Илья Аронович Вишневецкий — одноклассник Синявского, публицист и бухгалтер наших «Литературных новостей».

1993 год

13 января

Американцы и их союзники нанесли бомбовый удар по Ираку.

17 января

Американцы выпустили по Ираку около сорока крылатых ракет. Завтра будут известны результаты этого смерча.

11 февраля

В музее Маяковского творческий вечер Наума Коржавина. Читал стихи. Много рассказывал. Кое-что он повторяет за Максимовым.

25 июня

В Москву приехал мой университетский сокурсник Роман Побережников. Встретились с ним неподалеку от Казанского вокзала. Погуляли немного. Посидели в сквере. Вокруг сплошь какое-то жулье, бродяги. Буквально страшно испачкаться в толпе, настолько много стало грязных, неопрятных людей в Москве.

21 сентября

Президент объявил о роспуске Верховного совета. Верховный совет тотчас назвал это «государственным переворотом».

27 сентября

Вечером по радио: в воскресенье, т.е. значит вчера, умерла Нина Берберова. Родилась она в 1901 году в Петербурге.

3 октября. Воскресенье

В Москве развернулось настоящее сражение. Кажется, первое такого масштаба, после подавления левозсеровского мятежа в 1918 году. Я до вечера сидел в библиотеке. И уже там были слышны раскаты грома. Где-то, видимо, стреляли. И стреляли неплохо. Не из наганов.

Возвратился домой. Телевидение и радио отключены. Работают только петербургская программа и коротковолновые радиостанции. Передают, что идет жесточайшее сражение в Останкине. С бронетехникой и гранатометами.

4 октября

В 7 часов утра начался штурм здания Верховного совета, «белого дома», как все его в эти дни называют.

Дома я сидеть, естественно, не остался. И около 8 утра был уже в центре города. У Моссовета митинг. Кругом баррикады. К «белому дому» подтягиваются войска, всякие спецподразделения в камуфляже. Поспешил и я к «белому дому». Со стороны Кудринской было видно, как

над ним поднимается столб дыма. «Белый дом» уже подожгли. А сколько стрельбы кругом! Милиция стреляет по каким-то снайперам, якобы засевшим на крышах в прилегающих к Верховному совету районах. Но при этом удивительно много кругом любопытных, т.н. зевак. А ведь идет по сути война. Видел я и убитых, видел и раненых, видел и мародеров, потрошивших легковушку. На войне, как на войне. Удивительный и ужасный день. Такое никогда не забудется. Домой вернулся поздно вечером.

1994 год

8 января

У В.Е.Максимова на Красноармейской улице, 29. Говорили час-полтора. Записал на пленку. Максимов не только не смеется — не улыбается никогда. Страшно ругает нынешнюю власть. Поделится планами. Он рассказал мне, что собирается писать новый роман, герой которого, молодой человек, несколько лет как будто был выключен из жизни — может быть, он жил за границей с родителями-дипломатами, может быть, он, на манер диссидентов, потерял времени счет где-нибудь в котельной или в глухом лесничестве, это не важно, но главное — он не заметил, как с его страной, с народом произошли какие-то чудовищные превращения во всех практически областях: в политике, в социальной, в моральной и т.д. И вот этот непорочный князь Мышкин конца XX века, попадая в новую, чуждую ему среду, не только сам проходит испытание «новым порядком», установившимся на его родине, но он, вольно или невольно, подвергает и саму родину испытанию на чувствительность к правде, к чистоте, к совестливости, к благородству.

25 февраля

Заканчивается Олимпиада в Лилльенхамере. Показали несравненную Катарину Витт. Она вернулась в большой спорт после длительного перерыва. Злодеи судьи отбросили приму на седьмое место. Я так опечалился. Это моя любимая спортсменка.

14 марта

Работаю третий день на Старой пл. в здании бывшего ЦК КПСС. Демократы решили выпустить некое издание, посвященное событиям сентября-октября прошлого года. И меня, вместе с критиком Надеждой Леопольдовной Бергельсон-Железновой, московский союз писателей отрядил им в помощь. Возглавляет нашу группу некто Сурков. Забавно наблюдать, как этот человек — средней руки функционер из президентской администрации — лезет вон из кожи, выказывая свои литературные претензии. Не умеет и предложения сконструировать, а очень болезненно реагирует, если окружающие не признают в нем литератора. Ну уж от меня этого ему не дожидаться. Человек не знает, что такое компиляция! Я попытался было объяснить, да ему этого всего и слушать не интересно. Литератор! А ведь это вполне по-большевистски: посадить на редакторскую и издательскую деятельность этакого комиссара, рожденного быть кассиром в тихой бане или агентом по заготовке шпал.

Возвращался из буфета и в коридоре в четвертом этаже повстречал старичка с усиками. Лицо показалось очень знакомым. Оказалось, что это не кто иной, как сам Борис Николаевич Пономарев! Бывший член политбюро, академик, живое ископаемое. Он там работает, как рассказали, над историей КПСС. Такое впечатление, что он и не заметил, как переменялась власть, как вместо ЦК КПСС в здании на Старой пл. оказались совсем другие люди, — идет по коридору себе, как ходил здесь чуть ли не со сталинских времен. Родился Б.Н.Пономарев в 1905 году. Вот это встреча!

27 мая

А.И.Солженицын прилетел во Владивосток. Возвращение великого изгнанника состоялось! А Максимов меня уверял, что Солженицын никогда не вернется.

Леониду Леонову — 95 лет! Почти невероятно, что мы живем в одно время с человеком, который дружил с Есениным, был знаком с Маяковским, Горьким, писателями «серебряного века».

3 июня

Сегодня Батшев* передал мне возле памятника Пушкину несколько экземпляров моей первой книги «Операция доктора Снегирева». Он издал ее у себя в «Мостах».

21 июня

В доме кинематографистов панихиды по Ю.М.Нагибину. Умер Нагибин, говорят, легко: уснул и не проснулся. Сердце у него было больное. Никогда я не видел Нагибина живого. Увидел только что в гробу. Хоронить повезли на Новодевичье кладбище.

22 июня

Сегодня в газете «Коммерсантъ-Daily» вышла рецензия Николая Климонтовича на мою книгу. Называется «Жестокый романс про доктора Снегирева».

13 сентября

Вернулся с дачи ненадолго в Москву. В общем-то, чтобы сменить книги, взять новые. Заодно прошелся по редакциям. Проездом оказался у Кремля. На Манежной площади грандиозная реконструкция. Все перепахано. Работают археологи. Местами видны остатки каких-то древних строений. Обнаружились фрагменты моста через Неглинку. Рядом с ними полуистлевшие бревна древнего сруба.

17 октября

В Москве английская королева Елизавета Вторая.

1 ноября

Мама принесла завтрашний (2-го ноября) номер «Комсомольца». Там напечатан кусок из моего «Доктора Снегирева» со вступительным словом Владимира Максимова.

7 декабря

Сегодня я стал православным христианином. Крестился я в храме Св. Троицы в Свято-Владимирской больнице,

* В.С. Батшев, русский писатель и издатель. Живет во Франкфурте-на-Майне (Германия)

приписанном к храму Всех Святых в Красном селе, где настоятельствует о. Артемий Владимиров. Но крестил меня не о. Артемий, а иерей Кирилл — симпатичный молодой человек. Восприемником стал Лева Алабин. Я счастлив безмерно. Это же начинается новая жизнь.

1995 год

28 января

Прочитал «Жака-фаталиста». Восхитительное произведение. Это просто учебник писательского мастерства. И ведь он простоял у меня на полке не один год! Как же много я упустил, не прочитав роман прежде. Но как безжалостно поучительна история о поэте, отправленном в Пондишери. Боюсь, что тот поэт — это я. Но у меня к тому же и Пондишери своего нет.

19 февраля

Рядом с Даниловым монастырем есть церковь Воскресения Слоущего. Утром был там. В церкви одновременно крестили и отпевали. Помятуя еклизиастову мудрость, что де сердце глупого в доме радости, а сердце мудрого в доме печали, я принял участие в обряде отпевания. Попросту стоял поближе к гробу и молился вместе с другими. Отпевали новопреставленную Евдокию, старенькую бабушку. Особенно запомнилась ее внучка — высокого роста, стройная девушка в брюках, вероятно, совсем незнакомая с церковными обрядами и правилами. Но как она волновалась, как она переживала за свою бабушку! Как же красива русская душа в своем естестве, без флера напускной беспечности, распушенности, цинизма.

26 марта

Сообщение в теленовостях: в Париже умер Владимир Максимов. Я не то чтобы потрясен — это неверное слово, — но меня охватило пугающее чувство одиночества, безпризорной литературной перспективы. Едва-едва меня призрел один из великих, едва-едва появилась надежда —

уже начавшая оправдываться надежда — на его радетьельное участие в моей писательской судьбе, как снова я сам по себе, ничей, без своей стаи, без пастыря... Он довольно высоко оценил мою скромную книжку. Вот уж поистине «в гроб сходя благословил».

5 июля

Прочитал «Фрегат «Паллада». Эту книгу я купил еще в 1986 году, а добрался до нее только теперь. Гончаров, конечно, барин, аристократ, но не сноб. Его барство не напускное, а природное. Если я правильно понимаю, он в этом отношении превосходит Тургенева или Бунина многократно, не говоря уже о всякого рода аристократах из среды разночинцев, ставших литературными авторитетами.

18 июля

Собственно, уже полчаса, как наступило 19 июля. Только что закончил «Братьев Карамазовых».

Все-таки Достоевский, при всей его коренной русской сущности, при всем его православном «фундаментализме», это писатель скорее способный удовлетворить западного читателя, нежели нашего. То есть, он, конечно, и нам очень дорог и доступен и понятен вполне. Но Толстой, как мне думается, должен быть русскому человеку все ж милее. Сочинения Достоевского — это экспортный, отменного качества вариант русской литературы, превосходящий в ряде случаев европейские образцы. А проза Толстого — это ручная работа гениального русского умельца, мастера, который просто творит для своего удовольствия, нимало не заботясь о том, какой национальной ментальности будет вероятный потребитель его изделий.

17 декабря

Днем в Москве разразилась настоящая буря. Снег повалил так густо, что не видно было ничего на 30-50 шагов. Ветер был совершенно шквальный. Гремел гром. И еще, говорят, были молнии.

1996 год

2 марта

Сегодня утром в церкви Всех Святых о. Артемий заочно отпевал моего двоюродного брата новопреставленного убиенного Аркадия.

Во всей нашей родне нет судьбы ужаснее, нежели выпала на долю этого несчастного. Родился он, если не ошибаюсь, в 1972 году, в Томске, в доме нашего с ним дедушки Михаила Матвеевича. Его матушка и моя тетя Людмила Михайловна, тоже человек очень непростой судьбы, то ли в два, то ли в три года отдала Аркашу в детский дом. Я его видел дважды. В первый раз, когда ему было чуть больше года, у дедушки в Комсомольском переулке. Никогда не забуду, как Аркаша стоял на своих слабых ножках в убогой кроватке с сеточкой и умными своими, невероятно доверчивыми глазками встречал всех входивших в маленькую комнату. Мне было тогда 10 лет. Я относился к нему вполне безразлично. И однажды даже то ли ущипнул его, то ли сделал еще что-то такое, от чего он заплакал. И, помню, Людмила мне тогда сказала: «Ты не обижай его, Юра. Он же маленький». А мама мне потом запросто рассказывала, как она советовала Людмиле отдать его в детский дом. А тетя Люда отвечала: «Мне его жалко». Второй и последний раз я его видел уже в детдоме. Это было году, кажется, в 1976-м. Мы тогда с мамой летом в очередной раз приезжали в Томск. Мы его навестили, посидели с ним в скверике, мама его угощала, подарила игрушку. Какой же пустой тратой времени мне казался тогда этот визит! Мама после этого ходила к нему, к своему племяннику, еще раз, но я больше не ходил. Мне было интереснее проводить время с веселым, неунывающим дедушкой, с обеспеченным, и оттого самодовольным, другим двоюродным братом — моим ровесником, с удалыми, наконец, соседскими мальчишками, нежели с несчастным маленьким никому не нужным сиротой. (Отца у него вообще никогда не было. То есть, практически-то он, разумеется, был. Но не более того). А дальше судьба моего сердечного братца совершенно покатила

по наклонной. Его перевели в другой детдом. Куда-то в область. В этом детдоме как раз и царили известные порядки волчьей стаи. И с этих пор несчастный мальчик других порядков в своей жизни не знал. Им стали помыкать все, кто только мог. Его колотили. Противостоять этой адовой силе он не мог. И потому, что не был физически достаточно для этого силен. И потому, что душу имел, как говорится, мягче воска. Так он промучился до самой солдатчины. Не знаю, как ему служилось. Вероятно, не легче. О прелестях отношений между солдатами известно! Когда он демобилизовался, у него впервые появилась возможность хоть как-то изменить свою жизнь к лучшему. И вот тут бы родственникам вмешаться. Помочь ему. Просто даже посоветовать что-то, подсказать. Принять любое, самое незначительное, самое формальное участие в его судьбе. Ничуть не бывало! Все до единого родственники предпочли не заметить, что он вообще существует. Все повели себя так, будто нет его. Будто он не родился, не вырос, не вернулся из армии. Нет у них такого родственника Дудкина Аркадия. Нет, и все тут! А где-то через год его посадили. Рассказывали, что какие-то там друзья уговорили его принять участие в т.н. «деле». Что-то они там украли. И, разумеется, все были судимы и отправлены в места заключения. Можно догадываться, каково пришлось Аркаше в лагере. Это уже была даже не волчья стая. Теперь его окружало самое настоящее адово воинство. Я не хочу даже думать о том, что там могли с ним делать. Но вот на днях позвонила тетя Дуся. Она переписывается с томской родней. И рассказала, что Аркаша умер в лагерном лазарете. Умер от побоев. У него были безнадежно повреждены почки. Его мучения окончились. Теперь он у настоящих своих радетелей и заступников. Я потрясен этим случаем, как никаким другим в своей жизни.

2 апреля

Читаю сочинение генерала от инфантерии Н.А.Епанчина «На службе трех Императоров». В 1837 году для гвардии и армии была написана песня, начинающаяся так: «Русский

царь собрал дружины и велел своим орлам плыть на дальнюю чужбину в помощь добрым пруссакам...» Как здорово это сказано: «...и велел своим орлам!» Русский царь!

11 июля

Говорят, сегодня 35 градусов тепла. На самом деле в Москве тепло вполне.

21 сентября

В этом году потрясающе большой урожай яблок. Мы просто-таки сбились с ног перерабатывать эти плоды. А у нас всего-то четыре яблоньки. Многие наши соседи в деревне, у которых яблонь больше, мешками скармливают яблоки коровам и свиньям. Я за всю жизнь не припомню такого яблочного года.

14 декабря

Только сегодня выпал первый снег. Бывает же такое!

27 декабря

«Литературная Россия» объявила меня своим лауреатом за 1996 год. Они напечатали в этом году три моих рассказа: «История в одном городе», «Четвертый патрон» и «Исчезнувшая усадьба». Правда, написаны они были в обратной последовательности. Я — лауреат!

1997 год

20 марта

Впервые в жизни я отправился за границу. В Германию. К В.С.Батшеву. Собственно, поехал я туда прежде всего с целью присмотреть какое-либо приличное транспортное средство. Но, разумеется, чего скрывать, очень любопытно было взглянуть и на самую, всегда для русского человека привлекательную, за границу.

Сегодня же вечером Батшев читал лекцию в одном франкфуртском еврейском клубе. Взял и меня с собой.

Собралось человек 20-25 евреев — выходцев из СССР. Он им в течение часа рассказывал о Г.Бёлле. Потом отвечал на вопросы.

23 марта

За мной заехал Владимир Андреевич Брюханов*, и мы отправились к нему в Нидеррад. Нидеррад — это южная окраина Франкфурта. Завтра чуть свет его знакомый турок повезет нас в городок Butzbah за машиной. Это чуть севернее Франкфурта.

24 марта

Утром приехал турок на красном «Гольфе». И мы все отправились в Butzbah. А возвратились уже на своей машине. Поставили ее на тихой набережной Майна, неподалеку от батшевского дома. И втроем устроили вечером пирушку по случаю приобретения этого железного друга.

25 — 27 марта

За эти дни, руководимому и опекаемому моими добрыми старшими товарищами, мне удалось побывать во многих интересных местах Франкфурта и его окрестностей.

Прежде всего я рискну утверждать, что немцы потрясающе похожи на русских. Больше, чем даже наши ближайшие соседи поляки. Мне показалось, что немцы, как и русские, народ *с душой*. В нашем сентиментальном понимании душевного. Они, как и мы, люди компромиссного, если так можно сказать, характера. Неправда, что немца, который у нас почему-то искони представляется в образе педантичного исполнителя буквы закона, нельзя уговорить при необходимости обойти этот самый закон. Очень даже возможно. Вот только два примера, (мог бы вспомнить и больше).

Однажды мы с В.А.Брюхановым нарушили порядок парковки. Мы оставили машину в каком-то переулке, а сами пошли покупать для меня билет на паром до Хельсинки. Эта контора находится в главном франкфуртском вокзале. Отсутствовали мы где-то с полчаса. И когда возвратились,

* В.А. Брюханов, историк. Живет во Франкфурте-на-Майне (Германия)

увидели, что возле машины стоит женщина-полицейский, само собою в мундире, со всеми знаками отличия, что называется «при исполнении», и уже оформляет штрафную бумагу. Я еще обратил внимание, что запись она делает на каком-то очень серьезном разлинованном бланке. Вероятно, за каждый такой бланк она отчитывается. Но В.А. довольно быстро удалось уговорить ее быть к нам снисходительной. И завершился этот инцидент совсем дружескими взаимными улыбками.

Другой случай вышел совсем забавный. И разрешился он уже совсем «по-русски». Как-то вечером дня за два — за три до моего отъезда мы учинили очередную пирушку. На этот раз у В.А. на его 14 этаже. Дегустировали «мозельское». Всего три сорта было. Один другого лучше. И когда уже стемнело, нам вздумалось пойти погулять. Увлеченные дружеской беседой, мы вышли в общий коридор, и едва В.А. захлопнул дверь, как сообразил, что захлопнул и ключи от квартиры. «Впервые в жизни», — заметил он. Этакая незадача в Германии решается, с одной стороны, проще, чем в Москве, но, с другой стороны, много сложнее нашего. Как это делается у нас — понятно: дверь попросту вышибается частным манером, а потом ремонтируется. Как правило, очень убого. У них же всё не так. У них в многоквартирных домах есть всегда один такой жилец, который, небезвозмездно, вероятно, является еще и своего рода комендантом этого дома. Называется он там Hausmeister. И у этого человека имеются ключи от всех квартир в доме. Казалось бы, чего проще: забыли дома ключи — идете к Hausmeister'у, и он открывает вам дверь. Не тут-то было. Hausmeister откроет вам дверь, но только в присутствии полиции и, кажется, еще даже понятых. После чего составляется акт об открытии двери. Все подписываются. И потом несчастный забывчивый жилец за всё это выплачивает какую-то сумму. И не такую уж маленькую. Вот уж, действительно, и не скажешь, какие порядки лучше — наши или германские.

Открыть дверь, как мы ни старались, нам не удалось. И тогда В.А. пошел на поклон к Hausmeister'у.

Через несколько минут он нам явился. Немец лет 50-53. На нем был спортивный костюм и пляжные тапочки на босу ногу. Выражение его лица не предвещало для нас ничего хорошего Hausmeister был озабочен и хмур. Я даже думаю, что такое «чепе» приключилось с ним впервые. Он осмотрел дверь так серьезно, словно это был вход в главное хранилище Дойчебанка, который ему предстояло вскрывать. И тогда В.А., с извинениями, стал его уговаривать не прибегать к формальностям, а попросту отомкнуть замок и разойтись всем с миром. А уж де он, Владимир Андреевич, *в долгу не останется*. И случилось чудо: Hausmeister вынул из кармана ключ, открыл нам дверь и с той же неизменною серьезностью на лице удалился. А назавтра В.А. вручил ему тот самый обещанный «долг» - бутылку коньяку. И лишь тогда я впервые увидел на лице Hausmeister'a улыбку. Не правда ли, все это очень по-нашему?

Тоже «по-нашему» там можно повстречать пьяных. Я не говорю о слегка пьяных. Возможно, таких полгорода. Но это не заметно. Но именно сильно пьяных. Во всяком случае, у меня и дня не было, чтобы я таких не встретил. И это не оправдание, будто бы, как обычно подобные явления объясняет Батшев, «это не немцы». Какая разница. Это страна немцев. Это их коренной город. Точно так же Батшев объяснял происхождение порезов сидений в трамваях или в метро: это делают турки или курды. Но кто бы это ни делал, пусть хоть папуасы, но это происходит в Германии. Это в Германии есть! Но, справедливости ради, нужно сказать, что такого рода вандализм там большая редкость. Разрезанное сиденье в городском транспорте я видел всего один или два раза. Очень много встречал во Франкфурте «настенных» рисунков. И на заборах, и в подземных переходах, и иногда даже на домах. Но, в отличие от нашей заборной живописи, у них она более художественно совершенная, что ли. Более эстетичная. С большею душой выполненная. Нет там такой уж исключительной чистоты, такого безупречного порядка на улицах, о которых нам так много всегда говорили. Ну, например, окурки немцы вообще никогда не бросают в

урну - только под ноги. Сам видел это много раз. То и дело в городе можно увидеть всякие бумажки, фантики, смятые сигаретные пачки, жестяные банки, бутылки и т.д. и т.п. Впрочем, это не валяется постоянно. Это все, разумеется, убирают, вычищают то и дело. Но все равно это то и дело появляется вновь. Особый род мусора представляет собой бывшая в употреблении жевательная резинка. В центре города брусчатка, — а у них все тротуары, все пешеходные зоны вымощены, — покрыта слоем утоптаных, грязных резинок. И, думается, через несколько лет это будет проблемой для крупных европейских городов. Потому что убирать этот культурный резиновый слой практически невозможно. Разве что менять самую брусчатку.

Из чисто западных, в стиле «вестерн», эпизодов, что я видел во Франкфурте, мне запомнилось несколько. Прежде всего это хорошо нам знакомая по кинофильмам манера западных полицейских задерживать кого-либо. Однажды вечером, — это как раз после того самого случая с Hausmeister'ом, т.е. тем же вечером, — мы таки пошли прогуляться по городу. А было уже довольно поздно. Думаю, часов 9-10 вечера. И мы заглянули на Hauptbahnhof (В.С. и В.А. должны были выяснить расписание поездов). И вот тут мы увидели знаменитую сцену задержания полицией человека в западном стиле. А кстати, полицейские в Германии патрулируют всегда по трое. Причем в этой тройке непременно есть одна девушка. Почему именно так, станет ясно позже. Мы вошли в один из залов и увидели, как «тройка» остановила какого-то с их точки зрения подозрительного типа и, прежде чем проверить у него документы или хотя бы начать разговаривать с ним, его мгновенно поставили лицом к стене — ноги шире плеч, руки на стену вверх — и тщательно обыскали. А уже затем проверили документы и, кажется, даже сразу отпустили его как ни в чем не бывало. Досматривать эпизод мы не стали. Лично мне было страшно неудобно на это смотреть. Хотя многие присутствовавшие наблюдали с интересом. А почему третья в группе девушка? Если бы группе пришлось таким образом «досматривать» женщину, то это делала бы именно девушка-полицейский. После этой сце-

ны, сознаюсь, я стал страшно комплексовать. И когда затем я где-нибудь встречал эту «тройку» в зеленых мундирах и в фуражках с белым верхом, мне представлялось, что сейчас я тоже покажусь им подозрительной личностью и со мною проделают то же самое, что я видел на вокзале. Я бы, наверное, тогда просто сгорел от стыда.

Из этой же чисто «западной» серии — наркоманы на улице. Иногда в американских фильмах бывают такие сцены: сидят на улице праздные накуренные или наколотые неопрятные молодые люди. Точно это же самое я неоднократно встречал во Франкфурте. В Германии вообще существует закон, допускающий умеренный прием наркотиков. Правда, я не понимаю, кто и как определит, умеренно ли наркоман накачался своим зельем или неумеренно. Насколько я мог заметить, в Германии эти группки наркоманов, в общем-то, безобидные. Общаются они только между собой. Прохожих не задирают и даже вообще не вступают в контакт. Они просто сидят на бортике пешеходных подземных переходов или прямо на тротуаре и ведут какие-то свои беседы. И, как правило, поблизости с этой компанией прогуливается полицейская «тройка».

28 марта

Есть в Германии и совсем наше родное явление — бродяги, или «бомжи», как их теперь называют. Там их несравненно меньше, чем у нас — я повстречал всего трех-четырёх германских бродяг за две недели. И самое главное, на мой взгляд, их отличие от наших, — меня это по-настоящему потрясло, — их бродяги не издают такого чудовищного запаха, как наши. И поэтому узнать бродягу можно только тогда, когда он спит. Когда он идет по улице, его почти невозможно отличить от окружающих. Он чистенько одет, обычно во всё джинсовое, он, как уже говорилось, не оповещает о себе характерным запахом. Но вот спят германские бродяги, вроде наших, где придется: на вокзалах, на уличных скамейках, на вентиляционных люках, просто на тротуаре или на земле. На одной улице в центре города я видел спящего у самой двери какого-то магазина бродягу. Он только подстелил картонку. Было воскресенье, и его

не беспокоили — магазин не работал. И еще, помню, я увидел спящего бродягу в притворе главного франкфуртского собора, т.н. Dom'a. Вообще в нашем русском понимании понятия «немец» и «бродяга» никак не сочетаются. Это как раз, как нам кажется, нечто противоположное. Но, оказывается, есть немцы-бродяги. В ФРГ существует, по словам Батшева, целая программа помощи этим «деклассированным». Их одевают, их кормят, для них существуют специальные ночлежки, которыми они, разумеется, не всегда пользуются, на то они и бродяги, и главное — им выплачивается пособие, причем выдают сумму не всю сразу, а периодически, понемногу, но почаще, чтобы бродяга не спустил ее сразу.

Есть во Франкфурте и еще одна достопримечательность, истинное значение которой может оценить только человек из Союза. Это знаменитое издательство «Посев» на Flurscheideweg, 15. Мне пришлось побывать за эти дни здесь несколько раз. Батшев работает в «Посеве» архивариусом. Он сидит там в полуподвале и разбирает какие-то бумаги, папки и проч. Там же и большой склад книг, выпущенных «Посевом» за всё время его существования. Когда мы пришли туда первый раз, Батшев повел меня показывать это знаменитое здание, знакомое мне лишь по фотографиям из советских контрпропагандистских изданий. Сейчас «Посев» переживает не лучшие свои времена. Книг они почти не издают. Знаменитый журнал «Грани» и тот выпускать перестали. Причина самая простая. «Посев» всегда финансировался заинтересованными западными структурами как инструмент подрывной деятельности против СССР. Задача выполнена. И все подобные организации или вовсе прекратили существование, вроде максимовского «Континента», или очень сузили свою деятельность и перепрофилировались. «Посев», например, если не ошибаюсь, издает лишь какие-нибудь воспоминания или сочинения на историческую тему. И то очень редко. Правда, они все еще выпускают регулярно — раз в два месяца — журнал «Посев».

Батшев привел меня в большую комнату. Там под портретами деятелей НТС сидело несколько стариков-посеовцев.

Они смотрели по телевизору какую-то московскую программу и обсуждали события, происходящие в Союзе. Вообще все русские в Германии живут, в основном, российской жизнью. Всё решительно происходящее у нас они обсуждают так же усердно, как и мы сами. И это даже не зависит от волн эмиграции. Понятно, что такие, как Батшев, вчера только приехавшие из Союза, духовно еще сильно привязаны к оставленной стране. Но эти посевовцы, это же вторая эмиграция, они живут здесь по 50 и более лет, они-то должны бы остыть в своих интересах к покинутому месту рождения. Но нет же — только этим и интересуются. Вот таким я застал Possev-Verlag в 1997 году.

29 марта

Одно из моих любимейших занятий вглядываться в лица людей. По возможности незаметно, конечно. Всегда интересно по выражению лица составить себе представление об этом человеке, о его характере, о его внутреннем мире. Но тем более интересно, если эти люди — иностранцы. У нас в отечестве почему-то очень настойчиво насаждается представление об иностранцах, как о людях с «пустыми глазами». Якобы в их глазах — в отличие от русских глаз, естественно! — в их глазах нет того духовного и интеллектуального наполнения, той сердечности, человечности и т.п. Не могу опять же говорить обо всех иностранцах, но что касается немцев, то, ручаюсь, это не так. И особенное впечатление на меня произвели глаза немки. Я с трудом могу выразить свои чувства, но мне кажется, что такие глаза были у русских женщин раньше. В прежние, лучшие времена. Когда наш народ не был еще так обездушен суррогатом чужой, наносной цивилизации, которая приобретает всегда крайне уродливые формы, почему и самые души людей уродует. И это в, свою очередь, проявляется в выражении их глаз. В Германии же я не встретил ни одного фальшивого взгляда. Во всяком случае ни одного женского фальшивого взгляда. И ни у кого я не заметил в глазах этой самой «пустоты». Напротив, я почувствовал, что немки — это женщины

великодушные, способные на большой поступок, на подвиг, если угодно. Сегодня Наташа Ростова — этот знаменитый пример женского самоотречения — сегодня она скорее немка, нежели русская. Я сказал, что немцы очень похожи на русских. А теперь привел пример как будто обратного. И все равно утверждаю: да, похожи. Это наши нынешние во многом растеряли свой исконный русский характер. Впрочем, надеюсь, это не навсегда.

Мне никогда не забыть, как однажды мы с Батшевым ехали на метро, а рядом с нами сидели четыре девицы лет, наверное, по 15-17, старшеклассницы, скорее всего, и беззаботно щебетали. И вдруг одна из них, очевидно, по натуре заводила и лидер, запела. Насколько я могу судить, это была некая молодежная, как у нас говорят «походная», песня, что-то вроде визборовских. Она знаком показала одной из подруг помочь ей. И та тотчас присоединилась. Я понимаю, это звучит слишком литературно, но они в этот момент были прекрасны. И не только потому, что у них оказались голоски чистые и звонкие. Но прежде всего потому, что они были настоящими. Они, как говорится, не играли, а жили...

В наших старых советских кинофильмах часто использовался такой эпизод: на открытой полуторке едут на битву за урожай героини-колхозницы и поют дружно какую-нибудь удалую песню. Это, конечно, прием в духе социалистического реализма. Но я верю этому, потому что точно знаю, так было у нас раньше и в самом деле. Мне об этом рассказывали и бабушка, и мама. А мама, воспитанная на тех старых, добрых ценностях, еще до недавнего времени пела всегда, когда мы ехали за город на машине. О таких людях говорят: у них поет душа. Но, увы, людей этих у нас уже почти не остается.

30 марта

Наверное, самой судьбе было угодно, чтобы для полноты впечатления моя поездка в Германию пришлось на Пасху, которая в Европе в этом году отмечается 30 марта.

Я и прежде слышал о не слишком ревностном отношении «западных христиан» к вере и о довольно формальном соблюдении обрядов в католической и протестантской церквях, но увиденное во Франкфурте еще более превзошло мое отнюдь не лестное представление обо всем этом. Прежде всего мне отчетливо бросилось в глаза, что в страстную субботу в городе совершенно отсутствовала самая атмосфера кануна главного христианского праздника. (Или, если в Европе главный праздник — Рождество, то второго по значению). Это была обычная суббота. Обычный выходной. «Уик-энд», как у них говорят. Вечером часа за три-четыре до праздничной ночной службы я отправился бродить по городу. У всех церквей, где бы я ни проходил, не было ни души. И лишь менее чем за час до богослужения к кирхе, в которой я и решил сегодня оставаться до утра, стал подтягиваться народ. Эта кирха представляла собою обычную, ничем не примечательную латинскую базилику. Довольно большая. Построена в наше время. Внутри очень строгая, скромно убранная, без излишеств. Станным образом богомольцев там собралось ровно столько, сколько было сидячих мест. Или что-то около того. Во всяком случае никто не остался без места и не стоял. В одиннадцать часов началась эта несносная латинская месса, на которой то и дело, как по команде самодура-старшины «сесть-встать», приходится подниматься с мест и вновь садиться. Я готов был, коли уж попал в чужой монастырь, до утра исполнять этот трудоемкий и непривычный для русских устав, но вдруг ровно через час... служба закончилась. Все! Alles! В двенадцать часов все причастились и разошлись по домам. И это называется у них пасхальное богослужение! Если бы немцы узнали, что русские в Пасху всю ночь напролет до утренней литургии, а некоторые еще и эту литургию отставляют в переполненных храмах на своих двоих, а единственной разминкой для ног служат земные поклоны, они бы, наверное, сочли нас либо сумасшедшими, либо людьми, чей духовный подвиг равен мученическому подвигу первых христиан.

Сегодня я опять отправился путешествовать по городу. И опять не заметил во Франкфурте пасхального настрое-

ния. Я вышел к Dom'у. И вот тут только праздник и чувствовался. Хотя я не знаю, насколько это справедливо называть религиозным праздником собравшихся перед собором людей, которые, разбившись на группки, оживленно беседовали друг с другом. Это скорее напоминало встречу школьных друзей. Но потом все потянулись в храм. На этот раз народу пришло действительно много, так что и встать-то где-нибудь было не просто, не то чтобы еще за «партой» сидеть. Началась служба. И тут я с удивлением услышал, что латинские молитвы чередуются с молитвами на каком-то будто бы знакомом языке. Вроде как на украинском. Оказалось, что в Dom'e собрались одни хорваты. Во Франкфурте живет довольно большая хорватская диаспора. И вот сегодня они, как истые католики, собрались на пасхальную мессу в главном франкфуртском храме. Но это же довольно странно, что в южногерманском, а следовательно, и католическом городе Франкфурте в Пасху в главном храме этого города теснятся не немцы — коренные франкфуртцы, а представители какой-то диаспоры.

1998 год

21 июня

Ночью в Москве была совершенно невиданная буря. Где-то к полуночи — а я еще не спал — за окном как будто загудело что-то. Я выглянул в окно и увидел, как в небе летят куски железа, сорванные с крыш. Потом затрещали рамы от ударов ветра и мне показалось, что и самый дом наш, четырнадцатизэтажная башня, задрожал. Во мраке молнии сверкали.

Утром я не узнал Москвы. Я такого никогда нигде не видел. Повалено множество деревьев. Иные сломаны пополам. Много разбитых стекол. Рекламные щиты опрокинуты. Пострадало много машин: некоторые раздавлены деревьями. Говорят, после потопа начала века, это самое жестокое стихийное бедствие в Москве.

30 сентября

У входа в редакцию «Вечернего клуба» на Б. Дмитровке встретил товарища Семичастного, бывшего председателя КГБ СССР. Он что-то спросил у милиционера и пошел дальше. Милиционер, конечно, его не узнал. Подошел и подошел дед какой-то...

Декабрь

Солженицын опять выставил ложь и нынешнюю нашу власть, эту ложь исповедующую, в неприглядной наготе.

Очевидно, что времени, после возвращения, ему оказалось достаточно, чтобы понять, насколько здесь всё закостенело, насколько всё изъедено ржавчиной всех семи смертных пороков, насколько поражены самые души людей. И не только власти — это-то само собою, — но и души черни оказались пораженными. Об этом-то власть позаботилась очень даже старательно. Такие, изъеденные пороками, души подданных представляют для нее, власти, меньшую опасность, ибо у них меньше морального права требовать от власти праведного к себе отношения.

И вот, поборовшись вначале, когда он много выступал повсюду, от телевидения до Государственной думы, попытавшись было что-то исправить здесь, переменить, но поняв, что нашей нынешней вселенской лжи ему противостоять еще тяжелее, чем даже это было в первый славный период его борьбы, — а силы-то уже не те, — и, вероятно, поняв, что обычное открытое слово правды в этой новой борьбе не годится, Солженицын прибегнул к своему старому, проверенному, безотказному, неуязвимо-му приему, сформулированному им в свое время в трех лаконичных и пронзительных заповедях: НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ! НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

И Солженицын в последние месяцы ушел в подполье в самой демократической стране в мире.

Он начал партизанскую борьбу с властью лжи. И дождался своего часа.

Известно ведь, если Бог кого-то хочет покарать, он отнимает разум. Решила власть российская показать все-

му свету, как она умеет ценить некоторых заслуженных своих подданных, ну и, прежде всего, конечно, себя потешить. Нужны иногда даже самой бездарной власти такие широкие, шикарные жесты — с парадами, с фанфарами, с награждениями, с рукоплесканиями. Всё это придает ей, власти, некоторую респектабельность. Это очень удобное замещение комплекса вины. Ну и что, говорит власть, что у нас там неполадки, здесь прорехи, зато, посмотрите, кто с нами, кто нас поддерживает, кто пользуется нашим благоволением, кто шею вытягивает под наши ордена. Академики! Известные писатели! Любимые артисты! Знаменитые спортсмены! Значит, эти люди с нами. Они за нас. Своим участием, своей лояльностью они освящают наши деяния. А значит, мы, несмотря на временные трудности и мелкие недочеты, на верном пути. Они, люди эти, гарантируют нашу правоту.

И вот решила власть таким же манером пожаловать Солженицыну, самому крупному, самому маститому русскому писателю, человеку легендарному, с которым считаются в мире, с мыслями которого соизмеряют свои мысли целые поколения людей, решила власть пожаловать по случаю его юбилея самую высокую, или, как принято у них говорить, самую престижную, свою награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Собственно, орден этот возобновлен совсем недавно. Впервые он был учрежден в России государем Петром Алексеевичем. Этот бесспорно великий и славный орден родился в соответствующую великую и славную эпоху, он был под стать эпохе, когда Россия, находилась на невиданном подъеме во всех областях жизни: расширились старые и заводились новые производства, выросли целые города, единственные российские союзники — ее армия и флот — крепчали день ото дня на страх врагам. И, естественно, тогда Андреевский орден, наряду с императорским титулом главы государства и другими, был символом величия России. Реального, добытого штыком, созданного руками народа величия.

Совершенно обратное, по всем перечисленным пунктам, переживает Российское государство сегодня. И в такой ситуации появление всякого рода пышных государственных регалий кажется не совсем уместным, а равно неуместной и даже вызывающей представляется и церемонно-парадная, показная сторона жизни нынешнего двора. Что может символизировать новый Андреевский орден? Какую такую славу? И в этом смысле очень показательны пример посвящения в орден первого и пока единственного его кавалера. Выбор власти тогда выпал на престарелого ленинградского академика. Человек он, безусловно, заслуженный и, возможно, достойный самой высокой награды. Но тут вопрос: от кого эту награду получать? Из чьи рук? Из рук создателей Российского государства, из добрых отеческих рук получить, действительно, почетно и лестно. Академик же не погнушался принять награду из рук, ничего, кроме неприятностей, пока Отечеству не доставивших.

Но, помимо того, слишком уж театрально, слишком «мишурно» выглядит и самый знак ордена — этакая гирлянда из металлических блях, надеваемая на шею. И опять-таки, это придумано для большего эффекта. Ведь власти в данном случае нужен прежде всего эффект от представления с награждением, политические дивиденды, как говорят. И академика не смутила ни очевидно показная церемония, ни сам муляжный знак ордена.

Впрочем, академик на самом деле в столь почтенных летах, что ему, наверное, уже все равно, чем его награждают, — экзотическим ли орденом, значком ли «ГТО» или путевкой в пионерский лагерь. Он всему будет одинаково рад. А церемония этого исторического награждения, несмотря на все старания церемониймейстеров, вышла скорее зрелищем печальным, нежели торжественным. Эффект получился обратный. Сошлись двое. Очень, кстати, похожие друг на друга люди. Награждающий — гальванизированная шевелящаяся мумия и счастливый кавалер — ровесник Мамврийского дуба — академик. Награждающий, царапая кавалеру уши, неловко надел ему на шею сусаль-

ную гирлянду, и оба в изнеможении тотчас рухнули на диван. Такая нынче наша слава.

Прошло, однако, время. И власти вновь потребовалось показать свою состоятельность с помощью какого-нибудь выдающегося авторитета. Но случилось непредвиденное. Случилось такое, отчего глава государства, как обычно в таких случаях, исчез куда-то на несколько дней, а его изоцренная камарилья не могла даже скрыть своего позорного потрясения, комментирую затем случившееся. Солженицын проигнорировал их высшую награду. Он публично заявил буквально следующее: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего ее состояния, я принять награды не могу!» Отказавшись ее принимать, он тем самым показал истинную цену их орденам с громкими названиями, он тем самым показал истинную цену самой «верховой власти». Он не стал участвовать во лжи. И не стал поддерживать ложь.

Говорят: будет и на нашей улице праздник! У меня такое чувство, что на мою улицу, хоть и не надолго, пришел праздник.

1999 год

Февраль

В ЦДЛ были панихиды по Анатолию Рыбакову. Умер он в Америке еще в декабре. Там же его и сожгли. И в Малом зале ЦДЛ стояла единственно урночка, убранная цветами. Такой обряд я вижу здесь впервые. Народу тьма. Я по памяти, пожалуй, и не перечислю все имена, что здесь собрались. Был Аксенов, была Ахмадулина с Мессерером, был Вознесенский, Евтушенко, Е. Попов, Липкин, Эдлис, разумеется, почти весь «Апрель» и другие. Как же любопытно на некоторых было посмотреть. В зале вертелись телевизионщики с камерами. И когда навели камеру на Евтушенку, отчетливо было заметно, как он начал позировать. Лицу своему он сразу придал «выражение». Вертикальная складка на лбу сразу сделалась глубже и длиннее.

Он сразу весь превратился в «героя», в «персонажа». Я и раньше знал, что он позер, но сейчас я воочию смог это увидеть.. Кстати, внешне он стал очень непрезентабельным. Есть люди, которым старость идет. Иного человека зрелые года делают даже более красивым, нежели он был в молодости. С Евтушкой всё наоборот, всё не так. Как говорят в армии на старые сапоги — «б/у», т.е. бывшие в употреблении. Вот точно так же Евтушенко весь словно «б/у».

Настоящее восхищение у меня вызвал Владимир Карпов, последний руководитель СП СССР. Вот это настоящий патриций. Он был в совершенно великолепном, ладно скроенном костюме и со звездой Героя Советского Союза на груди. Причем он держался скромно, не выставляя себя на обозрение, как Евтушенко, он здоровался за руку с какими-то безвестными людьми, знакомство с которыми, казалось бы, не может составить чести. И при всем этом Карпов был по-настоящему ярким, заметным, величественным. Наверное, таким же заметным и величественным был Алексей Толстой среди «пролетарских писателей» в 20-30-е.

4 марта

На днях я отдал Ю.Кублановскому «Литературную Россию» со своей статьей о Солженицыне. Сегодня позвонил ему, и он говорит, что передал газету самому Солженицыну. Мог ли я вообразить, что Солженицын будет читать когда-нибудь мою статью о нем! Вот бы узнать его мнение.

2000 год

30 мая

В Донском монастыре похоронен И.С.Шмелев! 50 лет он пролежал на Сент-Женевьев де Буа. И вот теперь, согласно завещанию, его перезахоранивают на родине.

Это же почти уникальное событие. До него перезахоранивали Шалапина и Герцена с Огаревым. И, кажется,

больше никого. Правда, в связи с ликвидацией некоторых московских кладбищ переносили останки известных людей на другие кладбища. Как Гоголя, например. Но это другое дело. Это именно возвращение на родину. Вот такое по-смертное возвращение. А вчера возле Третьяковской галереи был открыт бюст Шмелева. В здании, где сейчас педагогическая библиотека, раньше была гимназия. И он там учился.

Такова одна из последних страниц дневника Юрия Рябина, переданная в редакцию нашего журнала.



Борис НОСИК

РУССКИЕ ТАЙНЫ ПАРИЖА

КТО ТЫ, МАЙЯ!

(РОМЕН РОЛЛАН И ЕГО ЖЕНА)

Юность Майи

Романтическую «коктебельскую» историю об этой загадочной женщине я впервые услышал на долгой вечерней прогулке в писательском Переделкине.

Мы шли по присыпанной свежим снежком обледенелой дороге между деревянными дачами-дворцами, и сильно уже немолодая, но еще со следами былой красоты, ухоженности и богатства писательская вдова, которую я бережно поддерживал под руку, рассказывала мне, несведущему, бесчисленные истории из «их жизни», одна другой удивительней. Про довоенные вечера в Переделкине, когда приставленный к писателям страшный Яша Агранов, друг Лили Брик, из ГПУ, вдруг заходил без предупреждения на огонек: «Продолжайте, друзья, про-

должайте, о чем вы тут говорили, товарищи?» Когда вон в ту дачу въехал Пастернак, а из той вон только что увезли Бабеля... Ну и, конечно, про Ялту, про былые времена, про волшебный Коктебель — ах, Коктебель, затейник Макс Волошин... У Макса жила молодая прелестная Майя, вдова князя Кудашева, и Макс придумал написать от ее имени нежные письма трем знаменитым мужчинам-писателям: Герберту Уэллсу, Бернарду Шоу и Ромену Роллану. То-то была потеха, все вместе писали, всей компанией... Уэллс и Шоу, правда, не отозвались...

— Ну да, у Уэллса уже была русская, — вставил я, — а Шоу это было без надобности... К тому же у него были для переписки две актрисы-«заочницы».

— Может, и так. Но Роллан ответил, и ему писали все вместе от имени Майи. А потом Майя стала сама переписываться, никому свои письма не показывала и вышла за него замуж... Очень милая история...

— Очень коктебельская, — согласился я, припоминая, на что это похоже. Слишком сильно похоже.

Позднее я наткнулся на воспоминания писателя Миндлина, который в 1919 году, совсем молоденьким, познакомился с Майей в Коктебеле у Волошина.

«Со всеми дружила и всегда оставалась сама собой маленькая, изящная Майя Кудашева, впоследствии ставшая женой Романа Роллана. В известном до революции сборнике «Центрифуга» помещены ее стихи, подписанные «Мари Кювелье». Писала она по-русски и по-французски. Незадолго до приезда в Феодосию она потеряла своего молодого мужа князя Кудашева и жила с матерью-француженкой и малолетним сынишкой Сережей... В феодосийской жизни он был еще маленький Дудука Кудашев, а его мать подписывала стихи «Мария Кудашева». Мы все звали ее запросто Майей. Майя — давнишний друг Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина и добрая знакомая очень многих известных писателей».

Разговоры на Монпарнасе

Это мне все вспомнилось, когда, впервые надолго поселившись в Париже в начале 80-х годов, я случайно узнал, что Майя Кудашева-Роллан еще жива. Я раздобыл ее телефон, позвонил, представился и услышал, что могу прийти побеседовать — она как раз в Париже, у себя в парижской квартире, на бульваре Монпарнас (это удача, что застал, потому что домов у нее много). И вот в назначенный час я отправился на свидание с той самой Майей, с Марьей Павловной Кудашевой, вдовой Ромена Роллана.

На подходе к ее дому я старательно вспоминал; если восторженный Миндлин умер к тому времени в Москве на девятом десятке лет, то Марии Павловне, которая его была старше, должно быть нынче 87-88... И дело не только в неизбежной потере былой женской прелести — помнит ли она хоть что-нибудь?

Встреча превзошла мои лучшие и худшие ожидания... Дело не в памяти — она ничего не забыла, все вспомнила, что было и 50, и 60, и 70 лет тому назад (ну, может, изредка кое-что путала и привирала). Просто предо мной предстал не тот человек, которого я ожидал увидеть, не та романтическая коктебельская вдовушка, о которой я слышал некогда на заснеженных подмосковных аллеях в рамках небескорыстной, вероятно, переделкинской «легенды», рассказанной красивой пожилой дамой из общества: это я понял уже и полчаса спустя, а наше свидание с Майей было долгим и вполне интимным...

Марья Павловна сама открыла мне дверь и «русским голосом» сказала, что нам с ней лучше разместиться на кухне. На что я с фальшивым энтузиазмом отозвался, что это будет очень по-московски, у нас в малогабаритных квартирках гостей любят принимать на кухне, особенно по вечерам, когда дети спят — это очень уютно и удобно (тут же заодно и закусишь). Это и правда оказалось для меня удобным. Мне вам сейчас не нужно описывать городскую квартиру Роллана, я даже не знаю, сколько в ней было

комнат: пять, пятнадцать или двадцать пять (я видел также его красивые дома в Везелэ, но что мне до чужих домов). Тусклый свет, падавший через окно убогой, захламленной кухни, позволяет мне также не вдаваться сейчас в безотрадные описания женской внешности. Все-таки Майе было сильно за 80, и у нее была борода. Не такая густая, как у молодого Волошина, не такая «идейно выдержанная», как у Маркса и Энгельса, пожиже, но все-таки борода, на манер Достоевского.

Она была явно не избалована вниманием корреспондентов (уже, вероятно, и сам Роллан не был ими избалован в Париже), так что едва я вытащил свой блокнот, как мы сразу погрузились в ее воспоминания — парижский день короток, а женская жизнь длинна: от Москвы до Парижа, от Серебряного века до Свинцового, от Клоделя до неназванного, но незабываемого Ягоды... Это был замечательный рассказ. Марья Павловна то и дело пускалась в интимные подробности, но вовремя меня одергивала, и, чтоб я чего не вообразил по резвой игривости ума, она строго поднимала сухой старушечий палец и говорила с угрозой: «Но ничего не было! У нас с ним ничего не было!» И я курлыкал вполне убедительно: «Понятное дело! Кто может такое подумать...»

Первая любовь. Первые романы

Начали мы со знакомого нам обоим и нами любимого некогда Коктебеля, с ее ранней влюбленности в знаменитого Макса Волошина...

— Газеты писали, что он ходит в длинной рубашке, но без штанов. Я ему написала, что я сочиняю стихи. Мне было 17 лет, а ему 36. Я купила фиалки, и мы пошли к нему с моей подругой Жоржеттой Бом. Он пригласил меня в Коктебель. Мне пришлось обмануть мать, чтобы к нему уехать.

— Первая любовь? — спросил я с научной дотошностью.

— Нет. Нет, конечно. В первый раз я влюбилась в свою классную даму. Мне было 10 лет. А она однажды солгала

нам, всему классу. Это был такой шок. Мой первый мужчина был Сергей Шервинский. Мне было 16 лет, а Сереже уже 19. Теперь-то ему 90. Помню, как он сунул руку мне в муфту, а я руку отдернула...

— Ах, юность... В 17 лет вы поехали в Коктебель?

— Там бывало много людей... Бальмонт в меня тоже влюбился, но он влюблялся во всех женщин. Он стал за мной ухаживать и хотел увезти меня в Петербург. Марина написала стихи:

**Макс Волошин первым был,
Нежно Маиньку любил.
Предприимчивый Бальмонт
Звал с собой за горизонт.
Вячеслав Иванов сам
Пел над люлькой по часам:
Баю-баюшки-баю,
Баю Маиньку мою.**

— Очень мило.

— Да. А я влюбилась в Виктора Веснина. Я ему сказала, что Бальмонт хочет увезти меня в Париж, и тогда он стал приглашать меня к себе. Ему уже исполнилось 28 лет, но он до меня еще ни одной женщины не целовал. Он очень боялся, что я его разлюблю, и его брат увез его в Италию, чтоб он успокоился.

— В стихах упомянут Вячеслав Иванов...

— Макс мне часто про него рассказывал. Что он необыкновенный человек. Что работает он по ночам у себя в «Башне», а днем спит. По ночам у него все собираются. Жена Макса. Маргарита Сабашникова, влюбилась в него. Макс хотел убить его, когда он спал, подошел к нему с ножом, но не смог убить — такая излучалась от него сила. Старик Гершензон был просто без ума от Вячеслава... А за мной ухаживал Сережа Кудашев. Его дядя, Николай Бердяев, потом все свои архивы передал в Москву. По субботам эти философы собирались на собрания религиозно-философского общества во Власьевском переулке...

— А потом были война и революция. Сережа ушел на фронт. Я ему все рассказала: что у меня было два рома-

на, а с Максом ничего не было, потому что он меня только гладил. Я про них про всех сказала Сереже: и про Макса, и про Бальмонта, и про Веснина... А через несколько дней он мне сказал: «Мы поженимся». Потом он уехал на фронт.

— Потом я жила в Крыму, в Коктебеле, и у меня был маленький роман с Эренбургом. Мы только целовались. Он был анархистом, и он голодал во Франции, работал на железной дороге, а потом он поехал в Киев и там женился на Любе, своей двоюродной сестре. Стихи его не понравились большевикам, он из Киева приехал в Москву и привез Любу и Ядвига, которая была в него влюблена. Потом он приехал в Крым. А под пасху мы узнали, что белые пришли в Феодосию, и я решила туда поехать, чтобы разузнать о Сереже.

Еще в Новочеркасске Сережа подружился с одним старым кадровым офицером. Я, помню, как-то сидела напротив него на обеде, и он мне сказал: «Вы меня презираете, потому что я пьян». И вот я приехала в Феодосию. Итальянская набережная полна была офицеров. Я ко всем к ним подходила и спрашивала, знают ли они Сережу, но никто не знал. Потом я устала, свернула в какой-то маленький переулок и вдруг вижу — из двора выходит тот самый старейший офицер. Я спросила у него про Сережу, и он сказал: «Он умер от тифа». Если бы его убили большевики, я б потом никогда не смогла влюбиться в большевика. Мы вышли на мол, и этот кадровый офицер сказал: «Это жена Сережи». И все офицеры, сидевшие на молу, встали. Тогда я и поверила, что он погиб. Я вернулась в Коктебель и никому ни о чем не сказала. Эренбург пошел за мной и сказал: «Мне ты должна сказать правду». И я сказала. Он утешал меня и гладил мне ноги...

Она быстро взглянула на меня и уже вознамерилась предупредить, что «ничего не было», но я и без того заворковал, почти что галантно: «Ну что вы, Марьпална, ну кто может подумать», и она, успокоясь, продолжила поразительный свой рассказ.

— У Макса в доме жила в это время одна дама с тремя детьми, которым я давала уроки. Ее муж, казачий генерал Калинин, как раз приехал к ней в гости. Вдруг слышу, ко мне стучат с террасы. Я вышла, а там генерал стоял с пистолетом. Он сказал: «Княгиня, я узнал, что к вам ходят жида. Первого жида, который к вам войдет, я застрелю». А жена его сзади мне делала знаки, чтоб я молчала. Потом контрразведка белых арестовала Мандельштама. Я пошла к казацкому генералу просить за него, а брат Мандельштама и Эренбург меня ждали. Генерал сказал: «Одним жидом меньше. Если бы вы видели, какие мы делали из жидов аллеи. Хорошо, напишите письмо, что вы за него ручаетесь». Потом пришел их контрразведчик и сказал: «Все за него просят, а он делает в штаны на допросе». Потом на меня Эренбург набросился: «Вот, все вы такие, вешать вас надо». А он сам, когда выступал на Кавказе, называл богатых дам жидами. В Москве его сразу арестовали, но Троцкий помог его освободить. Среди моих учениц в Феодосии была дочка интенданта, он мне давал муку и сахар...

И тут, к моему отчаянию, рассказчица вдруг запнулась. Может, воспоминание о сахаре и муке растревожило ее голод. Так или иначе, она не вернулась больше ни в Коктебель, ни на дороги гражданской войны, ни в подземелья подсознания...

Она встала, сняла со стены русскую авоську с мятыми марокканскими апельсинами (теми, что в здешних супермаркетах полтинник за кило), взяла себе апельсин, а один дала мне.

— Плохие продукты во Франции, — сказала она. — Всюду химия. Вот в России чистые продукты и очень вкусные...

Я вспомнил, сколько часов я выстоял в очередях за фруктами, пока рос мой мальчик, хмыкнул неосторожно и чуть не подавился нечистым их апельсином.

— Вы что, вы мне, может, не верите, что там замечательные продукты? Что там у них всего много?

— Чего ж мне не верить? — сказал я вполне миролюбиво, но мысль вдовы уже ушла из сферы ее половозрелой юности. Ее понесло в политику.

— Роллан был мистик, — сказала она, — он хотел всех накормить. Ближе всего он был к католическому мистицизму. Моей последней любовью был итальянский прелат из Мюнхена...

Я приободрился. Я хотел знать, гладил ли он ей ноги или хотя бы дергал ее за бороду. Но даже прелату не удалось выбить ее из политики.

— Бедный Ленин был тоже идеалист, — сказала она. — Ведь он отменил смертную казнь.

Жуя апельсин, я пытался постигнуть логику рассказа. Уже ясно было, что материалистом был Сталин, но каковы были ее отношения с его «материальными» центрами?

— Я ненавидела Хрущева, — сказала она, — потому что он все время хохотал. Хохочущий коммунист — это ужасно, у него нет сердца. Вот у Косыгина всегда был грустный вид. Я увидела его и поняла: вот человек, который страдает. Я специально поехала в советское посольство, чтоб его увидеть. Жду-жду и вдруг — он идет с Зориным. И улыбается мне. Значит, он любит Роллана, а я люблю Лешку Косыгина. Я специально пошла в магазин Альбин Мишель и купила красивую книгу, чтоб ему подарить. На обложке была веточка вербы. Но потом оказалось, что книга эта о Китае и ему нельзя ее подарить...

Я восхищенно гляжу на хозяйку: любовь и политика не умирают в ее сосудах. Ах, бородатая Майя, ах, проказница...

— У меня был роман с Клоделем, — продолжает она. — Я бы легла с ним, но он был такой добродетельный...

— А Роллан? — спросил я.

Она взглянула настороженно. Вопрос был неуместным. Может, он затрагивал слишком много тайн сразу. Скорей всего, не любовных.

— Когда меня послали к нему, я не знала, оставит он меня у себя или нет. Думаете, мне не было страшно...

«Нет, нет, — захотелось мне сказать. — Это единственное, что я о вас не думаю. Я знаю, вам было страшно. Это многое для меня объясняет. То, что непонятно иностранцам...»

«Значит, все-таки послали, — подумалось мне. — Или отпустили после хорошего инструктажа...»

— Он правильно поступил, оставив вас. Он был умный человек, — сказал я вежливо. И тут же устыдился сказанного, потому что она отозвалась с надрывом, почти с ненавистью:

— Он был дурак!

Я молчал. Мне нечего было сказать. Все, что она сказала, было и важным, и неожиданным... А ей вдруг показалось, что она сказала слишком много. Или что сказанное требует расшифровки.

— Он жаловался Сталину на нерешительность здешних коммунистов. Он звал его к действию. А Сталин сказал, что они сами разберутся. Сталин был умный...

За окном стемнело. Беседа стала ходить по кругу. Что она думает о Сталине, я мог бы и сам догадаться. Я спрятал в сумку бесценный блокнот. Спасибо, бородастая Майя...

Довольно скоро после этого она отошла в мир иной, подарив мне на прощание удивительный монолог в стиле Поплавского и две-три фразы для толкования...

После ее смерти стали происходить на нашей с ней родине некоторые отрадные перемены. Разрешили читать кое-какие архивные бумаги, печатать кое-какие книги. Имена Майи и ее подопечного старичка Роллана в этих некогда засекреченных бумагах из Центрального партархива попадались то и дело. Через него органы и Коминтерн прокручивали самые разнообразные международные и даже внутрипартийные мероприятия: он был безотказным. Но, конечно, он никогда сам бы не додумался до этих акций. Нужно было ему все подробно разжевывать, и Майя была под рукой. Конечно, и она сама ничего не могла придумать. К ней инструкции поступали из Москвы — через парижских кураторов более высокого ранга.

По части разведтехники она, видно, не была такой уж неопытной. От веселой коктебельской вдовушки 1919 года она ушла далеко и, наверно, пережила за эти годы немало трудностей и страхов. Вдова белогвардейца-князя должна была крутиться, чтоб выжить и прокормить сына. Сперва она работала во французском консульстве. Тогда ее, скорее всего, и «уполномочили». Она была человек нужный. Ее интимные и просто дружеские связи дают выход на Пастернака, Иванова, Эренбурга, Цветаеву. Она становится секретаршей Гильбо, того, что был приговорен к смерти во Франции, а в Москве работал во французской секции Коминтерна. Может, тогда она и проходит настоящую профессиональную школу.

Первые письма Роллану она пишет в 1922 и 1923. Они обмениваются письмами. Он, впрочем, не изъявил тогда большого желания продолжать переписку, попрекнул ее моральной неустойчивостью и не помог пристроить у издателей ее французские стихи (первый сборник она выпустила в 1924 году в Москве).

Позднее она секретарствует у знаменитого профессора французской литературы П.С. Когана и заодно вступает с ним в связь. Вполне возможно, что она присматривает за этим знаменитым деятелем, усердно дававшим классовую трактовку явлениям французской литературы, но, как упрекали его посмертно советские энциклопедии, не сумевшим полностью «овладеть марксистско-ленинским методом в литературоведении». И все же это был в те годы крупный начальник, руководитель Государственной академии художественных наук.

В 1925 году он был назначен комиссаром советского павильона декоративного искусства на Парижской выставке и взял с собой в Париж Майю, одну из своих секретарш. Здесь Майя знакомится с известным писателем Жоржем Дюамелем и пытается, как изящно формулирует это специалист по Роллану Бернар Дюшатле, стать его духовной дочерью. Дюамель, по сообщению того же Дюшатле, отвергает «ее авансы», тем не менее, она помогает Дюамелю и Дюртену устроить в 1927 году поездку в Советский Союз, где Майя выступает в качестве их «чи-чероне».

Переписка между Ролланом и Майей

Как и положено профессионалу, допущенному к «работе с иностранцами», Майя демонстрирует подопечным высшую степень «веры в большевистский режим» и агитирует их «за советскую власть». Позднее Дюамель дважды упоминает ее в своих книгах, а попав в том же 1927 году вместе с Дюртеном в гости к Роллану, он разжигает любопытство стремительно «левеющего» гуманиста рассказами о проказнице Майе. Разволнованный этими рассказами, Роллан пишет в погожий апрельский день (5.04.1928 г.) письмо Горькому, с которым у него восстановилась переписка с тех пор, как Горький понял, что плоха или хороша кровавая диктатура, а выжить без него его семье будет трудно (да и скучно, и бесславно):

«Знаете ли вы Марию Кудашеву, которая пишет мне из Москвы и о которой мне говорили Дюамель и Дюртен? Она была их преданным гидом в России. Она сейчас просто влюблена в большевизм — я читал ее прелестные французские стихи (не те, что вышли: она, на мой взгляд, опубликовала не лучшие)».

Переписка между Ролланом и Майей возобновляется. Письма идут все более нежные (тут она тоже была профессионалка), минуют цензуру без задержки, и Роллан посылает Майе книгу про Ганди с нежной надписью. А она в своих письмах дает обещания, выходящие далеко за пределы ее скромной дамской компетенции, — скажем, выпустить в Москве полное собрание его сочинений (такого во Франции не дождешься). Чтобы написать такое, она должна была «посоветоваться с товарищами».

Итак, Роллан решил пригласить Майю к себе в Швейцарию. Он обратился за протекцией к Горькому. Горький не выдавал виз и не выпускал из страны (его потом и самого не выпустили). За разрешением Горький обратился к «товарищам», Майиным коллегам. Если бы у них не было далеко идущих планов, никуда бы она не поехала. А может, именно «товарищи» ее к Горькому и отфутболили, чтобы Роллану готовность ее отпустить не показалась

подозрительной (именно так считает автор новой интересной книги о Горьком А. Ваксберг).

Так или иначе, Майя приехала в Швейцарию к Роллану, гостила там в августе-сентябре 1929 года и, как удовлетворенно сообщает французский эксперт, успела рассказать Роллану «о своем пути от старого мира (где ей, если помните, так нежно гладили ноги. — Б.Н.) к новому и о своей вере в большевизм».

На обратном пути Майя задержалась в Германии (на что не решился в 1935 г. и сам Пастернак, но у него был в Германии только отец, а у Майи, вероятно, «дела».

Французский эксперт (тот же Дюшатле) считает, что ей нужно было отдохнуть от Швейцарии, куда она снова поехала лишь в конце 1930 года. Декоративного вмешательства Горького больше не требовалось. Теперь делами Роллана ведали непосредственно «товарищи» (через свои отделы, в том числе через Общество культурных связей с заграницей — ВОКС). Все вместе они и послали трепетную Майю выходить замуж за Роллана. Невеста была не самой первой молодости, но все же на 29 лет моложе уже растранившего здоровье гуманиста Роллана, к тому же она была княгиня, перешедшая в лагерь пролетариата, она могла поделиться с ним энтузиазмом «святой веры»...

Но в чем был смысл всей этой операции? Знаменитый писатель-гуманист в то время и без того ведь уже склонился к рабочему движению и к коммунизму. Но, конечно, сотрудничество «попутчика» было пока на любительском уровне: нужно было его заполучить для регулярного использования, для извлечения максимальной пользы, надо было его натаскивать.

После женитьбы на Майе Роллан стал не просто коммунистом, но и яростным сталинистом, борцом со всеми уклонами. Сталин готовился в то время к укреплению своей диктатуры и кровавому истреблению не только былой оппозиции, но и всех потенциальных своих конкурентов, к внедрению всеобщего страха, без которого невозможно удержать власть. Здесь ему и мог сгодиться гуманист-сталинист Роллан, зарубежный соратник Горького на ниве оправдания и прославления террора (чем оба гуманиста и занялись). Кроме того, Сталин готовился

к завоеванию мира и к войне, вел переговоры с Гитлером, организуя при этом завесу народных фронтов во Франции и в Испании, плотную дымовую завесу «борьбы за мир» и «антифашистского движения», так что здесь ему тоже мог пригодиться гуманист с устоявшейся репутацией пацифиста (который был, как принято было выражаться, «над схваткой»).

Еще в начале 20-х Карл Радек и знаменитый коминтерновский агент влияния Вилли Мюнценберг объяснили недоверчивому Ленину, что большевистский социализм даже скорее найдет поддержку в кругах богатой диссидентствующей левой интеллигенции, чем в «массах рабочих и крестьян», у которых есть другие заботы.

Умелый Мюнценберг создал в 20-30-е годы во Франции мощную сеть интеллигентов-«попутчиков», работавших на Советы. Один из ближайших помощников Мюнценберга — Жибарти и был, скорее всего, куратором Майи в Париже.

В письме Барбюсу Роллан однажды вдруг высказал опасение, что его, Роллана, репутация может быть подмочена контактами с известным агентом Коминтерна Жибарти. Роллан перепоручил Жибарти заботам своей «Маши» (Майи), не задумавшись, кажется, о ее собственной принадлежности к органам. Издавая позже записки своего покойного отца Жоржа Дюамеля, Бернар Дюамель решил их прокомментировать и встретился для этого со вдовой Роллана. Вот что он написал после их беседы:

«Мария отрицает, что ею манипулировали Советы» — говорит все же то, что она думает в этой связи об одном человеке: «об одном друге (о ее «шефе» — вырвалось у нее в разговоре), который ее использовал». Из того, что она говорит, самый факт ее сотрудничества с Советами вытекает с несомненностью («даже всего лишь в форме обыкновенного шантажа», что она признает)»

Вероятно, речь идет здесь об агенте Луи Жибарти (он же Ласло Добош из так называемой «венгерской мафии» коминтерновских шпионов), а может, и о другом кураторе.

В беседе с русскими Майя была осторожнее, и все же она призналась А. Ваксбергу, навестившему ее в той же

квартире на Монпарнасе за 15 лет до меня (и написавшему об этом три года тому назад):

«Еще и до того, как я уехала к Роллану из Советского Союза, я знала, что от Гепеу мне не избавиться».

Скрупулезно, на каждом шагу руководимый домашним наставником, любимой женой, Роллан превратился вскоре не просто в воинствующего сталиниста, но и в дисциплинированного внештатного сотрудника органов сталинской пропаганды. Майя оказалась «сильным работником». Да и кураторы у нее были неслабые.

Нельзя сказать, чтоб разительные перемены в характере гуманиста и в стиле его выступлений прошли незамеченными. Даже наивный коммунист Борис Суварин, в недавнем прошлом один из якобы «создателей» французской компартии (созданной на самом деле ОМС Коминтерна), отметив этот поворот Роллана в сторону партийной дисциплины, так объяснял причины этого поворота:

«Из Москвы прислана была в его дом женщина, влияние которой не замедлило сказаться, ибо употреблены были коварные методы убеждения, к которым прибегли коммунистические мастера сталинской школы. Они не остановились ни перед чем — ни перед расходами на внеочередное русское издание полного собрания сочинений Роллана, ни перед лестным приглашением, ни перед высочайшими почестями, ни перед обманными, завлекающими письмами Горького...»

Более поздние и более профессиональные авторы, работавшие в 90-е годы и в московских архивах, ссылаясь на воспоминания Виктора Сержа, Андре Жида, подруги разведчика Мюнценберга Бабет Гросс, на книгу «Конец Советов» Анри Гильбо (вместе с которым Майя делала первые шаги в сети Коминтерна) и на бесчисленные пометки в коминтерновском архиве, формулировали то же «с последней прямоотой», не щадя при этом и самолюбия самого нобелевского лауреата. Вот как писал об этом американский исследователь Стивн Кох в своей интереснейшей книге «Конец невинности. Интеллектуалы Запада и искушение сталинизма. 30 лет тайной войны»:

«Мария Павловна Кудашева была агентом, находившимся в непосредственном подчинении советских сек-

ретных служб. Кудашева отправилась в Швейцарию, чтобы занять то место, которое и стало главным в ее жизни, проникать во все уголки существования Роллана, чтобы руководить им в интересах органов. Задача эта была ею выполнена великолепно. Центральный партийный архив в Москве располагает бесчисленными досье, описывающими эпизоды, в которых и известность Роллана, и его принципы были использованы органами в то время, как он изображал «вальс невинности». С того самого момента, как она стала супругой Роллана, Кудашевой удавалось должным образом направлять всякое публичное выступление писателя, в чем она преуспевала до самой его смерти, после которой она унаследовала и легенду о нем, и его архивы. От начала до конца Кудашева поддерживала регулярные и тесные контакты с агентами служб, в том числе и с агентами Мюнценберга.

Характер Ромена Роллана

Тщеславие Роллана привело его к убеждению, что он наделен исключительным умом, отличительными чертами которого являются бесстрашие и независимость. На самом деле он был человеком самовлюбленным и эксцентричным, его легко было водить за нос и легко повергнуть в страх. Кудашева все с большим упорством укрепляла его роли апостола сталинизма, ею же в свою очередь руководили Жибарти и другие агенты. За все эти годы, когда им манипулировали, Роллан успел утвердиться в своем полуневежестве и в том, что мы называем «внутренней непроницаемостью»... мог ли он задуматься над тем, какую роль играла его супруга? После встречи с Горьким... он признался Кудашевой, как огорчило его то открытие, что Горький в собственном доме окружен агентами тайной полиции. Что на это ответила княгиня, нам неизвестно.

А между тем нет сомнения в том, что она была агентом секретных служб, которые и ввели ее в жизнь Роллана, преследуя при этом свои собственные цели. Бабет Гросс призналась мне в этом летом 1989 года: «Она была штат-

ная сотрудница, — заявила она категорически. — И она им руководила».

То же подтверждали и Гильбо, служивший вместе с Кудашевой в Коминтерне, и прочие знавшие Майю французские левые. Но ярче всего подтверждают это писания самого Роллана 30-х годов, его фантастический визит в Москву летом 1935 года, его последующие, совершенно параноические размышления над этим визитом, а также тайные слова раскаяния, произнесенные (после всех самоуверенных криков и заявлений, что он вознамерился переделать и человека и его веру) едва слышным шепотом всего года четыре спустя. Я не назвал бы это трагедией Роллана, ибо предав палачам 20 миллионов невинных русских и еще миллионов 60 по мелочи на нашей планете, он получил все земные знаки отличия, каких жаждал, и умер в своей постели. Но трагикомедией я бы все же решил это назвать.

Подробный отчет о ней (изданный впервые лишь в 1992 году в издательстве Альбен Мишель в «29-й тетради творений Роллана») я не смог отыскать ни в одной муниципальной библиотеке Парижа, пришлось запрашивать книгу из «центрального резерва». Русскому читателю легче — он может отыскать перевод части московского дневника Роллана (правда, без последующих «детективных поисков» и без истории борьбы с Андре Жидом) в 3, 4 и 5 номерах журнала «Вопросы литературы» за 1989 год. Так или иначе, история эта представляется нам настолько любопытной, что обойти ее в рассказе о прекрасной княгине из ГПУ, было бы жаль. Тем более, что французский издатель предвещает нас в предисловии о том, что многие из великих текстов великого Роллана пришлось перевести с русского, так что увидеть в их стиле Майину (и ее кураторов) руку не было бы столь уж нелепым. Зато издатель, готовивший тексты (проф. Бернар Дюшатле), считает нелепым самое предположение, что Роллан был сталинистом и выдвигает против этого предположения убийственный аргумент: «В 1935-1936 годах Мальро, без сомнения, защищал Сталина с еще большим пылом, чем Р. Роллан». Не имея достаточно веских слов в защиту ни пылкого Мальро, ни эпохи кровавого сталинского террора, мы не станем вступать в полемику с французским профессором и предоставим читателю са-

мому решать, «кто был кто». Дневник исторического путешествия нобелевского лауреата в город моего детства, отрочества, половой зрелости (и даже пенсионного обеспечения) предоставит вам достаточно фактов для самостоятельного суждения. Так что вернемся в лето 1935 года.

Поездка в Россию

После стольких приглашений и стольких приготовлений Ромен Роллан, преодолев слабость тела (ему не было, впрочем, и семидесяти), решился на поездку в Москву. В годы, предшествующие поездке, он сделал много заявлений о верности СССР и его вождю Сталину, а также о преданности мировой революции, за которую он готов биться до последнего вздоха. Убежденный, что Сталин стремится к миру (а Гитлер к войне), Роллан все эти годы «боролся за мир» в сети, раскинутой по Европе агентом Коминтерна Вилли Мюнценбергом, и в тесном контакте с компартией Франции (как ныне документально подтверждено, неотступно и ежечасно руководимой Москвой через Коминтерн и ее тайного агента Эугена Фрида) активно занимался антифашистской и сталинистской пропагандой. Это все было известно в Советском Союзе, где Роллан, полузабытый во Франции, был объявлен главным писателем Запада, а главное — лучшим другом социализма. Имя Роллана славил на Первом съезде советских писателей. Вслед за изданием полного собрания его сочинений театры готовили инсценировки его прозы, киношники готовили фильмы, Большой театр изготавлял балет «Кола Брюньон». Накануне отъезда в Москву Роллан еще раз заклеил Гитлера, убравшего с дороги кого-то из своих противников, и еще раз восхитился Советским Союзом, где царят свобода и гуманизм, а потом двинулся в путь...

Нельзя сказать, чтобы писатель был лишен доступа к информации и пребывал во мраке невежества. У него побывало несколько близких ему людей, которым довелось провести немало времени в Союзе (Истрати, Хартош, Вильдрак и другие). То, что они рассказывали о Москве и Ленинграде, настораживало или было страшным.

После недолгой передышки в Москве начиналась новая волна террора. 1 декабря 1934 года произошло то, о чем безыскусно пели в неофициальной частушке: «Сталин Кирова убил в коридорчике». Официально об этом полагалось до самого 1956 года сообщать так: «С. М. Киров был злодейски убит агентами иностранных разведок — троцкистско-бухаринской бандой шпионов, диверсантов и убийц по прямому заданию врагов народа — Троцкого, Зиновьева и Каменева». Убийство Кирова послужило предлогом для развязывания самого страшного в русской (да и в европейской) истории террора. Роллан ехал в гости «по приглашению Горького», чтобы все «увидеть своими глазами» и, подобно своему «другу» Горькому, свидетельствовать миру о гуманности Сталина и его карательных органов.

Визит был проведен приставленными к этому мероприятию органами «по первому классу», с участием множества организаторов, статистов и слуг. Если органы кое-где перестарались, а кое-где им просто не хватило вкуса, то они ведь не во дворцах росли и не в Лондоне, а грамоте учились «по вывескам». Роллана встречали еще на перроне в Варшаве, и то только потому, что он не разрешил встречать его на границе Швейцарии. В Варшаве, кроме советского посла, Роллана и его жену встретил руководитель ВОКСа Аросев, который просил разрешения везти Роллана от самого дома в Швейцарии (Роллан отказался). Аросев еще год назад из Праги поздравлял Роллана с днем рождения, он претендовал на особую близость, добивался «любви и дружбы», и можно догадаться, отчего. Карьера его шла на убыль, началась новая волна террора, и Аросев знал (как, вероятно, знал и Маяковский в последний год жизни), что бывает с теми, чья карьера идет на убыль. Он, возможно, надеялся, что истинная близость к Роллану уберезит его от гибели. По дороге от Варшавы к советской границе Аросев уговорил супругов не ехать в гостиницу, а остановиться в простой советской квартире, в простом советском доме (знаменитом Доме на набережной, в Доме

правительства, большинство жильцов которого вскоре было «ликвидировано»).

Встречала супругов делегация писателей. «Несмотря на предосторожности», кое-какие высоко организованные толпы поклонников в штатском все же попадались на пути и отретпетированно кричали хором: «Наш друг Роллан!»

Квартирка Аросева на десятом этаже Дома правительства оказалась довольно убогой, слуги едва умещались в ней и толклись в коридоре. Наконец, всех удалось выпроводить и остаться одним для отдыха под раскаленной крышей, но тут из своих убежищ выползли неизбежные спутники социализма — клопы. Они остервенело набросились не непривычного швейцарского неженку-лауреата, и в конце концов супругам пришлось среди ночи бежать в отель «Савой», где у них была заказана скромная анфилада из шести комнат. Узнав об этом, бедняга Аросев рвал на себе волосы, грозился растерзать уборщицу, которой он телеграммой велел вывести клопов. Может быть, клопы противостояли ее усилиям, а может, товарищ Ягода, готовя дело на Аросева, подбросил в его жилище каких-нибудь особых клопов из питомника ГПУ. Существуют и другие гипотезы...

Роллан много рассуждает в своем тайном дневнике, преданном наконец гласности, об «интригах» Аросева. Он правильно почувствовал: интрига была, но о смысле ее до сих пор спорят исследователи.

Судя по хитрому письму, написанному Кудашевой Горькому, одной из главных целей приезда супругов Роллан, совпавшего по времени с парижским конгрессом, где должен был председательствовать Горький, было дать еще один аргумент против поездки Горького в Париж (Горький стал уже «невыездным»). Как верно отмечает писатель А. Ваксберг, письмо М. Кудашевой Горькому похоже на ультиматум: Роллану надо с Вами встретиться и встретиться не в Париже, а в Москве. Врачи-гепеушники поддержали этот нажим своими средствами, приурочив к конгрессу очередное «ухудшение»...

И вот Роллан в отеле, и в редкую спокойную минуту может знакомиться с светской жизнью из окна своего номера. Толпа на улице кажется ему не слишком элегантной, но зато здоровой, сильной, откормленной... Впрочем, у него остается мало времени для этих штудий — его везут показывать ему самолет «Правда» (второй по величине после потерпевшего аварию «Горького»), потом в ВОКС на просмотр лучшего фильма всех времен и

народов («Чапаев»), потом в Большой театр, где Уланова танцует в «Бахчисарайском фонтане», а супругов Роллан приветствует в их «царской ложе» (откуда по этому случаю выгнали дипломатов) сам Немирович-Данченко, сам Максим Литвинов, посол США Буллит. Отчаявшийся Аросев предлагает им бежать из отеля на дачу, которую он добыл «у самого Сталина». Роллан отказывается...

Следуют утомительные развлечения — приемы, завтраки, фильмы, а главное — дисциплинированные, но восторженные толпы поклонников, корреспонденты, приветственные крики. Роллан купается в волнах славы, такого с ним еще не было...

Встреча со Сталиным

И вот, наконец, главный день его жизни — 28 июня 1935 года. Он принят Сталиным и удостоился беседы. Отныне он будет не просто какой-то там писатель, лауреат чего-то, автор чего-то: он будет человеком, которого принял Сталин, владыка вселенной, Божество прогрессивного человечества...

Произошло величайшее событие в жизни прогрессивного заграничного сочинителя Роллана, и, на мой взгляд, Сталин был в тот день на высоте. Майя, впрочем, тоже была на высоте (в журнале регистрации сталинского секретариата отмечено ее присутствие «тов. жена Ромена Роллана»): это она подняла Роллана на эту высочайшую ступень, на которой, однако, он не проявил ни особой смелости, ни ума, ни оригинальности, ни наблюдательности... Повизгивая от восторга, как все испуганные гуманисты, курил фимиами, благодарил, извинялся. Ему хотелось, конечно, чтоб его беседа со Сталиным была предана гласности, чтоб целый мир увидел их имена рядом — Сталин и Роллан. Но в секретариате, помявшись с текстом, решили: не надо. Слишком откровенно объяснялся Сталин. А может, слишком откровенно он издевался над Ролланом. Слишком открыто лгал, зная, что гуманист все проглотит...

Но осталась в тайном ящике запись Роллана, она уже предана гласности, и грех было бы не остановиться на этих исторических ста минутах «гуманистического» позорщица... Итак, за столом в кабинете Сталина, кроме хозя-

ина — Роллан, Маша и Аросев, навязавшийся в переводчики (еще шанс угодить, еще шанс уцелеть)...

Роллан начинает свои записи с портрета Сталина, во внешности которого он находит все признаки силы, прямоты, честности, мужества и еще и еще...

Затем Роллан с замиранием сердца сообщает, что Сталин приветствовал его, Роллана, в очень лестных словах. После чего Роллан принимается благодарить Сталина за прием и заверяет его, что имя вождя вселяет в западный мир уверенность, гордость и все такое прочее. Панегирик был не более (но и не менее) постыдным, чем прочая лесть, которую Сталин выслушивал ежедневно. После этого Роллан долго извинялся, что он хочет задать три вопроса, потому что хотя он все понимает в действиях Сталина и в репрессиях и в трудностях, и он все одобряет и ни в чем никогда не усомнится, на Западе есть люди, именно среди сочувствующих, среди друзей, которым не всегда все понятно, хотя ему-то лично все понятно...

В общем, сто раз извинившись и от всех гуманистов отрекшись, Роллан приступил к выполнению тяжелого долга супергуманиста эпохи.

«Конечно, вы тысячу раз правы, так энергично расправляясь с сообщниками покушения на Кирова, но вот.. Это раз.»

А еще вот тут один французский писатель Виктор Серж, который был сослан в Оренбург, понятно, что дело это ничтожное, но зачем давать повод для всяких лживых слухов во Франции... Я его лично не знаю, этого Сержа, но во Франции человек, которого преследуют, всегда может вызвать сочувствие, а его ссылка — волну протестов...

Или вот еще — принят в СССР закон об уголовном наказании, даже о казни детей с 12-летнего возраста... Он-то, Роллан, может понять необходимость этого, но неразумная французская публика может не понять, все же дети...

Ну, а третье — из сферы идеологии. Хотя он, Роллан, сам известный миротворец и знает о неудержимом стремлении СССР к миру, нельзя ли объяснить товарищам, что нельзя все же увлекаться пацифизмом. Война бывает справедливой. Тем более, вот сейчас идут переговоры русских с французскими агрессивными империалистами...»

Роллан извинился за долгую речь, а Сталин сказал, что это все было очень интересно, что он слушал с большим

удовольствием и он берется все это объяснить... В объяснениях Сталина Роллана поразили «совершенная, абсолютная простота, прямота, правдивость...» И вот она, запись правдивых объяснений:

«О поспешной казни ста человек после убийства Кирова он говорит, что это вышло за рамки законности и морали, возможно, даже было политической ошибкой, но мы поддались чувствам (может, он сказал — страсти). Эти сто человек, которые «не принимали участия в убийстве Кирова, они все-таки были террористами, тайными агентами Германии, Польши, Литвы (а может, Латвии?). Нужно было дать пример для устрашения. И мы решили не давать этим убийцам (а некоторые из них даже похвалялись своим желанием убивать) этой чести — предстать на открытом процессе, решили не предоставлять им трибуну...»

Наверное, прежде чем принять Роллана, Сталин поинтересовался, что там о нем сказано в сводках Ягоды, точнее, агента Ягоды Майи Кудашевой. И уж, наверное, она не утаила от куратора того, что выложила мне на своей монпарнасской кухне при первой встрече:

— Ролпан был дурак.

Так что Сталин мог, не опасаясь подвоха, натешиться вдоволь. А Ролпан старательно записал для потомства его простодушные, честные речи:

«Нам очень неприятно осуждать, казнить. Это грязное дело. Лучше было бы находиться вне политики и сохранить свои руки чистыми. Но мы не имеем права находиться вне политики, если хотим освободить поработанных людей. А когда соглашаешься заниматься политикой, то уже все делаешь не для себя, а только для государства: государство требует, чтобы мы были безжалостны... нам приходится учитывать не только мнение зарубежных друзей СССР, которые упрекают нас в том, что мы безжалостны, но и наших товарищей внутри нашей страны, которые упрекают нас в том, что мы слишком снисходительны. Даже соучастников убийства Кирова, которые знали о заговоре, допустили его, хотели этого убийства, но не приняли в нем активного участия, таких, как Зиновьев и Каменев, мы сочли возможным не осудить на смерть. И наши товарищи в СССР возмущены этим.»

Легко представить себе, с каким презрением оглядел товарищ Сталин лауреата, записывающего всю эту ахи-

нею, прежде чем перейти к рассказу об опасных детях и женщинах, ползающих с ножами и ядом по коридорам Кремля, чтобы убить его мудрых вождей.

«Наши враги из капиталистического окружения не знают покоя. Они проникают в любую среду, засылая своих агентов в лоно церкви, семьи, заражают ненавистью женщин и детей. Вот факты. Недавно мы раскрыли, что несколько молодых женщин из старых семей сумели проникнуть в окружение руководителей партии, чтобы их отравить. (Сталин не сказал, но я сам узнал недавно, что речь идет о нем самом: его библиотечарша, которой он доверял, была арестована при попытке его отравить: она проникла к нему из-за беспечности наркома Енукидзе.) Враги преступно взвинчивают этих женщин. И они воображают себя Шарлоттами Корде. А с детьми еще хуже. Там и сям возникают тайные группы маленьких бандитов человек по пятнадцать (?), вооруженных ножами, и они, подстрекаемые взрослыми, которым платят наши враги, убивают «ударников», мальчиков и девочек (даже и не по политическим мотивам, а просто потому, что они «ударники», хорошие ученики), они совершают эти убийства, они насилуют молодых девушек и подстрекают их к проституции и т.д. И только недавно, в связи с убийством одной девочки, мы раскрыли эти факты двухлетней и трехлетней давности. Мы были слишком заняты политическими заботами, колхозами, мы этого не знали, у нас не хватало времени... Когда мы об этом узнали, мы были потрясены. Как быть? Нам понадобится два или три года, чтобы искоренить всех этих разбойников. И мы этого добьемся. Но сейчас мы должны были принять закон, который грозит смертной казнью детям-преступникам, которым уже исполнилось 12 лет, и особенно их подстрекателям. Но на самом деле закон этот никогда не применяют. И я надеюсь, что его никогда не будут применять. Понятное дело, что мы не можем это сказать открыто: иначе он утратит нужный эффект, эффект устрашения. Отдан секретный приказ проявлять строгость только ко взрослым подстрекателям. Этим пощады не будет...»

«(Слушая об этих тайно совершаемых жестоких преступлениях женщин и детей, я впервые понял ту реальность, о которой мы забываем на Западе: старая, варварская, жестокая Россия, которая еще жива и с которой приходится бороться большевикам.)»

Наконец-то гуманист-сталинист узнал страшную правду о старой России, о жутких русских детях и отравительни-

цах-аристократках, наполняющих Кремль! Он услышал об этом из правдивых уст вождя-гуманиста, и ему захотелось уйти от этих ужасов, поговорить о чем-нибудь прекрасном, например, о гуманизме вождя:

«Я отвечаю, что «хотел бы поговорить также и на другие темы, более светлые и радостные: так, например, меня интересует вопрос о новом гуманизме, который провозглашаете вы, товарищ Сталин: в вашей недавней речи прозвучали прекрасные слова о том, что «самый ценный и решающий из всех капиталов, существующих в мире, это люди — новый человек и та новая культура, которую он создает».

Товарищ Сталин был доволен, что товарищ Роллан следит за его основополагающими трудами, посоветовал ему почаще читать «Анти-Дюринг» и намекнул, что делу время — потехе час. Товарищ Роллан покинул товарища Сталина и пошел в отель изливать свои восторги по поводу его мудрости.

Через полтора часа комедия эта наскучила Сталину, и он дал это понять, пообещав, что они еще потолкуют на даче у Горького. И Сталин (вместе с Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым) действительно заезжал на дачу — отдохнуть от трудов, повеселиться и пообщаться с «корифеями». Роллан отметил, что вожди все время шуткуют и что шутки их грубоваты. «Кто в этом доме хозяин? — спрашивал Сталин у Горького. — Ты или Крючков?» В этой шутке была, как говорили некогда, «лишь доля шутки». Конечно, Крючков из ГПУ был в большей степени хозяином дома, чем Горький, живший на иждивении казны со всей своей оравой приживальщиков, и, если ему в кои-то веки напомнили об этом, пенять было не на кого. По праву этому чахоточному сочинителю, критиковавшему некогда самого Ленина и «имевшему связи с границей», в тогдашней России могли принадлежать только нары в лагерном бараке...

Утомленные московской жизнью, супруги Роллан к началу июля переехали в подмосковный дворец Горки — то самое морозовское имение, где за десять лет до Горького жил и умер Ленин. Здесь Роллана ждали новые открытия. Он обнаружил, что советские аристократы — и Горький, и даже Алексей Толстой — живут в большой

роскоши, окруженные слугами, что «двор высших сановников (пусть даже заслуживших эти милости) ведет жизнь привилегированного класса, тогда как народу приходится все еще в тяжелой борьбе добывать себе хлеб и воздух (я хочу сказать — жилье), и все это происходит ради утверждения победы революции, первой целью которой было установление равенства трудящихся, создание единого класса. Я уверен, что мои размышления, изложенные на бумаге, давно записаны в сердцах тех, кто не имеет привилегий. Я читал это в глазах крестьян и рабочих, укладывавших асфальт на загородных дорогах, по которым проезжал наш автомобиль... Даже такой добрый и великодушный человек, как Горький, переводит за столом... пропитание многих семей, ведет образ жизни сеньора, не задумываясь об этом...»

Городской и дачный дома Горького являли собой в те годы смесь помещичьей усадьбы с дворцом чудес. Какие-то люди садились за стол, кормились, уходили, приходили. Кроме Горького, двух внучек, сына, невестки, секретаря П. Крючкова с женой, Олимпиады, медсестры, врача, неизменного Ракицкого, без конца бывали гости, писатели, работники ГПУ, слуги, шоферы. Частыми гостями бывали шеф ГПУ (в то время уже НКВД) Генрих Ягода и писатель Алексей Толстой — оба были влюблены в невестку Горького по кличке Тимоша. Может, именно это соперничество привело (за полгода до приезда Роллана) к ранней гибели обожаемого отцом сына Горького, добродушного алкоголика и чекиста Максима, мужа Тимоши. Алексей Толстой, получив отставку у Тимоши, стал бывать реже (но все же выпросил у Ягоды заграничный автомобиль), а шеф тайной полиции Ягода, похоже, одержал победу над вдовушкой (еще б ему не одержать). Ягода теперь дневал и ночевал у Горького, и Роллану довелось немало общаться с этим страшным человеком. Впрочем, страшен он был для тех, кто ждал ареста, кто был арестован и кто попал на допрос, а Роллан просто приглядывался к одному из главных людей в государстве и вел записи о своих беседах с грозой России:

«У «ужасного» Ягоды тонкие черты лица, лицо благородное, усталое, еще молодое, несмотря на редкую седину (он напоминает мне Моруа, только он утонченней): ему идет его темно-коричневая форма, говорит он мягко, вообще он сама мягкость. Он отвергает наличие идеи возмездия в советском правосудии и говорит, что он лично заботится о гигиене заключенных. Он упомянул как-то о лагере под Москвой, в котором 200 000 заключенных (?), но не было ни одного случая заболеваний.

Высылку из Ленинграда он находит вполне естественной. И он отмечает с удовлетворением, что если потом обнаружится ошибка, то люди эти возвращаются и никому из них не приходится страдать. А ссыльные сохраняют свободу — в местах ссылки — и достоинство этих людей никак не ущемляется. — А ссыльным такой категории, как Виктор Серж, предоставляются работа и средства существования. Отбыв ссылку, они могут разъезжать по всей стране, жить где угодно, кроме Москвы и Ленинграда...»

«Так вот — кому мне верить? Ягода мне кажется симпатичным, и то, что он говорит, не вызывает сомнений. Хотя когда он говорит, что письма в СССР не вскрывают... он принимает нас за простаков... Уж это мы знаем и сами себя виним, когда встречаем с недоверием мягкий и честный взгляд Ягоды».

«...Ягода начинает говорить о своей работе по перевоспитанию уголовников, и глаза у него загораются. Фигура загадочная: большая мягкость в манерах, голосе, взгляде... Что думать о подобных внутренних контрастах? Шеф безжалостного Гепеу — и внецерковный святой, пылкий и вкрадчивый... Он начинал с горсточкой хулиганов, которых поселил у себя, на свободе, сказав им: «Командуйте сами!» Когда они жаловались на недостаток комфорта, он говорил им: «Вы не в гостях у дамы-патронессы. Трудитесь». И в них пробудилось чувство гордости, это все решило. Это опрокинуло все до сих пор существовавшие теории криминологов: Ломброзо, Фрейд и прочих — об атавизме, о привычках. В скором времени они стали гордиться своей коммуной, они оберегают ее. Их сейчас в Болшеве от двух до трех тысяч, скоро они отпразднуют десятую годовщину коммуны. По этой модели Ягода учредил и другие коммуны, от тридцати до сорока тысяч... И Ягода восторженно пророчит, что через два-три года детей-беспризорников больше не будет в России. А поскольку именно они служат базой преступности, Ягода с идеализмом верит, что за 10-20 лет преступность вообще исчезнет. Если верить ему, и сейчас уже из всех крупных городов мира в Москве самая низкая преступность. (А в Нью-Йорке самая высокая...»)

Роллан высказывает в дневнике сомнение в том, что человечество вот так, сразу и просто — перевоспитается, но не может не восхититься этой святой верой шефа сталинской полиции:

«Несмотря на это, усилия его сохраняют и свою ценность и свою прелесть. Но почему все-таки в этом доверии, которое так широко оказывают уголовникам,

отказывают политическим заключенным... Их здесь собирают, чтобы они осуществляли большие стройки (канал Москва-Волга). Снова проявление полицейского идеализма. Который меньше озабочен материальными страданиями, чем моральными и социальными язвами».

«Ягода сказал мне: «За 15 лет у меня ни разу не было ни возможности, ни разрешения побеседовать с иностранным писателем. Вы первый. Моя должность мне никогда не позволяла этого. Я избегал мест, где они собирались».

И он подтвердил, как много значит мое имя, кем я являюсь в СССР».

Великая фраза!

Идеализм ГПУ, ГУЛАГа, тюрем, лагерных коммун, а может, и казней таит, видно, огромный соблазн для гуманистов типа Горького и Роллана. Одним усилием Ягоды, Дзержинского, Ежова, Бери — кого там еще? — будет, наконец, переделано несовершенное человечество. Можно даже посетить эти страшные лагеря, о которых столько шума. Вот Горький, например, ездил на легендарные Соловки со всей семьей (соблазнительная невестка нарядилась по этому случаю в форму чекистки-надзирательницы). Веселое было мероприятие!

Отметим: и Роллан, и Горький хотят верить Ягоде. Горький с нетерпением ждет приезда в его имение Болшевской коммуны «перевоспитанных» уголовников, чтобы все «показать» Роллану («коммунары» и впрямь приезжали на дачу потешить хозяев, пели песни, плясали гопак — а Ягода хлопал в ладоши, — тем временем не занятые в балете коммунары обчистили комнату мадам Роллан, украли ее цацки и были правы — зачем столько драгоценностей даме, которая «влюблена в большевизм»? Но дама пожаловалась шефу ГПУ, и он этим сам занялся — без Ломброзо и Фрейда. Сколько зубов осталось на паркете, никто не считал, но цацки сотруднице вернули).

В общем-то, сообщения о репрессиях раздражают гуманиста Роллана. Они ему «ломают кайф». Поэтому, записав сведения, которые с риском для жизни сообщают ему люди, не работающие в ведомстве Ягоды, Роллан помечает в скобках: «они преувеличивают».

Ну, а что же Маша — отчего она не уберегла Роллана от вредных контактов на этой стадии операции? Ведь он

бог знает что заносит в дневник... Маша выполняет свои узкие задачи. Она позаботится, чтобы тайный этот дневник не увидел свет ни при его, ни при ее (что на полвека дольше) жизни. Чтобы Роллан по приезде напечатал, что положено (пусть даже противоположное тому, что он видит и думает). Чтобы он честно боролся с врагами Сталина и ГПУ — сегодня с Троцким, завтра с Каменевым, Зиновьевым и со всеми, на кого ей укажет куратор... Кроме того, Маша на даче Горького попала в плотную бригаду гепоушников. Даже возвышенный гуманист Роллан это заметил и ей сообщил. Горький обложен со всех сторон, Горький сломлен, Горькому конец... Конечно, Роллан знает далеко не все, но кое-что он заметил и кое-что записал на эту тему. Горький вернулся не в ту Россию, которую он знал: это уже «была Россия фараонов. И народ пел, строя для них пирамиды... Потонув в буре народных оваций... он захмелел от затянувшей его круговерти... былой индивидуалист окунулся в поток... он не хочет видеть, но он видит ошибки и страдания, а порой даже бесчеловечность этого дела... В сущности, он слабый, очень слабый человек, несмотря на внешность старого медведя... Он позволил запереть себя в собственном доме... Крючков сделался единственным посредником всех связей Горького с внешним миром... Надо быть таким слабовольным, как Горький, чтобы подчиниться ежесекундному контролю и опеке... У старого медведя в губе кольцо... Несчастный старый медведь, увитый лаврами и осыпанный почестями...»

Вряд ли Роллан понял все перипетии своего отъезда в Россию. Он уже был в дороге, когда в Париже открылся состряпанный ГПУ (через Кольцова и Эренбурга) конгресс писателей в защиту культуры. Председательствовать на нем должен был (вместе с Ролланом) Горький. Но Горького за границу не выпустили. Клетка захлопнулась. Вероятно, чтобы прочнее его прикрепить к даче, к нему и вызвали Роллана.

А что думал об этом Роллан? Догадывался ли он о связях товарища Маши с ведомством Ягоды? Возбуждало ли это его, поднимало ли дух?

Во дворце Горького для Роллана прокрутили всю «программу знакомства» со страной и дивертисмент его советской славы. Одна делегация сменяла другую. Музыканты исполняли свои произведения, писатели признавались в любви к Сталину, Партии и Роллану, девушки Метростроя

говорили о счастье толкать вагон с грунтом в темной шахте, по колено в воде, девушки-парашютистки объясняли гуманисту всю важность обороны — и, конечно, все вместе пели славу Сталину. Песни о Сталине исполняли также завезенные на дачу армянские пионеры. Растроганный этим пением, выступил сам хозяин, великий гуманист Горький, что было немедленно отмечено в дневнике его гостя:

«Горький, отвечая маленьким пионерам, сказал им, как он счастлив видеть вокруг себя всю эту юность, такую пылкую и готовую к тому, чтобы раздавить врагов. — «А их нужно раздавить, сказал он, потому что они сволочи!» (Эти вспышки жестокости вдруг нарушают его обычное спокойствие: он хмурит брови и бьет кулаком по столу.)»

Похоже, что Роллан, сделавший это литературоведческое наблюдение, еще не понял, что самым ценным и высокооплаченным сочинением позднего Горького и была эта великая формула советского гуманизма: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Над бесконечно длинными списками «врагов», не щадя сил, работало в те дни ведомство Ягоды, и, возможно, фамилия Горького уже стояла тогда в одном из списков (не намного опередив фамилии самого Ягоды, Крючкова, Аросева, доктора Левина, директрисы парка культуры, посещенного Ролланом, и прочих — имя им легион).

...Но вот программа и силы исчерпаны, настала минута прощанья. В смертной тоске обнимали Роллана при расставании и Бухарин, и Аросев, и доктор Левин, и мерзкий Крючков: они лишались последней надежды уцелеть...

В спокойной Швейцарии Роллан расшифровал свои дневниковые каракули и их дополнил. Майя объяснила ему, вероятно, что печатать подобное можно будет не скоро. По меньшей мере через полвека после его смерти. А пока есть задачи поактуальнее, чем его любительские наблюдения над советской реальностью. Кому вообще интересна реальность? Сейчас нужно бороться с главным врагом мира — Троцким и его семьей, а также с «жертвой троцкизма» Андре Жидом. Эта последняя история имеет, кстати, самое непосредственное отношение к нашему сюжету, в ней наша героиня показала высокие образцы бдительности, и без этой правдивой истории нам не обойтись. Вот она.

Ромен Роллан и Андре Жид

В начале 30-х годов, когда все «прогрессивные» интеллектуалы (и в первую очередь французские) сочли свой долгом сделать выбор между Гитлером и Сталиным и пришли в подавляющем своем большинстве к поддержке Сталина, когда сталинизм в хорошем обществе стал высшим шиком, произошло и сближение знаменитого французского писателя Андре Жида с французской компартией. На организованном (и оплаченном) Москвой Парижском конгрессе писателей в защиту культуры Андре Жид председательствует вместе с молодым сталинистом Андре Мальро.

Роллан также был членом президиума конгресса, но именно в это время Москва предпочла отправить его к Горькому. На конгрессе, несмотря на сопротивление советских его организаторов, был поставлен вопрос об освобождении сосланного на Урал французского писателя Виктора Сержа. Андре Жид передал эту просьбу советскому послу в Париже, и вскоре произошло неслыханное: Сержа выпустили из страны. Советские власти пошли навстречу Андре Жиду, престиж которого в Париже безмерно вырос. Так что Жид очень авторитетно сидел во главе президиума конгресса вместе с Андре Мальро и был приглашен посетить Москву вслед за Ролланом. В конце концов он решился поехать туда с группой друзей. Незадолго до отъезда Андре Жид был в гостях у Роллана. Ревнивец Роллан сомневался, что Жид подходит для такой поездки. Ведь «самая мысль оказаться лицом к лицу со Сталиным его леденит». И потом эта его «протестантская» щепетильность. Он хотел бы подлечиться, но не хотел бы, чтобы его лечили кремлевские врачи — не хотел бы привилегий. Как он не понимает, что в СССР всех рабочих лечат на кремлевском уровне? Он ничего не знает о России, жалкий эстет Андре Жид. Роллан и Маша показали ему папехские коробочки, о которых он даже не знал... Невежда... Но, в общем, Роллан был доволен этим визитом знаменитого собрата. Жид показался ему простым и скромным. Ясно, что он сжег корабли и прочно перешел в

лагерь Сталина и СССР (именно в таких терминах мыслит теперь Роллан)...

Было, однако, кое-что, о чем не знали даже сам Роллан и его осведомленная жена. Поездка Андре Жиде случайно, а может, и не случайно, была поставлена Москвой в связь со смертью Горького. Как известил правительство в конце весны 1936 года особо доверенный врач-разведчик доктор Левин (лечивший Горького и Роллана и спаивавший сына Горького), в состоянии буревестника революции в конце весны «наступило» (а может, и «было достигнуто») решительное ухудшение. Собственно, Горький был больше не нужен Сталину. Он сыграл свою роль, и он мог стать теперь только вредным. Неясно было, как он понял убийство Кирова. Он позволил себе вступить за Каменева. Горький был в эти месяцы объят желанием поговорить по душам с кем-нибудь из писателей, он хотел поговорить с иностранцами, он высказал подозрительное желание повидать Луи Арагона. Это, видимо, не слишком радовало тех, кто наблюдал за Горьким. Убитый горем и запертый в золотой клетке, старый буревестник мог брякнуть лишнее. Зато вот похороны Горького могли оказаться недурным спектаклем, демонстрацией единства мировых сил гуманизма и прогресса в столице гуманизма и прогресса Москве. Сейчас как раз нужно было мобилизовать западную интеллигенцию на поддержку Народного фронта (уже устроенного Москвой во Франции и в Испании). Так что поездка Андре Жиде в Москву, независимо от его воли, оказалась связанной с планируемым похоронным спектаклем в стране великих постановок под руководством могучего режиссерского коллектива.

В начале июня 1936 года Андре Жиде стал собираться в Москву. Через несколько дней после того, как Народный фронт пришел к власти, он ужинал в Париже со своим другом Ильей Эренбургом, и Эренбург сказал ему, что Горький очень плох. Эренбург посоветовал А. Жиде отложить все прочие планы, собрать вещи и двинуться в Москву. Жиде поспешил домой.

Писатель Жан Малакэ рассказывал, что назавтра по полудни он в окружении других друзей Жиде уже участво-

вал в сборах, когда в комнате вдруг раздался телефонный звонок. Малакэ снял трубку.

— Кто там еще? — спросил его Жид в наступившей тишине.

— Око Москвы, — сказал Малакэ.

Послышались смешки. Все поняли, что звонит Эренбург.

Жид, закончив переговоры, повесил трубку. Вид у него был растерянный.

— Что сказал Эренбург?

— Он сказал, что спешить не следует. Лучше перенести приезд на восемнадцатое...

— Что-нибудь случилось с Горьким? — спросил Малакэ.

— Да... — растерянно сказал Жид. — Ему неожиданно стало лучше.

Раздался дружный взрыв хохота. На самом деле все было не так смешно. Великий режиссер не собирался ставить комедию...

Когда супруги Арагон сломя голову примчались в Советский Союз к Горькому, который хотел их немедленно увидеть, власти им сообщили, что к Горькому еще рано. Пусть посидят в гостях у Эльзиной сестры в Ленинграде. Сестра Эльзы Лиля Брик и ее муж, оба сотрудники великой организации, объяснили, что, вероятно, так надо. Арагонам сказали приехать к Горькому 18-го, и они явились, как было приказано. У ворот горьковской дачи секретный уполномоченный писатель М. Кольцов и агент доктор Левин сообщили им, что основоположник соцреализма, увы, только что скончался...

Андре Жиде, тоже не заставший Горького в живых, выступал на похоронах. Выступал не хуже и не лучше, чем от него ждали: сказал, что писатели всегда были против власти, но вот появилась удивительная страна, где они с властью заодно. Потом А. Жиде нес гроб Горького вместе с товарищем Сталиным, товарищем Молотовым и другими товарищами. Потом он поездил по стране, повидался с Пастернаком и Эйзенштейном, побывал в пионерлагере. Принимали его по-царски. Свозили в Крым, на Кавказ. Он мирно что-то записывал в книжечку. Похоронил в Севастополе одного из друзей, привезенных с собой из Парижа, а потом, завершив визит, вернулся во Францию. Первое время он ничего не писал, потом напечатал в газете коммунистов какое-то не слишком внятное предисловие к своим путевым заметкам.

И вот вышла книга «Возвращение из СССР». В мирке Роллана, его жены, спецслужб Коминтерна и всей более или менее завербованной левой интеллигенции это было как взрыв бомбы. Жиду, в отличие от Уэллса, Драйзера, Роллана, в СССР не понравилось (как до него Сержу, Истрати и другим не слишком знаменитым). Ничего страшного не случилось. Ну не понравилось. «Ну да, диктатура, — отметил Жид, — явная диктатура: но диктатура одного человека, а не объединившихся пролетариев, не Советов... там вовсе нет, чего хотелось бы. Сделав еще шаг, мы скажем: там как раз то, чего бы не хотелось». Андре Жид видит страну, похожую на прочие, и смотрит на нее с печалью: «Скоро от этого героического народа, который заслужил нашу любовь, останутся только палачи, выжиги да их жертвы». И еще одно, очень важное: «Я обвиняю наших коммунистов в том, что они, сознательно или бессознательно, лгали рабочим».

Друзья отговаривали Андре Жида от печатания этой книги. Говорили, что это нанесет вред «движению» и «испанским товарищам». Что ему самому это нанесет вред... Андре Жид решил, что для писателя главное — сказать правду, сказать то, что он думает...

Неудивительно, что в доме Ролланов царил по этому поводу настоящая истерика. Для Ромена Роллана книга Жида на некоторое время становится главным событием жизни. Русский читатель без труда узнает стиль обвинений и аргументы Роллана. Ибо это в первую очередь Майин стиль, помноженный на собственные Роллановские обиды тщеславия, зависти, бессилия...

Писателю-лауреату даже не приходит в голову, что у его знаменитого собрата по ремеслу может быть собственное, беспартийное мнение, что ему захочется написать то, что он думает. Да кто он такой? Вон Роллан больше заметил, а никому ничего не сказал — и на 50 лет вперед запретил предавать гласности тайны о советском неравенстве, о культе, о Горьком и прочем. А этот несчастный эстет? Всех поставил под удар...

Любопытно, что Роллан ничего не смог сказать по существу книги Жида, не опроверг ни одного его обвинения. Это было бы «непрофессионально». Так не делали никогда в Советском Союзе. Поэтому Роллан говорит не о книге Жида и ее содержании, а об «ударе в спину», о

«предательстве» (коммунистическая пресса тоже пишет не о книге, а о «предательстве»). Жида так принимали в Москве, так кормили, а он... И почему он там сразу не заявил, что ему не нравится. Так бы и сказал открыто (его б и похоронили рядом с его другом в Севастополе). Нет же — взял и написал. Подумаешь, писатель... Но от Роллана не скроешь, что это все происки троцкистов. Происки троцкистской банды убийц и «бешеная злоба империализма»... Потом новая догадка приходит в голову Роллану: этот порхающий Жид пришел в ярость от того, что Сталин не принял его, как Роллана. Сталин и в грош его не ставил, вот он и мстит Сталину. Правда (тайно от мира, в запертом дневнике), признает Роллан, Жид попал в Москву в неудачный момент, «атмосфера была отравлена подозрительностью, ненавистью, страхом...» И все же, как он посмел, как он отважился? Новая догадка, как молния, пронзает сильный ум Роллана. Это оттого, что он гомосексуалист. Все они такие... Ох, и гадят нам, эти больные люди, как их там... Товарищ Аппетин из ВОКСа переслал Роллану «письмо магнитогорских рабочих», разоблачавших происки Жида. Роллан откликается письмом, которое печатает «Правда». Он дает интервью и особо просит, чтобы его жена Маша, которую все это... чтобы она не была упомянута. Маша не хочет этой славы. Она не менее засекречена, чем дневник Роллана.

А с дневником дело не кончено. В 1938 году Роллан пишет «Дополнительные комментарии к отчету о путешествии в СССР». Это поразительный, воистину параноический документ. Внимательно просматривая свой московский дневник, Роллан приходит к выводу, что он не понимал тогда многого. Но теперь он прозрел. Он, оказывается, встречался тогда с людьми, поведения которых он не понимал, — с Аросевым, Бухариным, министром-грузином, с врачом, с Крючковым, и еще, и еще. Но теперь он прозрел. Все эти люди были заговорщики, еще не разоблаченные убийцы, члены троцкистско-бухаринской и камневско-зиновьевской группировок, агенты иностранных разведок... Храбрый Роллан был в опасном окружении врагов. Слава Сталину и Маше, он уцелел... Но теперь-то он все понял. Потому что он умный человек. Правда, как гуманист он все же вынужден был писать Сталину, прося не убивать всех подряд, просил пощадить Бухарина, док-

тора Левина, эту даму из парка культуры и отдыха, брата Хартоша, Аросева, может, также и Авербаха, Третьякова... Но Сталину было некогда отвечать, и он всех убил. Роллана он уже употребил, и Роллан был ему теперь нисколечко не нужен. Мог бы и прибрать его, как суетливого Барбюса. Пусть спасибо скажет...

А еще через год Роллан пережил страшное разочарование. Сталин, оказывается, заодно с фашистами (и против Франции). Сталин жмет руку фашистам в Кремле, он поднимает тост за Гитлера. Риббентроп хвалит знакомую ему партийную атмосферу среди советских товарищей...

«Для нас, французов, — пишет Роллан в своем секретном дневнике, — это удар ножа в спину. Какими бы ни были ошибки наших руководителей, наш добрый народ, наша преданность не заслужили такого! Наш народ этого не забудет!» (Забудет, забудет, на то и народы, чтобы ничего не помнить.)

«Это гигантское злодеяние..., — пишет муж товарища Роллан, — навсегда вызвало у меня отвращение к Кремлю. Это зловещее здание погребло вместе с Лениным огромные надежды нового мира. Самая победа убивает неизбежнее, чем враги».

И еще, и еще что-то пишет...

«Никогда идеалист не должен заниматься политикой. Он всегда оказывается одураченной жертвой. Им, как рекламой, прикрывают ящик с мусором, прикрывают жульничество и злобу.

Для меня все кончено...»

Но, конечно, Роллан не напечатал подобных слов. Чтобы «не повредить делу». Чтобы не рассердить товарища «Машу».

Как гуманисты мы с вами должны пожалеть старика. И с горечью отметить, что мало что меняется на свете. Через двадцать лет после визита Роллана на халявную дачу Горького в Москву продолжали ездить гуманисты из Парижа. Приезжал Жан-Поль Сартр и, вернувшись, сообщил миру, что «свобода критики в СССР является абсолютной». Это было в 1954 году. В 1960-м тот же Сартр сообщил французам, что кубинцы не коммунисты, и им в голову никогда не приходило устанавливать на Кубе русские ракетные базы. Когда сами русские стали демонти-

ровать эти базы, Сартр был уже далеко от Караибов. Он лежал на черноморском пляже, на халявной даче Хрущева, со своей интеллигентной русской переводчицей. (Может быть, ее тоже звали Маша?)

Да, кстати, а что же наша-то Майя, чей приход благословлял сам Волошин? Когда Роллан ушел «к верхним людям» (в 1944 году), ей еще не было пятидесяти. Она была молодая богатая вдова.

Она мне говорила, что она даже в старости держала какой-то дом франко-немецких встреч для молодежи, в чем-то они там стажировались, в этом доме. Может, в игре на органе, а может, в гранатометании. Правда, я-то уж ее застал совсем старенькую, бородатую, и из последних своих увлечений она могла назвать только «Лешку Косыгина»...



Мирон РЕЙДЕЛЬ

СКРИПКА ТУХАЧЕВСКОГО

История одной телепередачи

В те годы я работал специальным корреспондентом и режиссером Центрального телевидения, одним из руководителей которого был тогда некто Саконтиков. Говорили, что при Сталине он возглавлял «тройку». Затем — после чистки «внутренних и внешних органов» — посадили на кадры в Комитет по делам кинематографии, оттуда перевели к нам, на Центральное телевидение. Он отвечал, конечно же, за «идеологическое» содержание всего вещания.

Личность мрачная, темная и какая-то скользкая. Не знаю, как выглядели глава испанской инквизиции викрест Торквемада или создатель ордена иезуитов Игнатий Лойола, но если бы мне сегодня довелось писать портрет одного из них, писал бы его с Николая Ивановича Саконтикова. Он, вроде, играл в демократа. Порой разрешал закладывать в программу сценарии, с точки зрения цензуры сомнительные, даже утверждал их, но когда дело доходило до эфира, рубил передачу под корень или уре-

зал так, что пропадал всякий смысл ее показа. Вспоминается шутка, которая ходила тогда среди пишущей братии, обитавшей под крышей «Армянского радио»: «Что такое телеграфный столб? — Хорошо отредактированная сосна».

Так вот Саконтиков был мастер делать из елки палку. Одним концом она была по создателям передачи, потому что получалась творчески неудачной, профессионально беспомощной. За нее им доставалось в письмах телезрителей и от того же Саконтикова. Другим концом была бездарной пропагандистской галиматией по головам телезрителей.

Между прочим Центральное телевидение долгие годы было местом ссылки проштрафившихся партийных, комсомольских и профсоюзных функционеров. Перенесенные совершенно из других сфер деятельности, зачастую никакого отношения не имевшие ни к телевидению, ни к журналистике, плохо образованные, профессионально безграмотные, они умели только читать сценарий, совершенно не представляя его экранное воплощение. Их замечания, рекомендации бывали порой столь нелепы, что становились темой коридорных анекдотов.

Сейчас уже не помню, кто поручил мне подготовить сценарий трехчасовой передачи о Михаиле Николаевиче Тухачевском, кажется, в связи с днем его рождения. Возможно, идея принадлежала самому Саконтикову.

Предполагалось, пойдет она в двух частях по полтора часа каждая. В те годы «Шаболовка» еще не располагала ни видеозаписью, ни даже съемками с монитора. Это значительно позднее режиссеры получили возможность снимать, переснимать, доснимать, монтировать, перемонтировать, предварительно записывать. А тогда передача шла в эфир «живьем». Режиссер ничего не мог изменить, ни убавить, ни прибавить. Он мог только руководить из аппаратной ходом эфирной передачи и хвататься за сердце и голову, если в эфир вылетало что-то непотребное.

Итак, с самого начала подготовки сценария о Тухачевском мне было ясно, о чем предстоит рассказать и что показать, но я совершенно не представлял, что буду рас-

сказывать и что показывать. Кроме невзрачной, из газеты вырезанной фотографии я вообще ничем не располагал.

Прежде, всего пошел по наиболее крупным библиотекам, начиная с «Ленинки». Все подшивки довоенных выпусков газет и общественно-политических, даже исторических журналов оказались изъятыми. А в «Ленинке» и «Историчке» — на «спецхране». Всякая иная документальная литература, где хоть как-то могло быть упомянуто имя Тухачевского, оказалась или уничтоженной, или тоже на «спецхране». Тут даже Саконтиков не смог бы помочь.

Как теперь, после краха коммунистической власти, выяснилось, о маршале Тухачевском и его семье ничего не сохранилось. Нигде — ни в архивах, ни в «спецхране» — нигде. Даже среди страшных тайн «Президентской папки» о нем — почти ничего. (Впрочем, если верить держателям этой «папки»...)

Каждый профессиональный журналист, вероятно, испытал такое состояние, когда им овладевает профессиональный азарт, профессиональное самолюбие, даже профессиональная злость.

Тогда я стал опрашивать друзей, приятелей, даже не очень близких знакомых. Никакого результата. Несколько человек, как понял из бесед, кое-что знали, могли бы рассказать сами или дать какую-то «наводку», но под всякими предлогами уходили от разговора. Особенно вернувшиеся «оттуда». Почти все, с кем я заговаривал о Тухачевском, сразу же переходили на шепот. Один бывший военный инженер даже выглянул на лестничную площадку проверить, не привел ли я за собой «хвоста».

И вот неожиданно — странная находка! В открытом каталоге «Ленинки» случайно натыкаюсь на карточку «М. Тухачевский. Скрипичные лаки. 1929. Москва».

Принесли тоненькую, менее ста страниц, брошюрку. Об авторе — ни полслова. Последняя, атрибутивная страничка, на которой обычно сообщают полное имя автора и прочие выходные данные, оказалась вырванной. Впрочем, брошюра была написана профессионально, вероятно, для специалистов. Кто он, этот М. Тухачевский? Однофамилец? Родственник?

Я знал, что всех, даже не очень близких родственников приказано было уничтожать, включая детей. Однофамильцы по всей стране давно изменили фамилии, чтобы ненароком не приобщили к делу. Тогда какое отношение имеет прославленный маршал к профессиональным рассуждениям о скрипичном лаке?

Кто мог бы ответить на эти вопросы? Вот тогда, порывшись в памяти, я и вспомнил Эммануила Филипповича Ципельзона. Жил в Москве тогда такой интересный человек. Букинист. Библиофил. Страстный коллекционер автографов. Он мог вам показать автографы Наполеона Бонапарта, Петра Первого, Жоржа Визе, генералиссимуса Суворова.

Москвичи могли видеть его на протяжении десятков лет за прилавком магазина старой книги в Камергерском переулке (проезде Художественного театра), читать его невыдуманные истории в газете «Вечерняя Москва». Он подписывал их — «Э. Ципельзон. Коллекционер».

Так вот, думал я, не знает ли Эммануил Филиппович что-либо о книжке «Скрипичные лаки» издания 1929 года? Ципельзон молча полез в свои бездонные закрома, долго там копался, пока не извлек из их недр интересовавшую меня брошюру.

— Вас интересует секрет скрипичного лака или автор книги? — спросил Эммануил Филиппович.

— А кто автор книжки? — ответил я вопросом на вопрос.

— Так тут же написано, — удивился Ципельзон, — Михаил Николаевич Тухачевский, — ткнул он пальцем в атрибутивную страничку, которая в его экземпляре оказалась невырванной. — Кроме того, — развернул он титульный лист, — здесь есть дарственная надпись. Личный автограф маршала Тухачевского.

— Тот самый Тухачевский?

— Если вы знаете еще какого-нибудь Михаила Николаевича Тухачевского, тогда вопрос ваш справедлив.

— Простите, но какое отношение имеют к маршалу скрипичные лаки?

— Неужто вы никогда не слышали, что Тухачевский имел солидную коллекцию скрипок старинных мастеров,

что в свободное от военных занятий время он то ли мастерил скрипки сам, то ли реставрировал их. Разгадка, как мне кажется, в этой дарственной надписи. Прочтите: «Дорогому учителю ККК от благодарного ученика».

И Ципельзон рассказал, что однажды, еще до войны, вскоре после ареста Тухачевского, как-то перед закрытием к нему в магазин пришел знакомый книжник. Эммануил Филиппович знал, что он скрипичный мастер, работает в консерватории и большой любитель старых книг. И вот теперь он довольно долго перелистывал их, ничего не покупая. А когда из магазина ушел последний покупатель, предложил Ципельзону уже знакомые нам «Скрипичные лаки». Сказал, что книжка очень ценная, настоящее учебное пособие, уже сегодня библиографическая редкость. Выбросить ее или сжечь — совесть не позволяла, но и хранить у себя дома небезопасно.

И с тех пор, до ухода на пенсию, Эммануил Филиппович прятал книжку на полках магазина. Скрипичного мастера давно не видел. Сомневался, жив ли он вообще...

Звали его Константин Кириллович. Фамилию, к сожалению, забыл. Помню только, что начиналась тоже на «К». На сделанных им скрипках стоит монограмма из трех «К». Когда Ципельзон с ним познакомился, лет ему было под девяносто.

Тухачевского «ККК» великолепно помнил. Да. Михаил Николаевич действительно увлекался музыкой и особенно скрипками. Даже играл на скрипке. Но больше всего Тухачевский любил скрипку как музыкальный инструмент, как некое творение рук мастера. Любил ее формы, ее звук, собрал уникальную коллекцию произведений старинных мастеров скрипичного ремесла — Амати, Гварнери, Страдивари...

Так выяснилось, что Тухачевский действительно ремонтировал и реставрировал старинные инструменты. В официальном каталоге скрипок Страдивари числится одна, отреставрированная им, как «скрипка с клинышком». Но Михаил Николаевич и сам делал скрипки, имел собственное клеймо. По отзывам мастеров и музыкантов, это были отличные инструменты, с высоким качеством звучания.

Но Тухачевский был не просто мастером, он вел одновременно и исследовательскую работу.

Естественно, я поинтересовался судьбой скрипок Тухачевского, продолжал Ципельзон. В ответ «ККК» только пожал плечами и сказал с грустью, что такой вопрос следовало бы задать тем, кто арестовал маршала Тухачевского, изъял при обыске часть вещей, а затем все это конфисковал.

Правда, о судьбе одной из них, именно о «скрипке с клинышком» мастеру было кое-что известно. За подробностями он посоветовал мне обратиться к музыкантам оркестра Большого театра.

От концертмейстера скрипок оркестра Большого театра Калиновского я узнал такую историю...

Когда-то в Москве, на старом Арбате, были два магазина, торгующих антиквариатом. Один из них был действительно комиссионным, во втором под видом комиссионного, продавали вещи, конфискованные по постановлению «троек» у «врагов народа». Так вот, незадолго до Отечественной войны в магазин зашел скрипичный мастер из консерватории и увидел выставленную на продажу скрипку Страдивари. Он узнал ее. Скрипка была из коллекции Тухачевского. Та самая, с клинышком. Он попросил продавца припрятать инструмент, пообещав вскоре вернуться с деньгами, которых у него при себе не оказалось.

Мастер тут же сообщил о находке давнему своему приятелю, скрипачу из оркестра Большого театра. Посоветовал срочно выкупить инструмент, иначе — «уплывет». Музыканты сложились и сообща выкупили дорогую скрипку. С тех пор, втайне от начальства и, естественно, от «органов», она хранилась в оркестре Большого театра. По установленной традиции на ней играет концертмейстер скрипок.

Калиновский согласился принять участие в телепередаче, повторить с экрана рассказанную мне историю скрипки «с клинышком» и даже сыграть какую-нибудь классическую скрипичную пьесу, посвятив ее маршалу Тухачевскому.

Судьба остальных скрипок до сих пор неизвестна. Зато стало известно, что в архивном списке изъятых при обыске конфискованных вещей скрипки не значатся. Видно, «кристально честные» чекисты, как они любят себя подавать, попросту их присвоили. А «с клинышком», посчитав ее бракованной, сдали в антикварную лавку.

Позже мне рассказали три легенды о Тухачевском. Помимо того, что он страстно увлекался музыкой, посещал все мало-мальски значительные концерты и мастерил скрипки, он был еще и меценат, как теперь сказали бы, спонсор. Тухачевский, например, помог знаменитому педагогу Елене Фабиановне Гнесиной в создании ставшей всемирно известной музыкальной школы.

Вторая легенда. Знаменитый струнный квартет имени Бетховена был создан по инициативе Тухачевского. Он собрал музыкантов, на свои деньги купил им часть инструментов. Первую программу, в составлении которой активно участвовал тогдашний маршал, музыканты репетировали на его квартире.

И, наконец, Тухачевский помогал наиболее одаренным студентам консерватории собственными деньгами, если не удавалось выхлопотать им стипендию. Еще мало кому известный молодой композитор Митя Шостакович в самом начале творческого пути просто жил в семье Тухачевского, работал в его квартире.

Интересные легенды. Но легенды — это материал для художественного произведения. Мне же предстояло написать сценарий для документальной телевизионной передачи, а для нее нужны были документы, свидетельские показания живых людей.

С музыкантами Бетховенского квартета удалось договориться почти сразу же.

Куда сложнее оказалось встретиться с Шостаковичем: как и все наиболее талантливые композиторы того времени, он переживал период «позднего реабилитанса». Всего за несколько лет до этого кремлевские невежды начали против них позорнейшую акцию, приклеив им ярлыки: «какофонисты», «бездарные подражатели», «проводники расценной культуры американского империализма». Это все

цитаты из газет 48-го года. И вот теперь, в годы хрущевской оттепели, все обвинения были сняты. А пресловутое постановление ЦК КПСС, составленное А.А. Ждановым (который одним пальцем тыкая по клавишам рояля, учил композиторов, как интерпретировать народную песню «Чижик-пыжик»), признано «ошибочным», «вредным», «порочащим честь советского композитора». И это тоже цитаты из газет.

Я подкарауливал Дмитрия Дмитриевича у дверей его класса в консерватории, у подъезда его дома, в Союзе композиторов, звонил целыми днями по телефону ему домой — и все безрезультатно. Композитор в те годы бежал от всех, и перехватить его мне не удавалось никак. Пока снова не помог случай: иду как-то по коридору на Шаболовке, и меня останавливает главный редактор телевизионного журнала «Искусство» Андрей Донатов.

— Послушай, — говорит он, — ко мне только что пришел Шостакович, а меня как назло вызвало начальство. Он там один, неудобно. Посиди с ним минут двадцать, поговори о наших делах, о телевидении. В общем, как можешь развлеки.

Ни слова не сказав, я ринулся к Донатову в кабинет. Дмитрий Дмитриевич сидел в кресле у окна, слегка развываясь и раскинув руки на подлокотниках. Я поздоровался, он ответил, повернувшись ко мне вполборота.

Без обиняков, боясь, что вот-вот вернется Донатов, я стал просить Дмитрия Дмитриевича поделиться воспоминаниями о маршале Тухачевском и принять участие в готовящейся передаче.

Шостакович сразу распрямылся. Потом, сложив ладони, сунул их между колен и крепко сжал. Затем втянул голову в плечи, и руки его дрожали. Мне показалось, что он плачет. Тогда я еще не знал, что у него развивалась болезнь Паркинсона и когда он волновался, вот так зажимал ладони, прижимал к коленям, чтобы унять усиливающуюся дрожь.

Пауза затянулась. Я не знал, что делать и как себя вести в такой ситуации. Наконец Дмитрий Дмитриевич

поднял голову. Мне показалось, что на глазах у него появились слезы.

— Я приму участие в вашей работе, — тихо сказал он. — Только не надо предварительно ни о чем говорить. Я все скажу как надо в ходе передачи, поверьте. Вы только четко определите место и время моего выступления. Позвоните мне за несколько дней до передачи, мы обо всем договоримся. Если не застанете, оставьте номер, я с вами сам свяжусь. А сейчас, очень вас прошу, оставьте меня одного. Так надо. Спасибо.

Ощущение после разговора с композитором осталось тягостное, однако я испытывал понятное удовлетворение. Вторая часть передачи была готова. (Как говаривал Эфραίим Лессинг, ее оставалось только написать.)

Ну, а как же быть с первой частью, в которой предполагалось рассказать о военном деятеле Тухачевском — герое Гражданской войны — полководце, командарме, маршале? Тогда мы еще не знали многих вскрывшихся в постсоветские времена деталей, фактов. Для нас Тухачевский оставался рыцарем без страха и упрека, которого несправедливо раздавил сталинский каток.

Я продолжал свои не очень-то успешные поиски в разных направлениях. Кто-то что-то вспоминал, кто-то что-то рассказывал. Но всего этого было явно недостаточно.

И вдруг... звонок из одного женского журнала. Меня просят немедленно приехать в редакцию.

— Нужно срочно написать очерк об одной женщине. Она на днях вернулась из заключения. Несправедливо отсидела семнадцать лет.

— Кто она?

— Елизавета Николаевна Тухачевская. Ну да, родная сестра того самого маршала.

Елизавета Николаевна Тухачевская, в облике которой семнадцать лет лагерей и ссылок почти не сказались, категорически отказывалась говорить о себе, чтобы не отвлекаться от судьбы брата. Однако то небольшое, что все-таки поведала о своей Одиссее, она излагала с нескончаемым юмором, даже о лютых своих врагах говорила без ненависти, даже с тенью жалости, скорее в жанре

трагифарса.

Во время беседы в квартиру вошла молоденькая, стройная и очень худая женщина. Меня поразили ее большие карие и очень грустные глаза. Она представилась: «Светлана Михайловна...» Фамилию, кажется, не назвала. Не помню. Думал о другом. Передо мной стояла самая младшая дочь Тухачевского. Единственная из его детей, оставшаяся в живых. Всех остальных Сталин приказал умертвить, как и всю родню, носившую фамилию Тухачевских.

Светлана практически не знала ни отца, ни матери. Никогда не носила их фамилию, даже просто не слышала о ней. Буквально за день до ареста мать передала ее, совсем еще кроху, то ли дальним родственникам куда-то за Урал, то ли близким друзьям. Те, в свою очередь, отослали ее своим друзьям, затем опять ее кому-то передали. И так прятали и перепрятывали несколько раз. В конце концов она оказалась в Казахстане, и люди, удочерившие ее, даже не знали, кто она на самом деле и откуда родом. Вернувшись из ссылки, Елизавета Николаевна не сразу разыскала Светлану, которая к тому времени вышла замуж и носила фамилию мужа.

Вскоре сестра Тухачевского «вывела» меня на генерала Александра Ивановича Тодорского. Ближайший помощник маршала, его соратник и сотрудник, он начал свою военную карьеру в годы Гражданской войны рядовым красноармейцем под командованием комполка Михаила Тухачевского. В двадцатые годы была популярна его книжка «С винтовкой и плугом».

Уже будучи генералом, Тодорский прошел казематы Лубянки, свыше семнадцати лет ежедневно боролся за жизнь на одном из островов смерти «Архипелага ГУЛАГ» под названием ОЗЕРЛАГ на станции Вихоревка, строил самую первую очередь пресловутого БАМа — участок Тайшет-Лена. Освобожденный и реабилитированный, он возглавил одну из комиссий по реабилитации безвинно осужденных.

По совету Тодорского я включил в сценарий интервью с бывшим сотрудником Лубянки, оказавшимся весьма интересным свидетелем. Назову его Степаном. Фамилию его я

обещал никогда и нигде не называть. Впрочем, не вполне уверен, что фамилия, которую он просил не оглашать, подлинная.

Перед генеральной репетицией наши гримеры так над ним «поработали», что родная мать вряд ли его узнала бы. Этот Степан был приставлен к Тухачевскому после вынесения тому смертного приговора.

Как известно, Сталин по причинам, ему одному известным, хотел каким-то образом сохранить маршалу жизнь. Через следователей он предложил осужденному написать прошение о помиловании. Тухачевский попросил бумагу, и на два дня его оставили в специальной комнате наедине с этим самым Степаном.

Сторонник оборонной доктрины Красной Армии, Тухачевский около двух суток излагал на бумаге план подготовки Красной Армии к отражению агрессии фашистской Германии. Он так и назвал свое письмо — «Как нам подготовиться к отражению германской агрессии». Тодорский располагал копиями отдельных, наиболее важных страниц документа. Подтверждал подлинность этих страниц и Степан, который относил начальству исписанные листы, по дороге некоторые из них успел прочесть.

Сталин, получив рукопись и прочитав заголовок, швырнул листы в угол кабинета и приказал Тухачевского немедленно расстрелять.

В сценарий были включены еще несколько человек, приглашенных Тодорским. Все они лично знали маршала Тухачевского.

...Итак, материал был собран, сценарий написан, прошли трактовые репетиции. Прошла генеральная репетиция. Цензором подписана микрофонная папка. Но Саконтиков назначает еще одну, специальную репетицию и объявляет, что будет лично принимать передачу.

Он пришел и отсидел терпеливо все три часа. А потом прямо в павильоне устроил творческой бригаде истерический разнос и первую часть передачи, первые полтора часа, полностью запретил. Прошла в эфир только вторая часть, и то в сильно усеченном виде. Саконтиков приказал снять название второй серии передачи «Скрипка с

клинышком» и полностью исключить рассказ о ней. И очень любезно попросил товарища Шостаковича сократить воспоминания о Тухачевском.

Дмитрий Дмитриевич был на генеральной репетиции, пришел на сдачу, был свидетелем саконтиковского разноса, пришел и на самую передачу. Да только перед самым эфиром, перед входом в студию, никем не замеченный, исчез, уехал. Телезритель так и не увидел его.

На другой день утром я позвонил ему.

— Понимаете ли, дорогой мой, — извинялся он, — не могу поручиться за себя. До сих пор больно, так больно, что не могу без слез говорить о Михаиле Николаевиче. Вряд ли доставило бы зрителю удовольствие созерцать на экране плачущего какофониста. И притом этот ваш Саконтиков... А «скрипку с клинышком» жаль. Трогательная история получилась бы...



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Так известный критик и искусствовед Борис Бернштейн определяет в своем письме живописцу Павлу Тайберу свое восприятие его художественных работ. Что же отличает манеру и стиль Тайбера? Каков пройденный им жизненный и творческий путь? Павел Тайбер окончил Харьковский промышленно-текстильный институт, в 1992 году получил звание заслуженного художника Украины. Многочисленные его работы мы находим в Украинском художественном институте в Киеве, в Киевском музее русского искусства, в художественных музеях Харькова, Севастополя, Сумском, Мелитопольском имени А. Тышлера, Музее кукол им. Образцова (Москва), в частных собраниях, в Германии, Израиле, Испании, Канаде, США, Франции, Швеции... Павел Тайбер имел 17 персональных выставок, в том числе в США и Швеции, участвовал в групповых выставках — в Берлине, Варшаве, Москве, Мюнхене, Познани, Тель-Авиве. Ниже мы приводим отрывки из письма Бориса Бернштейна Павлу Тайберу, живущему с 1995 года в Калифорнии.

«Дорогой Павел!»

Я знаю, полезней было бы начать этот короткий монолог с козырной карты, описав соцреалистическую

школу, как судьбу, и Вашу нынешнюю живопись, как индивидуальный опыт выхода к свободе; так получилось бы и верно, и трогательно, и по-здешнему интересно. Но я хочу начать с жеста, который свидетельствовал бы мое безусловное уважение к Вам, и потому приму за аксиому, что после сорока лет каждый отвечает за свое лицо сам.

Ваше лицо просвечивает сквозь многие личины, которые Вы меняете часто, едва ли не от картины к картине. Первое, что бросается в глаза дилетанту, это повторяемость сюжетов и персонажей. Но первое, на что обращает внимание профессионал, это множественность стилей. Вы — как кажется, мгновенно — переходите от пастозной живописи к легкой подкрашенной графике, плоские цветовые зоны сменяются плотно написанными объемными формами, горячность экспрессионистических мазков соседствует с коллажами в духе синтетического кубизма, галантные празднества, забредшие сюда скорее из 18 века, нежели из «Мира искусства», — со странным микрокосмом людей и вещей, разметанные шагалавским ветром, стихотворные или афористические надписи от руки устанавливают прозрачно-непрозрачную плоскость перед живописным пространством... Нет, всего мне не перечить.

Из картины в картину, — продолжает Борис Бернштейн, — переходят мальчуганы, наряженные в карнавальные одежды, бумажные треуголки, конические комедиантские или многоконечные шутовские колпаки — Пьеро, Арлекины, паяцы, в пределе они оборачиваются куклами, они рассеяны в пространстве от жизненной сцены до последней условности театра марионеток... Ваши круглоглазые мальчуганы, — обращается критик к живописцу, — одели газетные треуголки и колпаки в харьковских квартирах, дворах, на харьковских или украинских деревенских улочках, они были на реальной жизни и там с Вашей помощью выстраивали свою игру. Позднее Вы вознесли их над бытом, вернее сказать, Вы переместили их в иное пространство, где они стали условными, не перестав быть живыми, а их отношения с миром стали символическими. Мальчики с пустыми птичьими клетками, из которых выпущены птицы, мальчик с клеткой, из которой он выпускает облака... мальчик, заключенный в пустой футляр от песочных часов, очень тревожный, яркий, звучный, экспрессионистически напряженный по

*письмо Б.Бернштейна к художнику публикуется с некоторыми сокращениями

колориту карнавал — и элегические мальчуганы, одинокие паяцы под редкими деревьями, написанные в сдержанно элегической гамме.

Поэтические мальчики, — отмечает критик, — безусловно доминируют в Вашей живописи, но у них есть конкуренты — куклы-марионетки и бибабо — и театр составляет прямое продолжение детского карнавала и комедии масок. Театр и театральное у Вас, вероятно, выросло из детских переодеваний, но в конце концов затребовало суверенитета — и получило его... Ваши картины в большинстве ждут пристального прочтения и провоцируют сразу несколько конкурирующих пониманий. Вникать в их смыслы — увлекательное эстетическое и интеллектуальное приключение...

Вы — изобретательный сочинитель, визионер-постановщик и оформитель своих живописных зрелищ, где в игровых ситуациях закодированы трудные мысли о мире и судьбе. Я говорю «трудные», потому что я не назвал бы Вас оптимистом или тем более украшателем, хотя в Ваших картинах много душевного света. Играющие дети вносят ноту надежды и примирения в одну из наиболее и откровенно трагических картин — «Прощай XX век» (1998). Впрочем, светлые Ваши вещи — откровенные утопии, образы мечтаемого, но не свершившегося и невозможного.»

К какому же художественному направлению причисляет Борис Бернштейн Павла Тайбера?

«Одна из абсурдных целей, которые ставит перед собой критик, — справившись с описанием и истолкованием индивидуального художественного мира (если удастся), — поместить художника в какую-нибудь рубрику: «импрессионист», «романтик», «реалист-бытописатель», «визионер», «кубист» — и таким образом приравнять к другим. Вы, как видим, на редкость успешно ускользаете от такого рода определений. Не знаю, что бы я делал, если бы Вы, вот такой, какой Вы сейчас, встретились мне лет двадцать назад; скорее всего так бы и остались, без рубрики. Но и Вы лет двадцать назад не были бы таким, даже если бы судьба поместила Вас не в Харьков, а, скажем, в Париж или пусть в Пало-Алто. Другое дело теперь: я могу без колебаний классифицировать Вас как стихийного постмодерниста. Это удивительно. Постмодернизм в нашем деле есть логичный результат авангардизма XX века, знак его исчерпанности, точка

перехода в нечто другое. Но мы-то с Вами были заключены в другую культурную нишу и изолированы от этих драматических событий, даже узнавали о них с трудом. Они не были нашим опытом, в лучшем случае мы могли его пережить лишь идеально. Откуда же Вы получили эту игровую свободу смены стилей и образных систем, эту склонность к «двойной кодировке», как это назвал один из пророков постмодернизма: один код — для лютого, другой — для понимающих?

Я склонен искать причину в Вашей профессиональной интуиции и присущем Вам нечастом сочетании непосредственного и взрывчатого художественного темперамента с культивированным интеллектом. Впрочем, это всего лишь гипотеза...

ВАШ БОРИС БЕРНШТЕЙН»



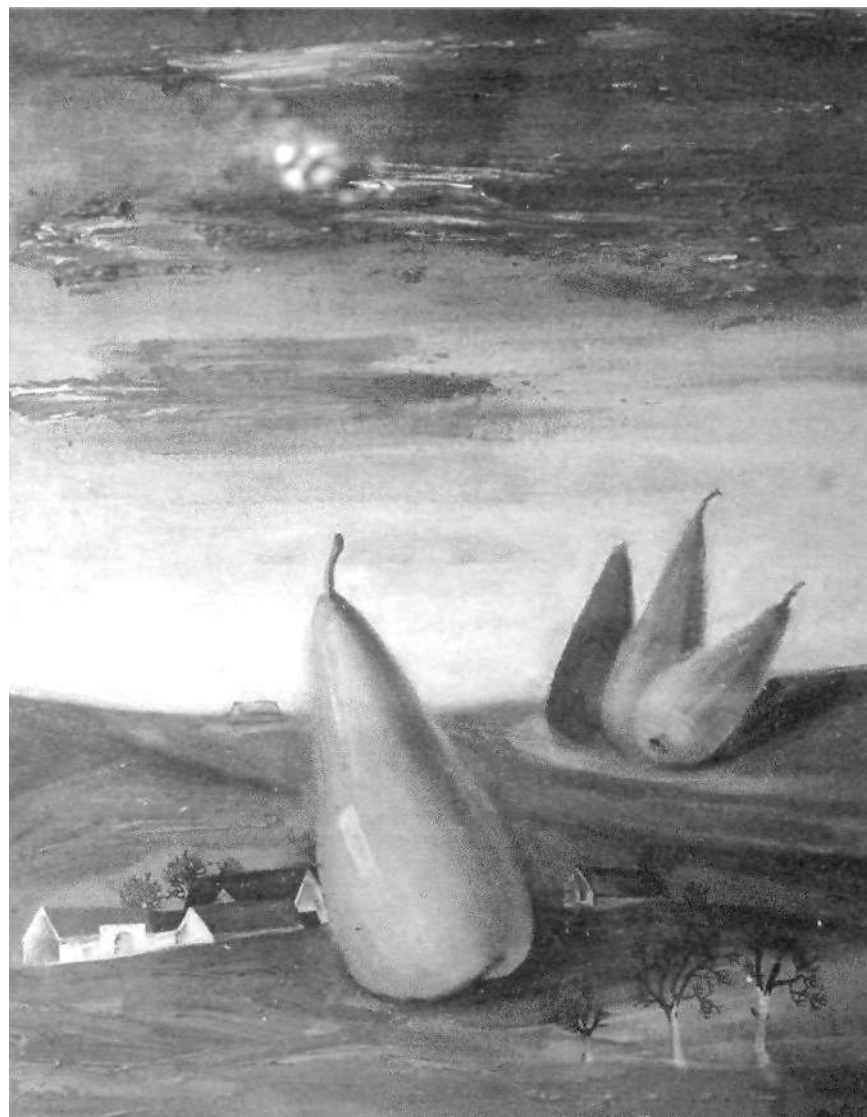
... и нет ничего нового по солнцем



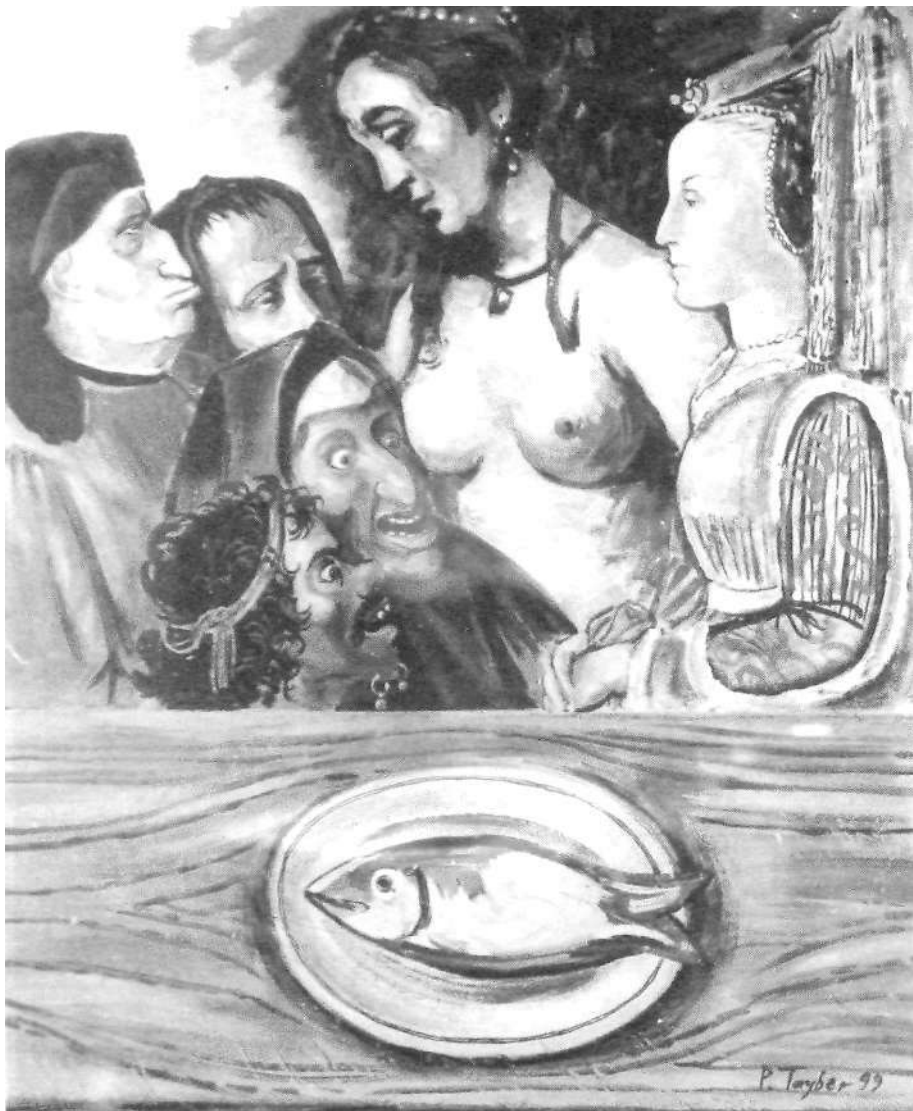
Осенний натюрморт



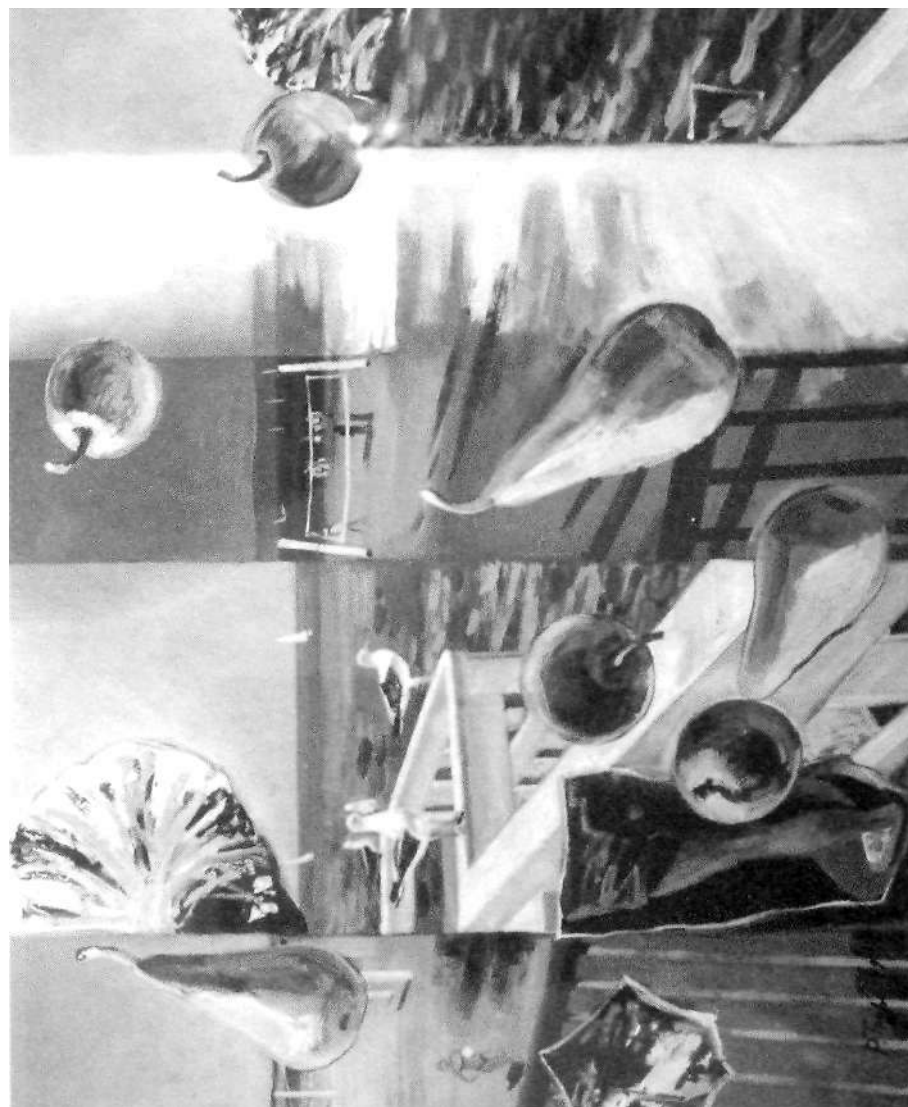
Время



Золотая осень



Посягательство



Санта-Круз



Потерянное облако



Мальчики с клетками



Мальчик с медалью



Мальчик примеряющий корону



Встреча

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Вильям КАГАНОВ Родился в Москве в 1932 г. Доктор технических наук: профессор: заслуженный деятель науки России. Преподает в Московском институте радиотехники: электроники и автоматики. Автор 8 книг, большого числа статей и изобретений в области радиотехники и информатики, главный конструктор ряда типов радиопередающих устройств. В 2000 г. издал книгу «История евреев сквозь призму мировой поэзии». Как автор литературного произведения публикуется впервые.

Владимир ФРИДКИН. Доктор физико-математических наук, профессор, является сотрудником института кристаллографии РАН, также профессором университетов в Тренто (Италия) и в Линкольне (США). Российскому читателю известен как автор двух книг о Пушкине и его времени — «Пропавший дневник Пушкина», «Чемодан Клода Дантеса» и многих рассказов. На вопрос о том, как ему одновременно удастся быть и физиком и лириком, В. М. Фридкин отвечает так: «Большинство людей использует только одно полушарие головного мозга, правое, ведающее искусством, или левое, отвечающее за рациональную сферу. Я выбрал более легкий путь, попеременно работая обоими».

Сергей ШАБАЛИН. Родился в 1961 году, в Москве. Окончил Нью-Йоркскую художественную школу. В 1995 году вышла первая книга стихов «Прогулки по облакам». В настоящее время живет в Москве. Работает над очередной книгой стихов, прозы и литературных статей.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Прозаик, драматург, публицист. Автор тридцати книг, пятнадцати пьес. Переводился на сорок иностранных языков. Лауреат ряда литературных премий. Секретарь Союза писателей Москвы. Член комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации.

Юрий Дружников. Писатель и журналист, член редколлегии журнала «Время и мы». Родился в 1933 году в Москве, окончил историко-филологический факультет Педагогического института. Работал зав. Отделом науки газеты «Московский комсомолец», был членом Союза писателей СССР, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. Эмигрировал в США в 1988

году. На Западе вышли книги Юрия Дружникова — «Вознесение Павлика Морозова», «Ангелы на кончике иглы», «Микрокоманда», «Пушкин». В настоящее время профессор русской литературы Калифорнийского университета в Дэвисе.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60 — 70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в *New York Times*, *Washington Post* и других ведущих американских газетах.

Юрий РЯБИНIN родился в Москве в 1963 году. Окончил филологический факультет университета. Автор книги прозы «Операция доктора Снегирева» и многочисленных публикаций в периодической печати. В 1996 году за цикл опубликованных рассказов в газете «Литературная Россия» стал лауреатом премии этой газеты. Живет в Москве.

Борис НОСИК. Родился в 1931 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и институт иностранных языков. Член Союза писателей. Борис Носик известен как писатель-документалист. Среди его очерковых и публицистических книг наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. С начала перестройки широко публикуется в России, где сегодня напечатаны практически все произведения Бориса Носика, многие из которых долгие годы ходили в Самиздате. В журнале «Время и мы» опубликованы его повести «Большие птицы», «В турпоходе», «Анна и Амадео», а также многие рассказы.

Мирон РЕЙДЕЛЬ. Родился в 1924, в Самаре. Журналист, прозаик, драматург, театральный актер и режиссер, скульптор. Получил актерское и филологическое образование — окончил Московский государственный

университет. В России сотрудничал в различных средствах массовой информации. Около 30 лет проработал в Москве на Центральной студии телевидения в качестве специального корреспондента, режиссера, ведущего. Многие годы был заместителем председателя Комитета московских драматургов. С 1993 года живет в Америке.



ПОСЛЕСЛОВИЕ К НАДЕЖДЕ

Ушел из жизни писатель Борис Леонидович Рахманин.

Он давно и тяжело болел, но при этом много и плодотворно работал. Смерть его выглядит нелепо и несправедливо.

Рахманин — автор более десяти книг поэзии и прозы, сценариев к кинофильмам, пьес для театров. Он успел издать и главную книгу своей жизни — роман "Русская ночная жизнь", поддержать ее в руках, полистать страницы, подарить друзьям и коллегам. Изданная в серии "Русский ПЕН-клуб", прекрасно оформленная, книга получила высокую оценку критиков и читателей. Роман очень точно отражает взгляд Рахманина на мир — умный, ироничный, совершенно нетривиальный. Книга — об обретении человеком своей собственной личности. И, по Рахманину, это далеко не самоочевидный, никем изначально не данный результат, а долгий и мучительный процесс, у которого, собственно, нет ни устойчивой основы, ни счастливого финала.

Буквально в последние месяцы своей жизни писатель опубликовал несколько рассказов в журналах "Время и мы" и "Кольцо А", которые раскрыли неожиданные для читателя грани его дарования. Особенно примечателен в

этом смысле рассказ "Артерия", в котором Рахманин размышляет уже не о зыбкой людской судьбе, а о судьбах народа России: не русских, евреев или татар, а о едином российском народе — "носителе бесконечной генетической эстафеты, бессмертия рода человеческого".

Борис Рахманин был не только значительным писателем и оригинальным мыслителем, но и прекрасным человеком. Оставаясь многолетним членом приемной комиссии Союза писателей Москвы, он с какой-то удивительной настойчивостью и в то же время подчеркнуто корректно заботился о судьбах молодых, да и не очень молодых литераторов. Уже тяжело больной, преодолевая себя, опираясь на надежную руку своего верного и преданного друга, прекрасного писателя Аллы Ефимовны Рахманиной, Борис Леонидович все еще строил планы, не только свои, но и своих друзей. Но и сам он, как никто другой, умел ценить добро, с какой-то даже преувеличенной благодарностью принимая в свой адрес его малейшие проявления.

В начале 90-х Рахманин вместе с поэтом и публицистом Эдмундом Иодковским стал вдохновителем и создателем одной из первых демократических литературных газет новой России "Литературные новости", издания содержательного, боевого, популярного не только в писательской среде. К сожалению, после трагической гибели Иодковского газета прекратила свое существование. Рахманин очень переживал потерю, хотел восстановить издание, предлагал конкретные проекты. Но время быстро менялось... Сегодня уход из жизни Бориса Рахманина видится закономерным послесловием к тем невеселым событиям. Зигзаг перестроенных надежд, похоже, навсегда скрылся за роковым поворотом новейшей истории.

ЛЕОНИД ГОМБЕРГ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Ежемесячный журнал Союза русских писателей
в Германии

Postfach 800833

65929 Frankfurt am Main, Germany

Выходит с апреля 1998

ПРОЗА*ПОЭЗИЯ*ПУБЛИЦИСТИКА*ИСТОРИЯ
МЫ И ЛИТЕРАТУРА*ВОСПОМИНАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГУЛКИ*АРХИВ*ЮМОР
ИСКУССТВО*ПЕРЕВОДЫ*РЕЦЕНЗИИ
СТРАНИЦА РЕДАКТОРА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФОТО*РИСУНКИ

Издатель — Союз русских писателей в Германии

Редактор — *Владимир Батшев*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

единственный ежемесячный

Литературный журнал в Европе

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

журнал не только русских писателей в Германии
и Европе, но и русских читателей в мире

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

единственное независимое ни от кого издание,
которое издается сугубо на деньги подписчиков

ПОДПИСКА на 12 номеров с любого месяца

(с доставкой)

В США - 72 \$

Konto- Frankfurter Sparkasse: Verband russische
Schriftsteller 652482 BLZ 500 502 01

МОИСЕЙ

НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН Виктора Шермана

Почему Моисей? Может быть, потому что он зачинатель нашей современной цивилизации, и поэтому фундаментальные вопросы автор адресует к нему...

Моисей учится во дворцовой школе, присутствует на Крите при землетрясении, изучает записи до-атлантической цивилизации, психологию, медицину, сражается за принцессу, которую любит, становится армейским офицером. В одной из битв он спасает пленника-купца, и они плывут через Красное Море вокруг Аравии, затем в Индию, останавливаясь в главных портах древнего мира

В Вавилоне Моисей заводит семью и становится одним из богатейших купцов. После внезапной смерти жены он возвращается в Египет, чтобы помочь своему народу.

В Египте Моисей узнает о смерти фараона и получает предложение стать во главе заговора с целью захвата трона. Он отказывается. Став свидетелем избиения раба египетским надсмотрщиком, он убивает последнего и бежит от угрожающей ему казни. В изгнании он становится пастухом, снова женится и пишет первую книгу Торы.

Встретившись с Богом у горящего куста и выведя свой народ из Египта, он получает скрижали Завета на горе Синай. В стремлении понять Божий Замысел, Моисей путешествует во времени. Он встречается с библейскими пророками, спорит с Дьяволом, беседует с Иисусом Христом и Магометом, с физиками Планком и Эйнштейном...

Дойдя до третьего тысячелетия и поняв Великий Замысел Бога, Моисей возвращается в свое время и завершив пророчество своей последней книги, навеки остается в людской памяти.

Справки по телефону: (631) 281-2499

Заказы можно направлять по адресу: Victor Sherman,
67 Woodcut Drive, Mastic Beach NY 11951 USA

Цена \$9.90 включая пересылку.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Ирины Машинской

ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

«...Музыка «после музыки» — после звука и после тишины. Не «лучшие ноты на лучших местах», не «лучшие слова на лучших нотах» — музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголосок у читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием...»

«...Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а ух как интересно!..»

Наталья Горбаневская

Заказы можно направлять по адресу:
«Слово—Word» 139 E. 33 rd Street #9M
New York, NY 10016
tel. (212)684-2356
тел. в Москве 705-38-06
в С.Петербурге 235-47-98
цена \$10

РУСИСТИКА

RUSSISTIK

Научный журнал актуальных проблем преподавания
русского языка

ISBN 0935 - 8072 10-й год издания

Выходит раз в год

Годовая подписка: DM 65,-

Цена отдельного номера: DM 75,-

Главный редактор:

Dr. phil. Sola Koester-Thoma, Berlin

Зав. редакцией:

Dipl.phil. Elena Rom-Mirakian, Wien

Научный совет:

Prof. Dr. Rainer Eckert, Berlin

Prof. Dr. Erika Gunther, Berlin

Prof. Dr. Renate Rathmayr, Wien

Журнал публикует статьи по теме
 Русский язык в советский и постсоветский периоды:
 Кодифицированный литературный язык
 Разговорный язык Просторечие Жаргон

Заказы на журнал и статьи (на русск. яз., предвар.
 согласовав тему и техн. оформление) посылать по
 адресу:

Dieter Lenz Verlag, Elbestr. 18, D-1S827
 Blankcnfelde, Germany. Fax: Герм. / 33 79 / 37 93 05;

e-mail: thoma@berlin.snafu.de

Высылаем пробный номер

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16.

Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 2000

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки - 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции - 69 долларов; для библиотек - 94 доллара.

Цена в розничной продаже - 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в адрес корпорации "Время и мы" по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA

Тел.: (201) 592-61-55

Подписной талон

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год.

Высылать с номера Журнал высылается обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись

Редакция оставляет за собой право давать в отдельных случаях скидки в размере до 50 % от стоимости подписки.

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605

USA (201) 592-61-55

**На первой странице обложки:
работа Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки:
Павел Тайбер: «Переключка времен»**

Верстка «Новое время», тел. 229-23-26

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6.

Заказ № 673

